

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИНГВИСТИКА

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИНГВИСТИКА



O

II



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В 1960 г. Издательство иностранной литературы (впоследствии часть издательства, публиковавшая литературу по гуманитарным наукам, стала самостоятельным издательством «Прогресс») предприняло выпуск серии сборников под названием сначала «Новое в лингвистике», а затем «Новое в зарубежной лингвистике». В сборники включались работы зарубежных языковедов, как только что вышедшие, так и напечатанные ранее, но ставшие в годы выпуска серии предметом острых дискуссий. В сборниках серии «Новое в зарубежной лингвистике» вышли работы или фрагменты крупных работ таких блестящих представителей зарубежного языкознания, как М. Сводеш, Б.Л. Уорф, Л. Ельмслев, А. Мартине, У. Филлмор, Н. Хомский, З.С. Хэррис, и многих других. Инициаторами публикации этой серии были проф. В.А. Звегинцев и редактор издательства М.А. Оборина. Их неутомимой энергии, глубочайшим знаниям и опыту издательской работы сборники обязаны как своим высоким научным уровнем, так и прекрасным качеством перевода. Достаточно сказать, что переводчиками выступали такие крупные ученые, как Н.Д. Арутюнова, А.А. Зализняк, Вяч.Вс. Иванов, И.А. Мельчук, Т.М. Николаева, Е.В. Падучева и др.

Выпуски «Нового в зарубежной лингвистике» неизменно встречались с большим интересом лингвистическими кругами в России и за ее пределами и скоро становились библиографическими раритетами. И сейчас в издательство поступают многочисленные просьбы возобновить это издание.

В настоящее время Издательская группа «Прогресс» подготовила к изданию три сборника избранных работ, в разное время публиковавшихся в выпусках серии «Новое в зарубежной лингвистике» и ставших библиографической редкостью. Работы даются без изменений как самих переводов, так и способов представления библиографии, и научного аппарата.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИНГВИСТИКА

II

«Новое в лингвистике»

«Новое в зарубежной лингвистике»

Избранное

Перевод с английского

МОСКВА

Издательская группа «ПРОГРЕСС»

УДК 80
ББК 81
3-34

Общая редакция *В.А. Звегинцева* (I часть),
Б.А. Успенского (II часть), *Б.Ю. Городецкого* (III часть)
Редакторы *М.А. Оборина*, *Н.Н. Попов*
Редактор-составитель *В.Д. Мазо*

3-34 **Зарубежная лингвистика. II: Пер. с англ. / Общ. ред.**
В.А. Звегинцева, Б.А. Успенского, Б.Ю. Городецкого. —
М.: Издательская группа «Прогресс», 2002. — 268 с.

Сборник «Зарубежная лингвистика. II» содержит избранные работы IV, V и XVII выпусков серии «Новое в лингвистике» и «Новое в зарубежной лингвистике». Настоящий сборник состоит из трех разделов: *Лингвистические направления, Языковые универсалии, Теория речевых актов и ее приложения*. В первый раздел вошли статьи Ч. Фриза, Г. Хойера, Х. Спанг-Ханссена; во второй — работы Дж. Гринберга, Ч. Осгуда, Дж. Дженкинса. Третий раздел представлен статьями Дж.Р. Серля, Д. Франк.

Книга может быть адресована лингвистам всех специальностей, психологам, философам, специалистам по моделированию общения.

УДК 80
ББК 81

ISBN 5-01-004725-x

© Перевод на русский язык, составление —
Издательская группа «Прогресс», 1999, 2002

Лингвистические направления

„ШКОЛА“ БЛУМФИЛДА

Название этой статьи, наверное, очень огорчило бы Блумфилда. Он презирал «школы», считая, что обычно поведение приверженцев той или иной «школы» подрывает самое основание всякой серьезной науки. Он полагал, что наука должна быть преемственной и объективной. Она не может строиться на теориях того или иного отдельного лица. Подводя итоги двадцатилетнего существования Лингвистического общества Америки, Блумфилд указывал, в частности, что оно «спасло нас от пагубы *odium theologicum* (т. е. присущей богословам ненависти к инакомыслящим) и догмата „школ“».

Сам Блумфилд всегда оставался «неизменно великодушным», скромным и непритязательным. Его скромность «мешала ему осознать свое собственное величие и принимать всерьез то почтение, с которым относились к нему другие ученые»¹. Приводимое ниже высказывание Блумфилда о «школах» отражает не только его взгляды, но также его собственный опыт и правила поведения, особенно по отношению к младшим коллегам.

«Когда несколько американских лингвистов обнаруживают, что их объединяют какие-то общие интересы или точки зрения, они не поднимают из-за этого шума, провозглашая себя «школой» и понося всех, кто придерживается иного мнения или просто предпочитает говорить о чем-то другом. Но они также, за небольшим исключением, не

Charles C. Fries, *The Bloomfield 'School'*, в "Trends in European and American Linguistics 1930—1960", Utrecht/Antwerp, 1961, pp. 196—224.

¹ Bernard Bloch, Leonard Bloomfield, "Language", 25, 1949, p. 94.

выдвигают обвинения в формировании «школы» и против других ученых и, следовательно, не вводят в действие правило коллективной ответственности.

Единоборство с упрямыми фактами, неподатливыми и сложными, приучает активно работающих ученых к скромности, вырабатывает привычку объективно признавать ошибки; но в немалой мере эта скромность усиливается и развивается в чувство терпимости и сотрудничества благодаря общению с товарищами по работе и социальной дисциплине, которую рождает участие в определенном коллективе людей, работающих в одной и той же области науки. Коллега (часто более молодой) высказывает мнение, которое кажется нам неправильным до тех пор, пока в последующей беседе мы не обнаружим, что его суждение основано на более широком и более верном наблюдении или на рассуждении более точном или более соответствующем фактам, и у нас рождается прозрение, которое никогда не смогло бы возникнуть, если бы мы работали в одиночку»².

И все же, несмотря на свою скромность и постоянное стремление избегать публичных выступлений, Блумфилд оказал огромное влияние на американских лингвистов и американскую лингвистику в целом. Источником этого влияния были не его лекции, которые он в качестве преподавателя читал своим студентам. По правде говоря, если не считать молодых «докторов философии», которые толпами приходили на его лекции, посвященные общим вопросам «науки о языке», в течение тех немногих лет, когда он был штатным преподавателем Института лингвистики в Мичиганском университете, студентов-лингвистов как таковых у него было очень немного. Могушественное влияние оказывали его рецензии, его статьи и его книги, особенно книга «Language» (1933), которой пользовались как учебником и которую широко изучали во всех университетах страны. Поэтому наиболее глубокое влияние Блумфилда испытали именно представители более молодого поколения — те, кто только начинал в то время свою ученую карьеру, а не уже сложившиеся и признанные лингвисты и исследователи языка старшего поколения.

² Twenty-One Years of the Linguistic Society, «Language», 22, 1946, p. 23.

Сам Блумфилд рассматривал книгу «Language» просто как «упорядоченный обзор» достижений «науки о языке», предназначенный главным образом для «широкого читателя и для ученых, только приступающих к работе в области лингвистики». Он считал, что эта книга является как бы пересмотренным изданием другой его работы—«Introduction to the Study of Language» (1914), которая в свою очередь преследовала те же цели, что и работы Уитни «Language and the Study of Language» (1867) и «The Life and Growth of Language» (1875). Блумфилд считал, что в каждый из периодов — с 1875 по 1914 и с 1914 по 1930 г. — наука о языке («наша наука») достигала все новых и новых успехов в понимании природы и функционирования человеческого языка — «достаточное оправдание для моей попытки дать краткое резюме того, что нам теперь известно о языке». В 1933 г. еще одно обстоятельство побудило его изложить материал гораздо полнее — убеждение, что «и ученые, и образованные люди вообще придают теперь все большее значение правильному пониманию человеческой речи».

Книга Блумфилда «Язык» (1933) оказалась, однако, отнюдь не простой; она представляла собой нечто гораздо большее, чем общий обзор. Для младшего поколения лингвистов, полного энтузиазма, эта книга явилась источником приемлемой научной доктрины. Бернард Блок, по-видимому, правильно охарактеризовал положение, когда в 1949 г. писал следующее:

«Не будет преувеличением сказать, что все значительные усовершенствования метода анализа, осуществленные в Америке с 1933 г., явились прямым результатом того стимула, который дала лингвистике книга Блумфилда. И если сейчас наши методы в каких-то отношениях лучше, чем методы Блумфилда, и мы более ясно, чем он, представляем себе некоторые аспекты структуры языка, впервые открытые Блумфилдом, то все это потому, что мы стоим у него на плечах»³.

Таким образом, если и существует сейчас нечто вроде «школы» Блумфилда, то возникла она потому, что значительное число исследователей в области лингвистики усвоило основные принципы, которыми руководствовался Блумфилд в своей собственной работе. Для него важны

³ Б л о к, Цит. раб., стр. 92.

были именно эти основополагающие принципы, а не конкретные приемы и методы исследования сами по себе. Однако в разработке и понимании этих принципов у последователей Блумфилда (то есть среди всех тех лингвистов, которые признают, сколь глубоко они обязаны поддержке и влиянию Блумфилда) можно обнаружить большие расхождения⁴.

Охарактеризовать «школу» Блумфилда и значит поэтому изложить прежде всего те принципы, которые он рассматривал как основу всякой серьезной научной работы в области лингвистики. Некоторые из них были и остаются спорными. Но хотя в целом Блумфилд уклонялся от полемики, в этих основных вопросах он был непреклонен. Принятые им принципы служили ему критерием для суждений, которые он высказывал в своих рецензиях, а также вселяли в него уверенность в том, что лингвистика — это образец, который позволит сделать и другие науки о человеке (human sciences) плодотворными в научном отношении.

И именно эти важнейшие принципы, лежащие в основе учения Блумфилда и его убеждений, вызвали уже при жизни Блумфилда серьезные возражения и явились причиной недоразумений, которые имеют место и в наши дни. Многие из лингвистов, извлекая огромную пользу из той или иной части обширнейшего лингвистического наследия Блумфилда и признающих большую зависимость своих концепций от концепции Блумфилда, возражают вместе с тем против некоторых из его основных положений, без которых учение Блумфилда утрачивает по существу свою стройность и последовательность. Точнее говоря, они выступают против некоторых черт в «образе» Блумфилда, сложившихся, как мне представляется, в результате неполного и неправильного прочтения ряда его сочинений. Характеризуя «школу» Блумфилда, мы попытаемся поэтому привлечь внимание к тем его воззрениям, которые он высказывал наиболее часто, и особо подчеркнем те из его высказываний, которые, по-види-

⁴ Следует также иметь в виду, что многие из «последователей» Блумфилда признают, что они испытали также и значительное влияние Эдуарда Сепира. Некоторые, несомненно, захотят, чтобы их считали одновременно «последователями» и того, и другого ученого, несмотря на большие различия между этими двумя учеными.

тому, ускользнули от внимания лингвистов, по недоразумению относящих себя к оппозиционерам.

Все, кто знал Блумфилда лучше других, согласятся, вероятно, с тем, что главной его заботой было *сделать лингвистику наукой*. И все подлинные «последователи» Блумфилда стремились продолжить его работу. Время от времени, правда, разгорались горячие споры о том, что такое «научная» лингвистика, но сама конечная цель всегда оставалась неизменной.

«Нет никакого сомнения, что величайший вклад Блумфилда в языкознание состоял в том, что он сделал эту отрасль знания наукой.

И другие ученые, до Блумфилда, подходили к лингвистике как к науке, но никто из них не отверг столь бескомпромиссно все донаучные методы и никто с такой последовательностью не старался, говоря о языке, использовать только те термины, которые не были связаны с молчаливым допущением факторов, лежащих вне сферы наблюдения»⁵.

Стремясь подойти к языку научно и расширить круг языковых явлений, доступных научной обработке, Блумфилд обращался к разным проблемам, но в этом последовательном изменении проблематики нет внезапных скачков. У того, кто рассматривает работы Блумфилда в хронологическом порядке, неизбежно возникает впечатление глубокой внутренней связи между каждой новой проблемой, оказывающейся в центре внимания Блумфилда, и прежними проблемами, то есть впечатление стройности всей картины в целом. Ниже мы остановимся на основных лингвистических принципах Блумфилда.

А. „РЕГУЛЯРНОСТЬ“ ЗВУКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Примечательно, что именно более строгий научный анализ остаточных явлений — отклонений от установленных типов фонетических соответствий — неожиданно открыл перед Блумфилдом в самом начале его научной деятельности новый мир и стал делом всей его жизни⁶.

⁵ Б л о к, Цит. раб., стр. 92.

⁶ В июне 1906 г. девятнадцатилетний Блумфилд получил в Гарварде степень бакалавра искусств, завершив там курс в три года. Этим же летом он отправился в университет в Висконсине, как

Строгое и точное применение «метода, лежавшего в основе этого анализа», — допущение «регулярности звуковых изменений» в противовес теории «спорадических необъяснимых изменений» — стало главным критерием, которым Блумфилд руководствовался в своих рецензиях 1910—1914 гг. Он считал негодными все телеологические «объяснения» остаточных форм, настаивая на необходимости научного признания того, что «обусловленные звуковые изменения являются чисто фонетическими» и «не зависят от нефонетических факторов, таких, как значение, частотность, омонимия и т. д. и т. п. той или иной конкретной языковой формы». Блумфилд не шел ни на какие компромиссы в этом вопросе, полагая, что допущение «регулярности» звуковых изменений — это основа прогресса лингвистики как науки. Во всех своих лингвистических работах, от самых ранних до самых последних, Блумфилд постоянно подчеркивал принципиальное научное значение указанного допущения⁷.

он рассказывал, «только что из колледжа в поисках вакансии ассистента. Я хотел зарабатывать на жизнь научным трудом, но у меня не проявилось еще ни понимания, ни склонности ни к какой определенной отрасли науки. Любезный профессор Холфилд поручил Прокошу, одному из своих молодых преподавателей, на один день взять шефство надо мною, как гостем. На маленьком столе в столовой Прокоша стояло несколько книг по лингвистике (мне помнится, что среди них была «Грамматика древнеболгарского языка» Лескина), и в беседе перед завтраком Прокош объяснил мне их назначение и содержание. К тому времени, когда мы сели завтракать, то есть минут через пятнадцать, я уже принял решение, что буду работать в области лингвистики. К концу двухлетнего ученичества, которое последовало за этой встречей, я не знал большего интеллектуального наслаждения, чем слушать Прокоша...» («Language», 14, 1938, p. 311—312.)

⁷ Приведем лишь некоторые из многочисленных высказываний Блумфилда, взятые главным образом из его рецензий.

а) «Следующие этимологии представляются мне ошибочными — они включают и те очень немногие отклонения от надежного и строгого принципа, которые снижают (хотя и в равно небольшой степени) ценность другой брошюры Лоу». («Journal of English and Germanic Philology», 10, 1911, p. 124.)

б) «Синонимия сама по себе — это еще недостаточное свидетельство родства... Из такого обширного материала легко набрать в изобилии параллельные слова для доказательства почти любого желаемого «фонетического закона», особенно если закон, подобно шифру «Vasopians», сформулирован *ad hoc*; но подобные беспредметные группировки слов и претенциозные гипотезы не имеют отношения к истине... в рецензируемой книге нет пустого и бездока-

С допущением «регулярности звуковых изменений» неразрывно связан и так называемый «механицизм» Блумфилда. В одной из своих ранних статей, написанной на основе наблюдений над американо-индейскими языками алгонкинской семьи, Блумфилд определенно намеревался со всей строгостью применить к этим языкам бесписьменных народов принцип «регулярности звуковых изменений».

зательного теоретизирования». ("Journal of English and Germanic Philology", 10, 1911, p. 628, 630.)

в) «Излишне оговаривать, что звуковые изменения и изменения по аналогии не подвластны нашим потребностям выражения, но являются соответственно психо-физиологическими и психологическими процессами, которые происходят произвольно и не могут быть направляемы нашими потребностями и желаниями. Эти процессы постоянно изменяют форму нашего речевого материала. Определенный отбор слов и форм из этого речевого материала, производимый образованными людьми, не имеет никакого отношения к звуковым изменениям и изменениям по аналогии; в свою очередь и эти процессы не оказывают даже отдаленного «влияния» на отбор, происходящий в литературной и образованной речи и представляющий собой дело коллективного вкуса — социальной нормы.

«...ошибочно мнение, будто бы семантическое значение или отсутствие значения у соответствующих звуков может каким-то образом регулировать звуковое изменение. ...Подобные взгляды вполне естественны, но поскольку никаких фактов в их пользу так и не было найдено, наука их отвергла; более того, при конкретном анализе условий маловероятно, что такие факты будут когда-либо обнаружены. Явления, которые мы называем фонетическими изменениями, представляют собой непрерывные и постепенные бессознательные изменения в навыках производства некоторых в высшей степени отработанных, употребительных и потому в большой мере автоматизированных движений, а именно движений, связанных с артикуляцией. ...Подобное желание или потребность [выразить свои мысли — Ч. Ф.] может повлиять на мой выбор слов или целых выражений, на их расположение, эмфазу и мелодику, может даже привести к изменению по аналогии, но не может повлиять на ту глубоко сокрытую часть моей психики, которая без моего приказа или ведома заставляет меня, по мере того как идут десятилетия, передавать последующим поколениям некоторые навыки положения языка, отличающиеся на миллиметр или на несколько сигм от тех, которым учили старшие меня самого». ("Journal of English and Germanic Philology", 11, 1912, pp. 623, 624.)

г) «И представляется сначала, когда изучаешь эти сочинения, что социальная психология Вундта сыграла точно такую же роль для нашего понимания развития языка, какую она сыграла в других сферах социальной деятельности. В частности, процессы языкового изменения слишком часто трактовались как акты логического мышления; положив конец подобным объяснениям и показав конкретный психологический характер изменений в языке, Вундт оказал языкознанию неоценимую услугу...»

«Я надеюсь также помочь избавиться от представления о том, что обычные процессы языкового изменения утрачивают силу на американском континенте (Meillet, Cohen, *Les Langues du monde*, Paris, 1924, стр. 9). Если предположить, что где-то существует язык, в котором эти процессы не происходят (звуковые изменения, независимые от значения, изменения по аналогии и т. п.), тогда с их помощью нельзя объяснить и истории индоевропей-

«Когда же Вундт высказал мнение, что отсутствие словоизменения является характерной чертой примитивных языков, он вступил в прямое противоречие с всем известными фактами истории языков. В подтверждение своего взгляда он сослался затем на широкое распространение так называемого звукового символизма, но и здесь имеет место явление, которое мы наблюдаем в процессе эволюции некоторых высокоразвитых языков... Причина ошибки Вундта заключается в том, что его социальная психология не содержит представления об общем развитии языка, сопоставимого с подобным представлением в других областях социальной деятельности... Достаточно сказать, что рационализирующая интерпретация, которая и здесь искажает действительный ход развития, не преодолена полностью и в «*Völkerpsychologie*». («*American Journal of Psychology*», 24, 1913, pp. 450—452.)

д) «...характеристика «фонетических законов» как «законов природы» не может считаться правильной: звуковое изменение — это не закон природы, но историческое явление. Тот, кто считает приведенное выше определение чем-то большим, чем простая метафора, введен в заблуждение одной из разительных особенностей фонетических изменений — их асемантическим характером...»

«Исследователи, не имеющие специальной лингвистической подготовки, часто утверждают, что возможного звукового изменения не происходит потому, что в противном случае стертым оказалось бы какое-то важное семантическое различие, или, наоборот, что данное звуковое изменение происходит именно потому, что то или иное семантическое различие, которое оно затемняет, уже не ощущается как необходимое. Для того чтобы продемонстрировать несостоятельность подобных утверждений, нет нужды обращаться к конкретным деталям процесса. Следует заметить, что в настоящее время на наших глазах осуществляется звуковое изменение, которое должно уничтожить самые четко выраженные из самых универсальных различий в английском языке. По крайней мере именно это наблюдалось вновь и вновь во всех языках, история которых нам известна. («*Language*», 1914, pp. 204, 205, 206.)

е) «Понимание процессов звукового изменения, имеющее огромную «диагностическую ценность» для психологии, этнографии и, по существу, для всех форм науки о человеке, — это наше ценнейшее наследие, полученное нами от исторического в полном смысле этого слова языкознания XIX в. Оно отражает ту стадию развития, на которой наши предшественники воздерживались от скоропелых и непродуманных психологических объяснений...» («*The Classical Weekly*», 15, 1922, p. 143.)

ских и любых других языков. Закон, подобный принципу регулярности фонетических изменений, не связан с какой-то определенной традицией, передаваемой каждому новому говорящему на данном языке, но представляет собой либо универсальную черту человеческой речи, либо вообще ничего собой не представляет, то есть является ошибкой»⁸.

Для Блумфилда особая важность допущения «регулярности» звуковых изменений заключалась в том факте, что оно было в высшей степени продуктивно с научной точки зрения. Все другие допущения не давали научных (доказуемых) результатов, а лишь затемняли проблемы, возникающие при анализе «остаточных форм» (так называемых исключений)⁹.

ж) «...и было там одно место, из которого в конечном счете следовало, что утрата (в результате звуковых изменений) словоизменительных окончаний в английском языке была обусловлена тем обстоятельством, что эти окончания уже больше не были нужны для выражения значения. ...достаточно указать, что с самого зарождения лингвистической науки именно такие идеи — соотносящие языковые изменения с желаниями или потребностями людей — проверялись вновь и вновь: ведь они находятся на столбовой дорожке нашего коллективного здравого смысла; но эти идеи были отброшены как несостоятельные, потому что оказались бессильными объяснить факты. ...Несостоятельность научного метода (или гипотезы, или допущения) может быть доказана только путем строгого применения самого этого метода — и никогда при помощи перечисления специально отобранных изолированных фактов или апелляций, пусть даже очень хитроумных, к здравому смыслу. В этих вопросах не должно быть никаких уступок».

«Заслугой Гримма (не говоря уже о гениальности этого человека) было то, что силой своего метода он завоевал для науки такую огромную массу фактов, что с ними работают вот уже многие поколения лингвистов, так почти и не выходя за их пределы». («American Journal of Philology», 43, 1922, pp. 371, 372, 373.)

з) «Постулат о звуковых изменениях, не знающих исключений, вероятно, так и останется лишь допущением, поскольку другие типы языковых изменений (изменения по аналогии, заимствования) также неизбежно оказывают влияние на весь наш материал. Тем не менее, и в качестве допущения этот постулат позволяет без особого труда делать предсказания, что в других случаях было бы невозможно. Иными словами, положение о том, что фонемы изменяются (звуковые изменения не знают исключений), — это проверенная гипотеза, насколько вообще можно говорить о таких вещах, истинность ее доказана». («Language», 4, 1927, p. 100.)

⁸ «Language», 1, 1925, p. 130.

⁹ «В 1870 г., когда специальные термины были менее точными, чем в наши дни, допущение единообразных звуковых изменений получило туманную и метафорическую формулировку: «Фонетические законы не знают исключений». Очевидно, термин «закон» употреблен здесь не в прямом значении, поскольку звуковое изменение

«В действительности спор идет об объеме классов фонетических соответствий и значении форм, не охваченных этими соответствиями. Младограмматики утверждали, что результаты исследований позволяют сделать классы соответствий непротиворечивыми, *а также произвести полный анализ остаточных форм...* Младограмматики, в частности, настаивали на том, что их гипотеза плодотворна в этом последнем направлении: она помогает выделить черты сходства, возникшие в результате не фонетических, но других изменений, и тем самым приводит нас к пониманию этих факторов».

«Задача, следовательно, заключается в том, чтобы устранить ложные этимологии, пересмотреть наши формулировки фонетических соответствий и признать наличие других языковых изменений, кроме изменений звуковых».

«Противники младограмматиков утверждают, что совпадения, которые не подводятся под установленные типы фонетических соответствий, могут быть вызваны к жизни просто спорадическими явлениями, или отклонениями от звуковых изменений, или тем, что звуковые изменения остались неосуществленными...»

«Младограмматики же видят в этом серьезное нарушение научного метода. Возникновение нашей науки было связано с появлением метода, который исходил из регулярности фонетических изменений, и ее дальнейшие успехи, как, например, открытие Грассманна, также основывались на том же неизменном допущении. Разумеется, вполне возможно, что какое-либо другое допущение привело бы к установлению еще более правильного соотношения фактов, но защитники спорадических звуковых изменений не предлагают ничего подобного; они признают результаты, полученные благодаря применению существующего метода, и вместе с тем пытаются объяснить некоторые факты при помощи прямо противоположного метода (или, точнее, при отсутствии метода), который подвергался проверке на протяжении всех столетий, предшествовавших Раску и Гримму, и был признан несостоятельным»¹⁰.

ни в каком смысле не является законом, но лишь историческим явлением. Выражение «не знают исключений» очень неточно передает мысль о том, что нефонетические факторы, такие, как частотность или значение отдельных языковых форм, не оказывают влияния на изменение фонем». («Language», 1933, p. 354.)

¹⁰ «Language», 1933, pp. 354—355.

Таким образом, положение о строгой «регулярности» звуковых изменений не является догмой, в которую нужно верить слепо, без рассуждений. Это, скорее, вполне обоснованная гипотеза, оказавшаяся достаточно плодотворной на практике.

Б. „ИСКЛЮЧЕНИЕ“ ПСИХОЛОГИИ

Как было сказано, Блумфилд, занимаясь лингвистическими проблемами, с самого начала осуждал «бездоказательное теоретизирование» (1911), «телеологическую интерпретацию» (1912), «скороспелые психологические объяснения» (1914). Он полностью присоединился к следующему заключению Лескина, сделанному в 1876 году: «Тщательный анализ остаточных форм, не подходящих под установленные звуковые соответствия, настолько часто приводил к открытию непротиворечивых фактов или к устранению ошибочных этимологий, что лингвисты вправе предполагать, что изменения фонем являются абсолютно регулярными». Еще в 1912 г. Блумфилд писал: «Явления, которые мы называем фонетическими изменениями, представляют собой непрерывные и постепенные *бессознательные изменения в навыках осуществления некоторых в высшей степени отработанных и потому в большой мере автоматизированных движений*, а именно движений, связанных с артикуляцией».

Формирование «механистического», а не «менталистского» подхода к языку у Блумфилда относится к более раннему времени, чем его первое знакомство с психологом А. Р. Вайссом (осенью 1921 г.). Правда, особое внимание к «механистическим» формулировкам обнаруживается у Блумфилда с наибольшей ясностью после 1921 г. Но в целом факты, по-видимому, свидетельствуют *не о том*, что под влиянием Вайсса Блумфилд начиная с 1922 г. становится «бихевиористом», а затем «механистом», а о том, что, напротив, Вайсс под воздействием Блумфилда пришел к новому пониманию значения языка, которое соответствовало и отвечало его собственному пониманию «некоторых возможностей прогресса человечества, когда за основной постулат поведения человека берется научный механицизм».

Приводимые ниже строки являются частью высказывания Блумфилда о Вайссе.

«Вайсс не был исследователем языка, но он был, вероятно, первым, кто увидел его огромное значение. Он понял, что язык дает ключ к тем явлениям человеческого поведения и прогресса, которые до того относили за счет нематериальных сил. Всегда находились ученые, которые отказывались верить в призраки нашего коллективного анимизма (*мозг, сознание, воля* и т. п.), но эти ученые никогда не давали четкого и удовлетворительного объяснения сверхбиологическим действиям человека — поступкам, которые выходят за пределы возможностей животных. В наше время такими учеными являются бихевиористы — безобразный термин, по мнению Вайсса, который, однако, принял его за неимением лучшего. Вайсс был верным учеником Макса Мейера; система последнего, наиболее законченная в тех своих частях, которые направлены против анимизма и финализма, легла в основу работ Вайсса. Огромный шаг вперед по сравнению с учителем ученик смог сделать именно благодаря признанию первостепенной роли языка...»

«Механизм языка составляет специфический фактор в поведении человека...»

«Знаменательно, что, найдя этот ключ, Вайсс посвятил все последние годы своей жизни исследованию эстетических и этических явлений, которые до сих пор меньше всего поддавались материалистической интерпретации»¹¹.

С другой стороны, «бихевиоризм» Вайсса в том виде, в каком он изложен в его книге «*A Theoretical Basis of Human Behavior*» (не «бихевиоризм», приписываемый обычно Д. Уотсону), произвел на Блумфилда огромное

¹¹ «*Language*», 7, 1931, pp. 219—221.

Часто утверждают, что книга Блумфилда 1914 г. была основана на психологической системе Вундта, что к 1933 г. Блумфилд уже стал бихевиористом и что в книге 1933 г. свой анализ языка он строит на бихевиоризме. Подобные утверждения не соответствуют тому, что говорил сам Блумфилд. В «Предисловии» к книге «*Language*» (1933) есть следующее место, которое необходимо читать очень тщательно и принимать буквально: (курсив мой.—Ч. Ф.) «*Глубоко укоренившиеся языковые навыки, наиболее важные для всех нас, обычно игнорируются во всех исследованиях, кроме самых передовых и новых: данная книга ставит своей целью рассказать о них простыми словами и показать их воздействие на человека и его дела. В 1914 г. я исходил на этой стадии изложения из психологической системы Вильгельма Вундта, которая была тогда общепринятой. С того времени в психологии произошли большие сдвиги; мы узнали, во всяком случае, то, что один из наших учителей подозревал еще тридцать*

впечатление именно потому, что он полностью соответствовал основным взглядам, уже выработавшимся у него по отношению к лингвистическому исследованию, и подтверждал их. Но вместе с тем абсолютно безосновательно представлять себе Блумфилда крайним «бихевиористом», который руководствуется в своем подходе к языку самой вульгарной разновидностью бихевиористской психологии.

Что касается блумфилдовской «бихевиористской психологии» и того значения, которое он придавал «механицизму», то необходимо с максимальным вниманием отнестись к следующим замечаниям.

1) Блумфилд решительно настаивал на том, что «мы можем изучать язык независимо от какой бы то ни было психологической теории и что, поступая так, мы обеспечиваем надежность наших результатов и увеличиваем их значение для ученых в смежных областях».

Такая точка зрения не была новой для Блумфилда в 1933 г. Еще в 1914 г. он писал: «Ученый, который работает в области науки, имеющей дело с психикой [например, лингвистика.— Ч. Ф.], вероятно, может и в идеале должен воздерживаться от каких бы то ни было поспешных психологических объяснений»¹².

Он с удовлетворением цитировал следующий отрывок из статьи Эдуарда Сепира:

«Это более новое направление затрагивает два важнейших вопроса... Во-вторых, мы уже не зависим от психологии, сознавая, что лингвистика, как и всякая другая наука, должна изучать свой объект в себе и для себя, исходя из своих собственных основных принципов; только при этом условии полученные нами результаты будут представлять ценность для смежных наук (в нашем случае особенно для психологии), и в свете данных этих смежных наук они будут в конечном итоге поняты нами более глубоко. Иными словами, мы должны изучать языковые навыки у людей — то, как люди говорят, — не заботясь

лет назад, а именно, что мы можем изучать язык *независимо от какой бы то ни было психологической теории* и что, поступая так, мы обеспечиваем надежность наших результатов и увеличиваем их значение для ученых в смежных областях. В настоящей книге я также пытался *избежать такой зависимости*; и только с целью разъяснения я в отдельных случаях показываю то, как различаются в своей интерпретации *два основных направления современной психологии*».

¹² Language, 1914, p. 318.

о тех психических процессах, которые, как мы полагаем, лежат в основе этих навыков или сопутствуют им».

«Физиологу или психологу, возможно, покажется, что мы прибегаем к ничем не оправданному абстрагированию, когда намереваемся изучать наш объект — речь — без постоянных и ясных ссылок на ее основу — психические процессы. Однако такая абстракция вполне правомерна. Мы можем с большой пользой изучать назначение, форму и историю речи, точно так же как изучаем природу любого другого аспекта человеческой культуры — скажем, искусства или религии, — считая его явлением социальным или культурным и оставляя в стороне как нечто само собой разумеющееся стоящие за ним органические и психологические механизмы... Наше изучение языка не должно ограничиваться изучением происхождения и функционирования какого-либо конкретного механизма; оно должно, скорее, представлять собой исследование функции и формы условных систем символизма, которые мы называем языками»¹³.

В 1924 г. он высказывался еще более конкретно и решительно.

«За пределами исторической грамматики лингвисты совершали отчаянные попытки, стремясь дать психологическую интерпретацию фактам языка, а в фонетике — бесконечное и бесцельное перечисление различных артикуляций звуков речи. У Ф. де Соссюра не было, по-видимому, никакой психологической теории, помимо самых элементарных общераспространенных представлений, а его фонетика — это абстракция от французского и немецкого языков Швейцарии, которая не выдерживает даже такого испытания, как приложение ее к английскому языку. Таким образом, на примере своей фонетики де Соссюр, сам того не сознавая, доказал то, что он стремился доказать намеренно и по всем правилам, а именно, что психология и фонетика совершенно несущественны и в принципе не имеют никакого отношения к изучению языка. Конечно, человек, который собирается записать незнакомый язык или намеревается учить людей иностранному языку, должен иметь познания в фонетике, а также обладать тактом, терпением и многими другими добродетелями; в принципе, однако, все это аспекты одного

¹³ «The Classical Weekly», 15, 1922, pp. 142—143.

рода, и все они не имеют отношения к лингвистической теории»¹⁴.

В вводной части своей статьи «Postulates for the Study of Language» Блумфилд стремится *исключить психологию* из научного обсуждения лингвистических проблем.

«...метод постулатов оказывает большую помощь в научных спорах потому, что он ограничивает наши формулировки определенной терминологией; в частности, он избавляет нас от дебатов по психологическим проблемам. ...Существование и взаимодействие социальных групп, объединенных языком, признает и психология, и антропология».

«Психология, в частности, дает нам такой ряд: на определенные стимулы (А) человек реагирует речью; его речь (В), в свою очередь, побуждает слушающих к известным реакциям (С). Благодаря наличию социального навыка, который каждый человек усваивает в детстве от взрослых, А—В—С тесно связаны. Внутри этого соотношения стимулы (А), которые вызывают акт речи, и реакции (С), которые являются результатом данного речевого акта, находятся в очень тесной связи, потому что каждый человек выступает попеременно и как говорящий, и как слушающий. Поэтому мы вправе без дальнейшего обсуждения говорить о *звуковых явлениях*, или *звуках* (В) речи, и о *явлениях* речи, *связанных со стимулами-реакциями* (А—С)»¹⁵.

Иными словами, для Блумфилда характерно *не* то, что языковые явления интерпретируются или классифицируются им в терминах бихевиористской психологии. Напротив, он настаивает на исключении «психологии» вообще при научном изучении языка. Лингвистика может существовать как наука независимо от какой бы то ни было психологической теории; но научная психология (так же как другие науки, изучающие человека) не должна забывать о языке.

2) Некоторые утверждают, что «Блумфилд предпочитал описывать речевой акт *исключительно* в терминах *стимулов и ответных реакций* (курсив мой.— Ч. Ф.),

¹⁴ «Modern Language Journal», 8, 1924, p. 318. (Блумфилду было известно также и утверждение Бертольда Дельбрюка (1901 г.) о том, что «не имеет значения, в какую систему психологии лингвист верит».) («Grundfragen der Sprachforschung».)

¹⁵ «Language», 2, 1926, pp. 153—154.

обозначая посредством цепочки индексов $S - r - s - R$ тот факт, что стимул S (языковой или неязыковой, безразлично) вызывает у говорящего речевую реакцию (r), которая в свою очередь играет роль языкового стимула (s), воздействующего на слушающего и вызывающего у него реакцию (R), возможно, также речь или какой-то поступок, не связанный с речью»¹⁶. Однако подобные утверждения не дают, разумеется, сколько-нибудь удовлетворительного представления о позиции Блумфилда. И дело не изменится, если мы добавим следующие два предложения: «связь между неязыковым стимулом и ответной реакцией в виде «поступка» может быть опосредована многими сменами речевых актов. Мы замечаем, таким образом, отсутствие какого бы то ни было упоминания о сознании или мышлении, что согласуется с общими взглядами Блумфилда».

Блумфилд действительно использует формулу $S - r - s - R$, так же как термины *стимул* и *ответная реакция*, но совсем не для того, чтобы «описать» акт речи. Он пользуется этой формулой скорее для того, чтобы проиллюстрировать функцию языка в обществе — показать, что «язык позволяет вызвать реакцию (R) у одного человека, хотя стимул (S) был получен другим»¹⁷. Приводимое ниже высказывание самого Блумфилда, относящееся к 1927 г., характеризует в общих чертах явления, из которых складывается акт речи.

«Для лингвиста, заинтересованного в выяснении научных возможностей своего метода, *неприемлема никакая психологическая теория*, которая пытается на основе индивидуальной психологии объяснять явления, исторически связанные, как известно лингвисту, с той или иной социальной группой. Для лингвиста акт речи представляет

¹⁶ W. E. Collinson, Some Recent Trends in Linguistic Theory, «Anglia», 1, 1948, p. 307.

¹⁷ «Таким образом, в дополнение к обычному биологическому ряду $S - R$ человек имеет еще ряд $S - r - s - R$. Здесь $r - s$ обозначает языковой акт; эффективный с точки зрения биологии стимул S и реакция R не обязательно наблюдаются у одного и того же человека. Язык перебрасывает мост через пропасть, отделяющую нервную систему одного человека от нервной системы другого. (Курсив мой. — Ч. Ф.) Он делает возможным детальное разделение труда и высокую специализацию индивидуальных способностей». («The Linguistic Aspects of Science», 1939, p. 15.)

собой результат явлений, которые можно сгруппировать следующим образом:

1. Обстоятельства данного конкретного случая.
 - а. Физический стимул.
 - б. Сугубо индивидуальное состояние говорящего в данный момент.
2. Обстоятельства, социально обусловленные.
 - а. Внеязыковые групповые навыки (например, обычаи, такие, как табу или этикет).
 - б. Языковые модели (язык данного коллектива).

Как лингвисты, мы знаем, что факторы в пункте 2б нельзя объяснить, исходя из особенностей индивидуума, какой бы терминологией при этом мы ни пользовались — менталистской или любой другой; те факты исторической (и даже описательной) грамматики, о которых идет речь, не имеют никакого отношения к индивидууму. Он говорит так, как говорят другие. Подобным же образом рассматриваются этнографией и другими социальными науками факты в пункте 2а».

«Позвольте мне теперь сформулировать гипотезу, которая, как я полагаю, устранил противоречия между психологической теорией лингвиста и его профессиональной лингвистической практикой. Если бы другие социальные науки дошли в своем развитии даже не до идеального уровня, но просто до уровня, которого достигла лингвистика, то социально обусловленные факторы (2а) можно было бы выразить в чисто физиологических терминах — состояние тела говорящего в тот или иной момент».

«Социальные модели, языковые и прочие, — это, разумеется, лишь абстракция... Если мы не прибегнем к такой абстракции, перед нами откроются два пути: (А) Мы можем изучать индивидуум с самого раннего детства, когда его действия полностью объяснимы при помощи 1а и 1б, и наблюдать за тем, как последовательные поступки его сотоварищей по группе (родителей и т. п.) акт за актом «подготавливают» его к социальным навыкам 2а и 2б. Это — *индивидуальная психология*. ...Или (Б) Мы можем изучать группу, наблюдая за каждым действием данного типа (например, каждым случаем произнесения слова centum «сто»), с тем чтобы установить способ передачи и его изменения с течением времени. Это — *социальная психология*».

«Лингвистика не занимается ни тем, ни другим, но остается в сфере абстракции. ...Как только индивидуум усвоил навык использования той или иной языковой формы, мы полагаем, что при определенных комбинациях (1а, 1б и 2а) он эту форму и произнесет. И, наоборот, если в каком-то обществе существует определенная языковая форма, то мы можем предположить, что она произносится именно при таком сочетании условий, и нас интересует только ее место в общей системе языка и ее постепенные модификации».

«Все это, включая нашу схему, сохраняет силу также и применительно к тому, кто слушает речевое высказывание... Напыщенная тирада может достичь барабанных перепонок слушающего и вызвать лишь улыбку, а несколько слов, произнесенных шепотом, — трагедию Отелло. Но лингвист не идет так далеко; его интересует абстракция, то есть особенности дальнейшего поведения, общие для «всех», кто слышал данную форму, и исторические изменения этих особенностей — значение и семантическое изменение. ...лингвист определяет те особенности акта (грамматические), которые являются привычными для данной группы, устанавливает их место в системе навыков (языке) и прослеживает их историю; представители других социальных наук, каждый в своей сфере, идут аналогичными путями...»

«Поскольку психологическая теория не является необходимой для лингвиста, все сказанное выше можно было бы рассматривать просто как беглое описание того, что, по моему мнению, вытекает при решении чисто лингвистических проблем из реальной практики всех лингвистов, каковы бы ни были психологические теории, которых они придерживаются»¹⁸.

В. НАУЧНЫЕ ДЕСКРИПТИВНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ

Известно, что Блумфилд упорно настаивал на строго *научных дескриптивных формулировках* без «менталистской» фразеологии. Однако этот вопрос следует полностью отделить от обсуждения бихевиористской психологии. «Всякое научное утверждение строится в мате-

¹⁸ Leonard Bloomfield, On Recent Work in General Linguistics, «Modern Philology», 25, 1927, pp. 212—214.

риальных терминах» — это правило *не зависит от какой бы то ни было психологической точки зрения*. Оно не сужает и не ограничивает ни материал, избираемый для исследования, ни даже приемы, используемые при этом. Указанное правило формулирует основное свойство, которым должно обладать любое описание или изложение результатов исследования, для того чтобы это описание или изложение можно было назвать *научным*.

Блумфилд сформулировал это так: «Индивидуум может основываться на чисто практическом, художественном, религиозном или научном восприятии мира, и тот аспект, который он считает главным, будет вторгаться в пределы других аспектов и поглощать их. Выбор при современном состоянии наших познаний может быть осуществлен только слепо — посредством акта веры; и с этим не следует смешивать вопрос о ментализме».

«Автор настоящей статьи глубоко убежден, что *научное описание мира*, какое бы оно ни было, вовсе не требует менталистских терминов, потому что те пропасти, через которые эти термины должны перекинуть мост, существуют только до тех пор, пока не принимается во внимание язык»¹⁹.

Речь здесь идет, таким образом, не об общетеоретических взглядах ученого на сущность мира и даже не о психологической теории, которой он придерживается; Блумфилд говорит лишь о составлении «научных» дескриптивных формулировок. Блумфилд был убежден, что «научные» дескриптивные формулировки должны

¹⁹ "Linguistic Aspects of Science", 1939, p. 13. (Эту статью не следует смешивать с более ранней и более короткой статьей, носящей то же название и опубликованной в "Philosophy of Science", 2, 1935, pp. 499—517.)

Ниже мы приводим несколько формулировок (в том виде, как их суммировал Блумфилд), к которым независимо друг от друга пришли различные ученые.

а) «что наука должна иметь дело только с теми явлениями, которые доступны по времени и месту любому исследователю (*бихевиоризм* в строгом смысле этого слова);

б) «только с явлениями, которые поставлены в определенные координаты времени и места (*механицизм*);

в) «что наука будет применять только такие исходные формулировки и предсказания, которые ведут к действительным операциям (*операционализм*);

г) «только такие термины, которые выводятся путем строгого определения из ряда повседневных терминов, относящихся к материальным явлениям (*физикализм*)».

быть составлены в «материальных» терминах — «терминах, которые выводятся путем строгого определения из ряда повседневных терминов, относящихся к материальным явлениям». Этот *физикализм*, к которому он стремился в своих работах, явился основой для его постулатов. В этом одна из причин, почему для людей, малоопытных в области лингвистики, работы Блумфилда не кажутся трудными и сложными. Но простота и ясность его изложения весьма обманчивы: «каждое слово здесь важно, и каждое определение нужно принимать всерьез». Блумфилд ведет свое изложение «объективно, точно и при помощи слов, которые значат не более того, что известно из действительного наблюдения»²⁰.

Именно это подчеркивает и сам Блумфилд:

«В каждом речевом коллективе существуют речевые формы, по отношению к которым наша реакция является относительно постоянной и единообразной. Физик, физиолог, психолог и антрополог, изучающие ситуации, в которых такие речевые формы произносятся, и реакции, которые они вызывают у слушающего, могут обнаружить, что эти речевые формы вовсе не просты, но это нас сейчас не интересует. Нас интересует лишь тот факт, что наши реакции (в том числе и речь) на известные речевые формы относительно постоянны и единообразны и что эти речевые формы составляют основу языка науки. Здесь опять нет абсолютных границ: чем более постоянным и единообразным является наше использование какой-то речевой формы, тем более она подходит для научного описания. При прочих равных условиях, чем больше мы будем применять в нашем научном описании речевые формы, вызывающие максимально единообразные реакции, тем более успешным будет это описание».

Для подтверждения своей мысли Блумфилд ссылается на математику, которая использует языковые формы, отличающиеся наивысшей степенью единообразия реакции со стороны тех, кто получил математическое образование.

«Количественные числительные используются в обычной речи весьма многообразно. Простейшим является такой случай, когда мы ставим в одно-однозначное соответствие ряды объектов, не имея их в действительности

²⁰ Б л о к, Цит. раб., стр. 93.

перед собой. Поскольку при этой операции люди обнаруживают большое единообразие реакций, она играет важную роль в науке; вероятно, всякая наука, оперирующая терминами количества, должна будет предположить существование отдельных объектов, и наш ловкий прием распределения объектов по классам, часто весьма условный...»

«...Какое бы положительное целое число мы ни называли, говорящий на английском языке всегда может досчитать» до него. Однако ему не нужно попусту тратить на это свое время, поскольку в любом реальном употреблении нас интересуют только некоторые отношения последовательности того числа, которое было названо. Когда мы говорим, что английский язык предусматривает «бесконечность» положительных целых чисел, мы вовсе не имеем в виду, что кто-то будет вести счет до бесконечности; мы подразумеваем только, что в английском языке имеются речевые формы для того, чтобы назвать число, «непосредственно следующее» за любым другим целым числом. Когда мы говорим, что тот или иной класс «бесконечен», мы не имеем в виду, что какой-то человек или ряд людей осуществил бесконечное множество реакций; мы подразумеваем под этим только, что мы договорились о какой-то определенной ответной реакции (*функции*) на определенный тип стимула (*аргумент*) и посредством наглядной демонстрации или словесных наставлений закрепили наше соглашение настолько прочно, что единообразно реагируем на любой новый стимул такого же типа...»

«Математика не стоит на одном уровне с другими науками; в принципе она является частью каждой науки; она представляет собой технические приемы составления формулировок при помощи речевых форм, вызывающих наиболее единообразную реакцию. Логическое исчисление и условная запись фонем в лингвистике носят математический характер; поскольку общение посредством чисел обеспечивает, по-видимому, наиболее высокое единообразие реакции, целесообразно было бы попытаться свести такие нечисловые типы, по крайней мере в теории, к форме чисел»²¹.

²¹ "Linguistic Aspects of Science" в "Philosophy of Science", 2, 1935, pp. 505, 509, 512.

Принятие этого типа *физикализма* — убеждение, что дескриптивные формулировки для того, чтобы стать *научными*, должны быть сформулированы «в материальных терминах», — не предполагает, однако, что тем самым решаются все проблемы изложения научных выводов в лингвистике. Блумфилд постоянно боролся за то, чтобы распространить *научный анализ и научное формулирование результатов на всю сферу лингвистических знаний*. И в этом отношении он, по мнению некоторых ученых, оказал самое большое влияние на своих последователей²².

Трудно сказать, насколько соответствует действительности мнение о том, что особое внимание Блумфилда к дескриптивным формулировкам как единственно научным (в подтверждение этому приводились его собственные работы) превратило американскую лингвистику скорее в «способ формулирования», чем в «систему формулировок»; как бы то ни было, многие из тех, кого считают необлумфилдианцами, действительно обратились к созданию новых терминов, с тем чтобы сделать приемы исследования более ясными,

«...а поэтому можно говорить не только о языке, но также и о том, как говорить о языке. ...Обсуждение приемов лингвистического исследования — это не лингвистика, как мы ее понимаем, но скорее металингвистика»²³, то есть *метаязык*, предназначенный для того, чтобы говорить о лингвистике.

Фактически ту же мысль, хотя и иными словами, высказал Фёгелин: «Значительная часть лингвистов-необлумфилдианцев занята переформулированием в духе структуральной лингвистики определенных грамматических моделей, установленных для того или иного языка нашими

²² «...два основных постулата Блумфилда, благодаря которым было твердо установлено, что лингвистика должна быть способом формулирования, а не определенным набором формулировок. Первый из них говорит, что лингвистическая наука возможна. Второй определяет направление, в котором она должна развиваться. Это направление, называемое нами «дескриптивной лингвистикой», является одним из ведущих течений американской лингвистической школы (не единственным). Таков тот «переход», о котором говорилось выше; начиная с этого времени мы попадаем в современный период развития американской лингвистики» (Martin J o o s, *Readings in Linguistics*, предисловие).

²³ Einar H a u g e n, *Directions in Modern Linguistics*, "Language", 27, 1951, p. 212 [Русск. перев. см. в сб. «Новое в лингвистике» вып. I, 1960, стр. 246—247.]

предшественниками, уточнением определений, характеризующих такие модели, усовершенствованием формулировок, касающихся трансформационных возможностей и возможностей сочетаемости — как правило, ради достижения большей ясности или большей краткости изложения, а иногда и того, и другого...»²⁴

В целом даже те, кто не принимает некоторых принципов учения Блумфилда, признают вместе с тем важность требования строго «научных» дескриптивных формулировок.

«Высказав эти предостережения и оговорки, я хотел бы теперь выразить уверенность в том, что противники ментализма в лингвистике сметут, как очищающий ветер сметает мертвые листья, все препятствия, стоящие на пути многих описаний или исследований языка. Желательно было бы, чтобы они довели до конца свои попытки сделать лингвистику автономной и самостоятельной научной дисциплиной и продолжали совершенствоваться и уточнять уже разработанные ими четкие и компактные методы исследования»²⁵.

Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

Дерзкий вызов, брошенный старому и традиционному использованию «значения» в лингвистическом анализе, поднял такую бурю возражений, что у многих сложилось впечатление, будто бы американские лингвисты, особенно лингвисты блумфилдовской «школы», отбрасывают значение вообще — что они не только отвергают «использование значения» в лингвистическом исследовании, но что они также категорически отказываются уделить «изучению значений» хотя бы какое-то место в научном языкознании.

«Одной из общих характерных особенностей методологии дескриптивной лингвистики, как она применяется сейчас американскими лингвистами, является попытка анализировать языковую структуру независимо от значения»²⁶.

²⁴ C. F. Voegelin, Review of Eastern Ojibwa, by Leonard Bloomfield, "Language", 35, 1959, p. 117.

²⁵ W. E. Collinson, op. cit., p. 310.

²⁶ John B. Carroll, A Survey of Linguistics and Related Disciplines, 1950, p. 15.

«Некоторые ведущие лингвисты, особенно в Америке, считают возможным исключить изучение того, что они называют «значением», из науки о языке, и при этом сознательно исключают все, имеющее отношение к разуму, мышлению, мысли, понятию. «Ментализм» является табу»²⁷.

Полагают, по-видимому, что лингвист, стремящийся избежать «ментализма», не может *изучать* значение; что механисты не могут сколько-нибудь успешно говорить о значении потому, что они намеренно игнорируют определенные стороны человеческого опыта. Блумфилд действительно неоднократно указывал на то, как трудно дать «точное с научной точки зрения определение значения каждой формы языка», и не раз говорил, что «формулирование значений — это слабое место в исследовании языка, и оно останется таковым, пока человеческие знания не шагнут далеко вперед по сравнению с их современным состоянием»²⁸. Все же, несмотря на это, он рассматривал проблемы значения²⁹ и формулирования значений, главным образом лингвистических значений, и утверждал, что «на практике менталист определяет значения совершенно так же, как это делает механист,—в терминах реальных ситуаций»³⁰. Он даже давал определение *значению* как таковому.

²⁷ J. R. F i r t h, General Linguistics and Descriptive Grammar, "Transactions of the Philological Society", 1951, p. 82.

²⁸ «...даже в тех случаях, когда мы располагаем научной (то есть общепризнанной и точной) классификацией, мы часто обнаруживаем, что значения слов не согласуются с этой классификацией. Так, «кит» по-немецки называется Walfisch—«рыба» (ср. русск. *Чудодюдо рыба-кит*.— *Перев.*), а «летучая мышь»—Fledermaus—«мышь». Физики рассматривают цветовой спектр как непрерывную шкалу световых волн различной длины в пределах от 40 до 72 сотых тысяч миллиметра, но в различных языках различные части этой шкалы выделяются, совершенно условно и без точных границ, в значениях таких терминов цвета, как, например, *фиолетовый, синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный*, причем термины цвета других языков охватывают другие оттенки. Родственные отношения людей кажутся простым делом, но вот терминология родства, используемая в различных языках, поддается анализу с огромным трудом». ("Language", 1933, pp. 139—140.)

²⁹ См., в частности, его книгу "Language", 1933, pp. 138—157 и 425—443; "Language or Ideas" в "Language", 12, 1936, pp. 89—95; "Linguistic Aspects of Science", 1939; "Philosophical Aspects of Language", в "Studies in the History of Culture", 1942, pp. 173—177; "Meaning" в "Monatshefte für Deutschen Unterricht", 35, 1934, S. 101—106.

³⁰ «Явления, которые менталист обозначает как психические процессы, а механист классифицирует по-иному, затрагивают в

«Термин „значение“, который используется всеми лингвистами, является неизбежно многообъемлющим, поскольку он должен охватывать все стороны семантического содержания (*semiosis*), которые можно установить благодаря философскому или логическому анализу: отношение на различных уровнях речевых форм к другим речевым формам, отношение речевых форм к неязыковым ситуациям (предметы, явления и т. д.) и отношения, опять на различных уровнях, к лицам, принимающим участие в процессе общения»³¹. Иными словами, «значение» присуще не речевым формам как таковым, но складывается из трех типов отношений речевых форм:

- а) отношения речевых форм к *другим речевым формам*,
- б) отношения речевых форм к *неязыковым ситуациям* (предметы, явления и т. д.),
- в) отношения речевых форм к *лицам*, принимающим участие в процессе коммуникации.

Нельзя также сказать, что Блумфилд отказывался от использования «значения» в лингвистическом исследовании. В качестве доказательства можно привести многочисленные цитаты из его книги «*Language*» (1933):

«Чтобы установить различительные признаки того или иного языка, мы должны выйти за пределы области чистой фонетики и действовать так, как если бы наука шагнула настолько далеко вперед, что стало возможно отождествить все ситуации и реакции, которые и составляют

каждом случае только одного человека: каждый из нас реагирует на них, когда они происходят в нем самом, но не умеет реагировать на них, когда они происходят у кого-нибудь другого. Психические процессы и внутренние физиологические процессы других людей известны нам только по речевым высказываниям и из других действий, доступных наблюдению. Поскольку это все, с чем нам приходится работать, менталист на практике определяет значения совершенно так же, как и механист, — в терминах реальных ситуаций; он определяет *яблоко* не как «образ широко известного твердого и т. п. ... фрукта», но, как и механист, он опускает первое из этих слов и, по существу, для всех говорящих, за исключением самого себя, просто делает вывод о наличии у них образа, исходя из того факта, что говорящий употребил слово *яблоко*, или из какого-то более определенного высказывания говорящего («У меня был мыслительный образ яблока»). На практике, следовательно, все лингвисты, как менталисты, так и механисты, определяют значения, исходя из ситуации говорящего, и в тех случаях, когда это вносит что-то новое, — из реакции слушающего. (*Language*, 1933, pp. 143—144.)

³¹ «*Linguistic Aspects of Science*», 1939, p. 18.

значения речевых форм. Если мы имеем дело с нашим родным языком, то, решая вопрос о том, „одинаковы“ ли данные речевые формы или „различны“, мы полагаемся на наш повседневный опыт. В том же случае, когда изучаемый язык является чужим, нам приходится узнавать все это, учась на своих собственных ошибках или обращаясь за помощью к кому-то, кто знает этот язык...»

«Изучение значимых звуков речи — это *фонология* или *практическая фонетика*. Фонология должна учитывать значения» (77, 78).

«Исследователь может научиться узнавать фонематические различия, только устанавливая, какие высказывания сходны по значению, а какие различны» (93).

«По этой причине даже совершенное знание акустики не даст нам представления само по себе о фонетической системе языка. Нам всегда приходится определять, какие из общих акустических признаков, судя по передаваемым значениям, „одинаковы“ для говорящих, а какие „различны“» (128).

«Важно помнить, что практическая фонетика и фонология предполагают знание значений: без этого мы не могли бы установить фонематические признаки» (137, 138).

«Только таким путем необходимый анализ (то есть такой, при котором принимаются во внимание значения) позволяет установить предельные составляющие морфемы» (161).

В действительности Блумфилд неоднократно указывал, что изучение языка с необходимостью должно включать рассмотрение и использование значения.

«Люди производят различные голосовые шумы и используют их многообразие: под воздействием определенных типов стимулов они произносят определенные звуки, а окружающие, воспринимая эти звуки, соответствующим образом на них реагируют. Короче говоря, различные звуки человеческой речи имеют различные значения. Изучать эту соотнесенность определенных звуков с определенными значениями и есть изучать язык» (27).

«После того как мы установили фонематическую систему языка, мы должны определить, какие значения закреплены за рядом фонетических форм» (138).

К приведенным выше цитатам мне хотелось бы добавить выдержку из частного письма, написанного Блумфилдом 29 января 1945 г.:

«Как ни грустно это слышать, но многие утверждают, что я или, точнее, целая группа исследователей языка, к которой я принадлежу, не обращает внимания на значение или игнорирует его или даже что мы пытаемся изучать язык без значения, просто как совокупность звуков, лишенных какого бы то ни было смысла... Это вопрос далеко не личный. Такие заявления, если их не пресечь, могут надолго затормозить прогресс нашей науки, создав не существующее в действительности разделение ученых на тех, кто учитывает значение, и тех, кто им пренебрегает или его отвергает. Последних, насколько мне известно, вообще не существует».

По Блумфилду, серьезное изучение человеческого языка не должно и не может игнорировать значение. Но он действительно считает, что некоторые традиционные случаи использования значения как основы для анализа, определения и классификации не приводят к удовлетворительным, надежным и плодотворным результатам и что от них следует отказаться. Он настаивает на том, что «значения нельзя использовать для наших определений»³². Отличительные особенности предложений, частей речи и т. д. нельзя установить путем анализа смыслового содержания. Только тогда, когда нам удастся найти и описать различительные формальные признаки, нам удастся понять грамматические структуры настолько глубоко, что появляется возможность предсказания. Грамматические структуры, несомненно, являются носителями значения; это верно, и эти значения должны быть описаны. Но из значений нельзя исходить при отождествлении и различении структур. Речь, следовательно, идет не об альтернативе между *полным игнорированием* значений вообще и *любым* или *всяким* использованием значений. С самого начала развития современной лингвистической науки (разрешая, например, проблемы, связанные с регулярностью звуковых изменений) необходимо было ограничить использование значения как прием ненаучный. Для Блумфилда и многих из его последователей некоторые признаки и типы значения, определенным образом сформулированные и строго контролируемые, были и продолжают оставаться необходимой частью исследовательского аппарата. Мы должны каким-то об-

³² "Language", 7, 1931, p. 208, note.

разом — непосредственно или через информанта — контролировать значения достаточного числа анализируемых элементов высказывания, чтобы знать, «одинаковы» они или «различны». В основе лежит, по-видимому, допущение, состоящее в том, что все сигналы языковых значений представляют собой формальные явления, которые можно (и в конечном счете нужно) *описывать* в материальных терминах.

Однако некоторые американские лингвисты, испытавшие значительное влияние Блумфилда, попытались пойти еще дальше по пути исключения значения — по крайней мере они предложили в качестве теоретической возможности полное исключение использования значения при анализе языка. Правда, нужно сказать, что ни одного образца дескриптивного исследования, осуществленного на этой основе, не появилось.

«Поскольку наш подход в некоторых отношениях отличается от подхода Блумфилда — главным образом в том, что Блумфилд прибегает к значению как к одному из основных критериев и приходит к своему определению фонемы, не констатируя всех предшествующих допущений, которые к нему ведут, — мы не будем присоединять наши постулаты к его постулатам, но начнем с самого начала».

«С теоретической точки зрения можно было бы построить фонематическую систему того или иного диалекта исключительно на основе фонетики и дистрибуции, без какого бы то ни было обращения к значению, при условии, если в высказываниях данного диалекта реально встречаются не все возможные сочетания фонем. При наличии достаточно обширного материала, скажем двадцати- или тридцатичасовой связной речи информанта, записанной при помощи машины с высокой точностью воспроизведения или абсолютно точной фонетической транскрипцией, лингвист смог бы, вероятно, установить фонематическую систему данного диалекта, не зная значений ни одного отрезка речи, не зная даже, значат ли какие-либо два отрезка одно и то же или нет. (Но ему понадобилась бы, правда, своего рода гарантия в том, что каждый отрезок речи имеет *какое-то* значение.) Окажется ли осуществленное им в конце концов описание речи информанта адекватным описанием диалекта в целом, зависит, разумеется, от того, насколько всеобъемлющим и пока-

зательным был его материал. Однако это до известной степени верно и в том случае, если лингвист следует обычной (и более разумной) методике и определяет значение каждой части анализируемого материала»³³.

«При современном состоянии морфологического анализа часто оказывается удобным использовать значения элементов высказывания в качестве общего ориентира и указателя при отождествлении морфем. Особенно ясно это проявляется в тех случаях, когда языки более или менее хорошо известны исследователю, что наблюдается в большинстве работ по морфологии, появившихся до сих пор. Однако, когда мы сталкиваемся с языком, который нам известен мало (то есть когда мы знаем мало о соотношении языкового поведения говорящих и их поведения, связанного с другими областями культуры), выясняется, что значения здесь как ориентир помогают слабо. В этом случае становится очевидной теоретическая основа анализа: она заключается в установлении повторяемости (recurrences) и дистрибуции сходных моделей и последовательностей. Лингвист должен постоянно иметь в виду эту теоретическую основу и помнить, что его догадки относительно того, какие именно сочетания в языке возможны, являются на самом деле приблизительными выводами, основанными на фактах дистрибуции»³⁴.

«Определяя морфемы того или иного конкретного языка, лингвисты используют в добавление к критерию дистрибуции также (в разных случаях в неодинаковой степени) критерий различия в значении. Однако в строго дескриптивном лингвистическом исследовании значение может быть использовано только эвристически, как источник догадок, а определяющие критерии приходится всегда выражать в терминах дистрибуции... Методы дистрибутивного анализа, охарактеризованные в предыдущей главе, предлагаются нами в качестве альтернативы исследований, исходящих из значений. Дистрибуционный анализ сможет заменить нам критерий значения только в том случае, если мы научимся привлекать все более широкие окружения интересующего нас элемента. Элементы, имеющие различные значения (соотносящиеся с

³³ B. Bloch, A Set of Postulates for Phonemic Analysis, "Language", 24, 1948, p. 5 (note 8), p. 6.

³⁴ George Trager and Henry Lee Smith Jr., An Outline of English Structure, 1951, p. 54

различными социальными ситуациями), выступают, по-видимому, в целом в различных окружениях, что обнаруживается при наличии достаточно обширного материала»³⁵.

Д. ГРАНИЦЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Блумфилд занимался не только внутренними проблемами лингвистики как науки, основными проблемами сущности и функционирования человеческого языка и важнейшими принципами, лежащими в основе научно оправданных методов анализа и описания, он также живо интересовался вопросом о границах лингвистики и ее месте среди других наук. На протяжении значительного времени сравнительное и историческое изучение индоевропейских языков составляло, по мнению многих, единственный научный метод изучения языковых явлений³⁶. Некоторые вообще отрицали ценность дескриптивных лингвистических данных³⁷. В Америке именно Францу Боасу удалось поставить дескриптивное изучение языка на подлинно научную основу. В этом отношении Блумфилд испытал значительное влияние Боаса и называл его «нашим общим учителем в том или ином смысле».

«Вероятно, наиболее крупным вкладом Боаса в науку и по крайней мере вкладом, который мы выше всего ценим, была разработка изучения языка с позиций дескрип-

³⁵ Z. S. Harris, *Methods in Structural Linguistics*, 1951, p. 365, note 6.

³⁶ Как указал Д. Лейн, некоторые описательные грамматики были составлены в XIX в.

«В 1851 г. замечательный петербургский санскритолог Отто Бётлинг смело переступил пределы области индоевропейских языков и попытался исследовать язык якутов Сибири. Эта работа не только представляет собой шедевр описания, но и содержит также во введении один из наиболее пронизательных критических разборов современных Бётлинку общелингвистических теорий». George S. Lane, *Changes of Emphasis in Linguistics with Particular Reference to Paul and Bloomfield*, "Studies in Philology", 18, 1945, p. 465.

³⁷ «До сих пор существуют еще экстремисты, утверждающие, что дескриптивная лингвистика — это вздор ("Classical Philology", 38, 1943, pp. 210—211; 39, 1944, pp. 218—222), и некоторые представители не менее крайних взглядов, которые презирают сравнительный метод в исторической лингвистике как неуместную древность или в лучшем случае гадание на кофейной гуще. Charles F. Hockett, *Implications of Bloomfield's Algonquian Studies*, "Language", 24, 1948, pp. 117—131.

тивной лингвистики. Коренные языки Америки изучались многими очень талантливыми людьми, но ни одному из них не удалось поставить это изучение на научную основу. Кроме того, в распоряжении лингвистов было тогда мало отточенных приемов исследования, за исключением сравнительно-исторического метода, но именно им воспользоваться здесь было нельзя. Боас собрал огромное количество фактов и наблюдений, в том числе немало тщательно записанных текстов, и почти в одиночку, без всякой помощи, создал приемы описания фонетики и структуры языка. Это достижение кратко и скромно суммируется им во введении к книге "Handbook of American Indian Languages"³⁸. Успехи, которые с того времени были достигнуты в фиксировании и описании человеческой речи, произрастали из корней, ствола и мощных ветвей работы Боаса на протяжении всей его жизни. Боас сам заботился об этом росте: он был учителем Уильяма Джоунза, Трумена Майкельсона, Эдуарда Сепира и других ныне здравствующих ученых; с бесконечной добротой помогал он и тем исследователям, которые не были формально его учениками³⁹.

Сепир, ученик Боаса, также в огромной мере способствовал развитию нового направления, которое сделало «дескриптивное» изучение языка подлинно научным. Влияние книги Сепира "Language" (1921) до сих пор неизмеримо велико. В 1922 г. Блумфилд приветствовал появление этой книги как одно из свидетельств коренных сдвигов в лингвистике.

«Мы приходим к убеждению, что ограничиваться историческими исследованиями, неразумно и, в конечном итоге, методически невозможно. Утешительно видеть поэтому, что д-р Сепир обращается к синхронии (употребляя термины де Соссюра), прежде чем перейти к диахронии, и что он уделяет проблемам синхронии столько же внимания, сколько и проблемам диахронии»⁴⁰.

³⁸ Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology в Bull. 40, Washington, 1911.

³⁹ "Language", 19, 1943, p. 198.

⁴⁰ "The Classical Weekly", 15, 1922, p. 142. Сепир вряд ли был знаком с "Cours de linguistique générale" де Соссюра (впервые опубликованном в 1916 г.) до того, как он написал свою собственную книгу "Language", работа над которой была завершена весной 1921 г.

В Европе Фердинанд де Соссюр совершенно иначе, чем Франц Боас в Америке, также содействовал расширению области научной лингвистики за счет включения в нее дескриптивного изучения языка — «синхронической» лингвистики наряду с лингвистикой «диахронической». Заслуга де Соссюра (если судить по содержанию его лекций в том виде, в каком они были впервые опубликованы два года спустя после его смерти, главным образом на основе записей, сделанных его учениками) не в детальном дескриптивном исследовании большого числа живых языков, а скорее в том, что он раскрыл и проанализировал краеугольные принципы лингвистики. В 1924 г. Блумфилд в своей рецензии на второе издание книги де Соссюра восторженно писал о ней:

«Важно, однако, то, что де Соссюр впервые начертал здесь карту мира, на которой историческая индоевропейская грамматика (великое достижение прошлого столетия) составляет лишь одну из областей; он создал теоретическую основу для науки о человеческом языке»⁴¹.

Под влиянием Боаса и в некоторых отношениях Сепира Блумфилд в 1920—1921 гг. серьезно занялся самостоятельным дескриптивным полевым исследованием языка меномини, а позднее в 1925 г. и в 1938 г. — языков кри и оджибве. (К 1917 г. он уже изучил несколько малайско-полинезийских языков и опубликовал "Tagalog Texts with Grammatical Analysis".) Результаты этих дескриптивных исследований были для него неотделимы от исторической лингвистики, к которой он обратился сначала⁴². Он подверг эти дескриптивные данные самой

⁴¹ "Modern Language Journal", 8, 1924, p. 319.

⁴² «Было бы, я полагаю, исторически неточно говорить, что Блумфилд возглавил дескриптивное направление и противопоставил его старой исторической лингвистике. Вклад Блумфилда во все отрасли лингвистики настолько велик, что все мы, лингвисты, являемся, по существу, блумфилдианцами; однако Блумфилд всегда проявлял глубокий интерес к историческому изучению языка, и наиболее известной среди его опубликованных работ, посвященных алгонкинским языкам, является статья в сравнительно-историческом плане ("On the Sound System of Central Algonquian", "Language", 1, 1925, pp. 130—156). Верно, что в работе "A Set of Postulates for the Science of Language" (см. «Language», 11, 1936, pp. 153—164) Блумфилд сформулировал некоторые в высшей степени важные и неоспоримые положения, но даже сюда он включил и материал по исторической лингвистике. Однако в своей книге «Language», а также в лекциях и беседах с коллегами он (это мое впечатление)

серьезной исторической обработке. Хоккетт, например, утверждал, что «если бы единственным доказательством любого из шестнадцати [принципов и приемов сравнительно-исторического языкознания, которые он сформулировал.— Ч. Ф.] служили факты алгонкинских языков, приведенные Блумфилдом, то есть если бы не существовало сравнительной германистики, сравнительной романистики, сравнительной индоевропеистики, сравнительной семитологии и т. п., то и этого единственного подтверждения принципа было бы вполне достаточно»⁴³.

Однако в связи с проблемами дескриптивного изучения языков в работах Блумфилда стал довольно четко намечаться еще более важный сдвиг. Об этом свидетельствуют его замечания по поводу материалов, включенных в "Sougs" де Соссюра.

«В любой данный момент («синхронически») язык того или иного коллектива следует рассматривать как систему сигналов... Эта строгая система — объект изучения «дескриптивной лингвистики», как мы бы сказали,— представляет собой язык (*la langue*). Но человеческая речь (*le langage*) включает нечто большее, потому что индивидуумам, составляющим общество, не всегда удается придерживаться системы с абсолютным единообразием. В реальной речи — высказывании (*la parole*) — варьируются не только явления, не закрепленные системой (как, например, точный фонетический характер каждого звука), но также и сама система как таковая: нет по существу ни одного явления в системе, которое не нарушалось бы время от времени говорящими. Это подводит нас к «исторической лингвистике» (*linguistique diachro-*

несколько уклонялся от точных и ясных формулировок и от последовательного изложения своей доктрины. В действительности систематизацию и гораздо более четкое изложение дескриптивной теории и методов мы находим у других лингвистов, начиная с Сепира ("Sound Patterns in Language" в "Language", 1, 1925, pp. 37—51) и кончая трудами группы ученых, среди которых выделяются Юджин Найда и Кеннет Пайк, а также в основных исследованиях лингвистов, принимавших участие в недавней лингвистической работе по военной программе (Army's recent language program)». George L. Trager, Changes of Emphasis in Linguistics: A comment в "Studies in Philology," 18, 1946, pp. 461—462.

См., однако, также C. F. Voegelin, Review of Eastern Ojibwa, by Bloomfield, "Language," 35, 1959, pp. 109—125.

⁴³ Charles F. Hockett, Implications of Bloomfield's Algonquian Studies, "Language", 24, 1948, p. 131.

pique); в тех случаях, когда индивидуальные или временные явления речи (la parole) становятся всеобщими и привычными в обществе, они вызывают изменения в системе языка (la langue) — звуковые изменения или изменения по аналогии, подобные тем, которые фиксируются в наших исторических грамматиках»⁴⁴.

Блумфилд высказывает те же взгляды в несколько иной форме в других рецензиях и развивает их более подробно в книге "Language" (1933).

«Для Есперсена язык — это способ выражения; формы языка выражают мысли и чувства говорящих и передают их слушающим; и этот процесс протекает как непосредственная часть человеческой жизни и подчиняется, в огромной степени, требованиям и превратностям жизни человека. Для меня, как и для де Соссюра («Cours de linguistique générale», Paris, 1922), а также в известном смысле и для Сепира ("Language", New York, 1921), все это (la parole у де Соссюра) лежит за пределами возможностей нашей науки... Наша наука может изучать только те черты языка (la langue у де Соссюра), которые являются общими для всех говорящих того или иного коллектива, — фонемы, грамматические категории, словарь и т. п. Это абстракции, поскольку они представляют собой лишь (повторяющиеся) частичные признаки речевых высказываний. Ребенок усваивает эти явления настолько прочно, что в дальнейшем ни изменения в его характере и взглядах, ни превратности человеческой судьбы не могут оказать на них уже больше никакого воздействия. Они образуют строгую систему — настолько строгую, что мы можем подвергнуть ее научному рассмотрению даже при том условии, что у нас нет адекватных физиологических познаний, а психология пребывает в состоянии хаоса. Любая грамматическая и лексическая формулировка в своей сущности абстракция».

«Можно утверждать, что причиной изменений в языке являются в конечном счете отклонения от строгой системы, которые наблюдаются у отдельных говорящих. Но представляется, что даже в данном случае индивидуальные отклонения не дают эффекта; для того чтобы произошло языковое изменение, должны (по какой-то неизвестной нам причине) совпасть отклонения у целых групп говоря-

⁴⁴ «Modern Language Journal», 8, 1924, pp. 318—319.

щих. Изменения в языке не являются результатом индивидуальных отклонений, но представляют собой, по-видимому, массивную, непрерывную и постепенную перестройку, в любой момент которой система языка остается столь же строгой, как и в любой другой момент. Мы не можем поэтому изучать живые реальности, действительные высказывания. Ведь подавляющее большинство явлений, из которых они составлены, не поддается лингвистическому изучению. Эти явления, рассуждая оптимистически, будут когда-нибудь, вероятно, описаны другими социальными науками и физиологией или психологией, и, возможно, даже так, как мы сейчас абстрагируем и описываем явления системы языка».

«При изучении языковых форм я не стал бы поэтому, что иногда делает Есперсен, обращаться ни к значению, которое нельзя отделить от формы, ни к реальным потребностям людей, ни к удобству общения. С одной стороны, мы преувеличиваем свои возможности, полагая, что (как лингвисты) можем их правильно оценить, с другой же стороны, эти факторы не затрагивают тех довольно скудных абстракций, которые мы можем изучать и действительно изучаем. Устанавливая грамматические категории, такие, как система частей речи, я бы обращался только к реально существующим формам изучаемого языка. К формам языка мы должны, разумеется, отнести синтаксические явления и явления субституции»⁴⁵.

Такова основа «структуральной лингвистики» Блумфилда. Мы не можем заранее предсказать, заговорит ли тот или иной человек в какой-то момент, что именно он скажет, в каких словах или других языковых формах он это выразит. Все это акты *речи* (la parole). Однако и совокупность речевых актов коллектива не составляет *языка* данного коллектива. *Язык* (la langue) — это строгая система моделей противопоставлений, благодаря которой индивидуальные речевые акты говорящего становятся эффективными заместителями стимулов (сигналами) для слушающего. При наличии этой строгой системы моделей мы *можем предсказать* регулярные реакции членов того или иного языкового коллектива в том случае, когда они эффективно стимулируются одной из моделей данной системы.

⁴⁵ "Journal of English and Germanic Philology", 26, 1927, pp. 444—445.

Дескриптивный структуральный анализ как раз и имеет своей целью такое дескриптивное формулирование моделей системы языка, которое позволит нам «вычислить» регулярные реакции на моделированные сигналы.

Интерес современных языковедов к «дескриптивной» лингвистике значительно расширил границы науки о языке. «Историческая» лингвистика не была вытеснена «описанием». Глубокое понимание «структуры», которое родилось первоначально главным образом из попыток описать многочисленные и совершенно не похожие друг на друга живые языки, в равной степени важно как для синхронических, так и для диахронических исследований. Область лингвистической науки в наши дни весьма обогатилась, но объединяющим моментом является «структуральный» подход, получающий все большее распространение.

Вряд ли можно определить, что именно в деятельности и интересах современных американских лингвистов и в какой мере восходит к учению и основным принципам Блумфилда. Блумфилд очень многое сделал в самых различных областях лингвистического исследования. Но, вероятно, большинство тех исследователей, которые чаще всего обращались к его работам, согласится, что его главной заботой было создание общелингвистической теории. Блумфилд последовательно шел от одной важнейшей проблемы к другой — от признания «строгой регулярности» в механическом процессе звуковых изменений, через непреклонное требование строгого «научного» доказательства и формулирования в материальных терминах к полному переносу центра тяжести в лингвистике с отдельных единиц на модели в рамках всеобъемлющего, единого «структурализма».

Когда-то он сказал: «Глубоко укоренившиеся языковые навыки, наиболее важные для всех нас, обычно игнорируются во всех исследованиях, кроме самых передовых и новых; данная книга ставит своей целью рассказать о них простыми словами и показать их влияние на поступки людей»⁴⁶.

Влияние Блумфилда так или иначе ощущалось и ощущается до сих пор во всех областях научно-исследовательской лингвистической работы в Америке. Оно

⁴⁶ Language, 1933, Предисловие, VII.

всеобъемлюще. Точно таким же было и влияние Сепира. Такие лингвисты, как Кеннет Пайк, Зеллиг Хэррис, Карл Фёгелин и Чарльз Хоккетт, бесспорно, хотя и в неодинаковой мере, обязаны чем-то и Блумфилду, и Сепиру. Наука, как настойчиво повторял Блумфилд, характеризуется *преимущественностью*, и названные выше, а также и другие активно работающие американские лингвисты добились своих самостоятельных успехов, усвоив все то, что было достигнуто Блумфилдом, особенно в лингвистической теории.

Напротив, следует, как нам кажется, отметить, что пристальное внимание к методике и приемам анализа, широко распространенное сейчас среди большого числа профессиональных лингвистов, не идет непосредственно от Блумфилда. Его собственные методы, особенно приемы работы с информантами, были в высшей степени индивидуальными⁴⁷. Блумфилд обычно изучал язык информанта и использовал его (или по крайней мере фразы и предложения на этом языке), чтобы побудить информанта говорить. Книга Блумфилда «Outline Guide for the Practical Study of Foreign Language» по существу содержит многочисленные рекомендации относительно использования информанта. Блумфилд очень редко занимался конкретными приемами и методами анализа. Некоторые из лингвистов, пытавшиеся применить рекомендации Блумфилда на практике или приспособить их к практическим нуждам исследовательской работы, в конце концов написали свои собственные руководства и после этого перешли к созданию своей собственной последовательной общелингвистической теории. Превосходный пример тому — книга Кеннета Л. Пайка «Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior» (1954, 1955, 1960). Зеллиг С. Хэррис в книге «Methods in Structural Linguistics» (1951) подробно разбирает «систему структурных методов, применяемых дескриптивной лингвистикой» и основанных на «логике дистрибуционных отношений». В его статье «Co-occurrence and Transformation in Linguistic Structure» («Language», 33, 1957, pp. 283—340) и в более ранних, связанных с ней статьях рассматриваются новые аспекты лингвистической теории и методов.

⁴⁷ См., например, Voegelin, Review of Eastern Ojibwa, «Language», 35, 1959, pp. 114—115.

Для общелингвистической теории Блумфилда характерен был также живой интерес к тем социальным выводам, которые можно сделать на основе всестороннего научного изучения функционирования языка.

«Несомненно, действиям людей присуща какая-то особенность, которой не существует в действиях растений и животных, точно так же как действиям этих последних присуща особенность, не свойственная неорганическим веществам. Раньше думали, что растения и животные имеют некий «жизненный принцип», «источник жизни», которого недостает неодушевленным предметам. Это был анимизм; теперь мы знаем, что специфическая особенность живых организмов — это в высшей степени специализированное нестойкое химическое соединение — протоплазма. И мне хотелось бы выразить уверенность, что своеобразная особенность человека, которая не позволяет нам объяснять его поступки в плане обычной биологии, представляет собой в высшей степени специализированный и нестойкий биологический комплекс и что эта особенность — не что иное, как язык...»

«Благодаря общим навыкам речи отдельные индивидуумы в речевом коллективе воздействуют друг на друга и трудятся сообща с такой точностью и слаженностью, которая делает речевой коллектив похожим на единый биологический организм... (Стада животных, не знающих языка, либо объединены очень непрочными узами, либо же, как, например, муравьи и пчелы, ограничены немногими неизменными схемами действия.) Вполне вероятно, далее, что именно социальная значимость, и огромное воздействие произносимых речевых форм дает человеку возможность, даже при отсутствии значительных внешних событий, жить в высшей степени интенсивной жизнью и запечатлевать навечно отдельные моменты в произведениях искусства».

«В этих ли вопросах или в других, но я уверен, что изучение языка будет тем плацдармом, на котором укрепится наука, стремясь достичь понимания человеческих поступков и управления ими»⁴⁸.

⁴⁸ «Studies in Philology», 27, 1930, p. 555. См. также «Philosophical Aspects of Language» в «Studies in the History of Culture: The Disciplines of the Humanities» [Presented to Waldo Gifford Leland], 1942, pp. 173—177.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА

1. Антропологическую лингвистику можно кратко охарактеризовать как область лингвистического исследования, посвященную в основном синхронному или диахронному изучению языков, на которых говорят народы, не имеющие письменности. Теория и методы современных лингвистов-антропологов не отличаются сколько-нибудь значительно от теории и методов других лингвистов. Важнейшее различие состоит скорее всего в методике: лингвисту-антропологу, поскольку в его распоряжении нет литературных произведений или ранних памятников, приходится собирать материал (набор высказываний) самому, непосредственно от говорящих на этом языке. Более того, поскольку экзотические языки, например языки американских индейцев, европейцу, говорящему на языке иного типа, изучить весьма трудно, изучение туземного языка зачастую оказывается поверхностным, не выходящим за пределы элементарного практического овладения языком.

В Соединенных Штатах лингвисты-антропологи занимаются главным образом исследованием многочисленных и разнообразных языков американских индейцев. До 1890 г. работа в этой области велась преимущественно миссионерами, которые стремились перевести на туземные языки религиозные книги с целью более широкого распространения христианской религии. В 1891 г. появилась первая полная классификация языков индейских племен, расположенных к северу от Мексики, — труд, подготовленный Д. У. Пауэллом с помощью ряда

Harry Hoijer, *Anthropological Linguistics*, см. «Trends in European and American Linguistics 1930—1960» Utrecht/Antwerp, 1961.

сотрудников¹. Начало современной антропологической лингвистике было положено Францем Боасом, который принял участие в создании монументальной книги «Handbook of American Indian Languages»², включающей девятнадцать подробных монографий по девятнадцати индейским языкам Северной Америки; он был также и редактором этой книги.

Введение к этому «Справочнику», хотя и написанное Боасом в 1911 г., до сих пор остается великолепным изложением принципов дескриптивной лингвистики, особенно полезным для исследователей бесписьменных языков. В своем «Введении» Боас устанавливает основной принцип лингвистического анализа: каждый язык должен быть описан не с точки зрения какой-либо предвзятой нормы (скажем, греко-латинской грамматики), но исключительно исходя из его собственных моделей звуков, форм и значений, взятых в том виде, в каком эти модели выводятся индуктивно из соответствующих текстов.

Традиция Боаса в антропологической лингвистике была достойно продолжена Эдвардом Сепиром, который изучал антропологию и лингвистику под руководством Франца Боаса. Труды Сепира (книги «Language»³, «Selected Writings»⁴ и многочисленные статьи и монографии, посвященные специальным вопросам) хотя и устарели во многом с точки зрения современной структурной лингвистики, однако и поныне являются превосходным введением в антропологическую лингвистику. Как сказал Мандельбаум,

«Формальные описания и исследования языка — это, по мнению Сепира, лишь самая первая задача лингвиста, поскольку он рассматривал лингвистику как социальную науку, а каждый язык — как один из аспектов всей культуры в целом. В своих трудах, да и в своей преподавательской деятельности, он постоянно подчеркивал необходи-

¹ J. W. Powell, Indian Languages of America North of Mexico (Seventh Annual Report of the Bureau of American Ethnology), Washington, 1891.

² Franz Boas, Handbook of American Indian Languages, «Bulletin», 40, Bureau of American Ethnology, часть 1, 2, Washington, 1911. Часть 3-я «Handbook» была опубликована Аугустином в Нью-Йорке в 1938 г.

³ Edward Sapir, Language, New York: Harcourt Brace, 1921.

⁴ Selected Writings of Edward Sapir. Ed. by D. L. Mandelbaum. Berkeley and Los Angeles: University of California Press., 1949.

мость анализа явлений языка в связи с явлениями культуры, необходимость изучения речи в ее социальном окружении»⁵.

Подобные взгляды на изучение языка характерны и для современных лингвистов-антропологов, многие из которых были учениками Сепира или испытали влияние его учения.

2. Американские лингвисты-антропологи, так же как Боас и Сепир, занимаются в основном исследованием туземных языков Северной и Южной Америки. На этой обширной территории, где существует не менее, а то и более тысячи в высшей степени различных языков, лучше всего изученной является область Америки к северу от Мексики. Для большого числа распространенных здесь языков, представляющих почти все более крупные языковые семьи, были созданы подробные описания в современном духе. В последние годы появилось значительное число исследований, посвященных туземным языкам Мексики и Центральной Америки. В большинстве случаев это результат работы Нормана А. МакКуоуна и миссионеров, получивших подготовку в Летнем институте лингвистики (Summer Institute of Linguistics) под руководством Кеннета Л. Пайка. Языки Южной Америки до сих пор, как правило, мало изучены, хотя и здесь сотрудники Летнего института уже начали свою работу (главным образом в Перу и Бразилии). Несмотря на достигнутые успехи, многое еще предстоит сделать во всех трех районах. Занимаясь сейчас изучением атабаскских языков Северной Америки, я обнаружил, например, что необходимые сведения о структуре имеются у нас лишь о шести из тридцати или более живых атабаскских языков.

Глубокое изучение языков американских индейцев крайне необходимо как для общего языкознания, так и для антропологической лингвистики. Хорошо известно, что подобные исследования внесли в прошлом существенный вклад в науку о языке: характер и направленность лингвистической теории и методов Боаса, Сепира и Блумфилда во многом обусловлены работой указанных ученых именно в этой области. Наука о языке, если она хочет определить те общие законы, которым подчиняются все

⁵ Selected Writings of Edward Sapir, pp. V, VI. Превосходный детальный анализ работ Сепира дал З. С. Хэррис в своей рецензии на Selected Writings, в «Language», 27, 1951, pp. 288—333.

языковые структуры, не может опираться на слишком ограниченную эмпирическую базу. Эти законы нуждаются в длительной проверке, и языки бесписьменных народов благодаря своей многочисленности и разнообразию являются своеобразной лабораторией, в которой может быть осуществлена такая проверка.

3. Совершенно очевидно, что историческому и сравнительному изучению языков американских индейцев и языков других бесписьменных народов препятствует отсутствие ранних письменных памятников. Это препятствие долгое время тормозило сравнительно-историческое изучение бесписьменных языков, потому что многие лингвисты XIX в., а некоторые и в XX в. отказывались работать с языками, история которых незасвидетельствована, и полагали, что историческое исследование языка при полном отсутствии письменных памятников невозможно. Блумфилд, исследуя алгонкинские языки, и Сепир, исследуя ряд языковых семей американских индейцев, скоро опровергли это мнение. Так, Сепир в 1931 г. писал:

«Есть ли какие-нибудь основания считать, что процесс регулярного фонетического изменения менее характерен для языков неразвитых народов, чем для языков более цивилизованных наций? На этот вопрос следует ответить отрицательно. Быстро умножающиеся факты свидетельствуют о том, что регулярные фонетические изменения столь же широко представлены в языках американских индейцев или негритянских племен, как в латинском, греческом или английском. И если эти законы в языках неразвитых народов обнаружить трудно, то это объясняется не какими-то особыми чертами, присущими этим языкам, но просто несовершенством методов тех исследователей, которые пытались их изучать»⁶.

И если сравнительно-исторических исследований бесписьменных языков пока по сравнению с исследованиями синхронического характера мало, то причина здесь в том, что лишь для немногих из них существуют адекватные дескриптивные исследования и полные словари, без которых такие исследования невозможны. В области индоевропейских языков, как указывал Блумфилд⁷, исторические исследования, напротив, преобладали над дескрип-

⁶ Selected Writings of Edward Sapir p. 74.

⁷ Language, New York, Henry Holt, 1933, chap. I, § 6.

тивными, и это объяснялось тем, что в большинстве случаев ученые достаточно хорошо практически владели сравниваемыми языками, что позволяло им проводить необходимое сравнение. «Исследователи американских языков, — продолжает Блумфилд, — не могли не сознавать, сколь велика нужда в дескриптивных данных»⁸, потому что у индейцев ведь нет своих лингвистов, а что касается лингвистов-неиндейцев, то лишь немногие из них, если вообще такие были, обладали более или менее серьезными практическими познаниями в области описываемых и сравниваемых языков.

Лингвисты-антропологи уделяли немало времени классификации языков бесписьменных народов по группам родственных языков, или семьям. Большинство этих классификаций сходно с осуществленной Д. У. Пауэллом классификацией индейских языков, распространенных к северу от Мексики; языки в них группируются на основе легко прослеживаемых сходных черт, и, следовательно, история языков почти не учитывается. Используя такие методы наблюдения, Пауэлл зафиксировал к северу от Мексики 55 индейских языков. Томас и Свэнтоп установили 25 языков в Мексике и Центральной Америке, а Ривэ и другие исследователи разделили языки Южной Америки на 77 семей⁹.

С 1891 г., когда классификация Пауэлла впервые увидела свет, она неоднократно подвергалась пересмотру, и каждый раз число семей все сокращалось и сокращалось. Коренные изменения внес в классификацию, в частности, Сепир: он предложил распределить все семьи языков, выделенные Пауэллом, а также ряд семей Мексики и Центральной Америки всего лишь по шести суперсемьям: I. Эскимосско-алеутская; II. Алгонкинско-вакшская (алгонкинско-ритвские языки, кутенаи, москские); III. На-дене (языки хайда, тлингит, атабаскские); IV. Пенути (языки калифорния, орегонский и пенути мексиканский); V. Хокско-сиуская (хокско-коахуилтекские языки, юки, керес, туник, ирокезско-каддоские, снуско-юки, мускогские); VI. Астеко-таноская¹⁰

⁸ Цит. работа, стр. 19.

⁹ Обзор этих классификаций дан в (Harry Hoijer and others, *Linguistic Structures of Native America* (Viking Fund Publications in Anthropology, № 6, 1946), pp. 9—29.

¹⁰ Edward Sapir, *Central and North American Indian Languages*. *Encyclopedia Britannica*, 14th ed., 1929. (Перепечатана в *Selected Writings of Edward Sapir*, pp. 169—178.)

Сепир назвал эту классификацию «многообещающей, но далеко не очевидной в подробностях»¹¹. Судя по тем характеристикам, которые он дает указанным шести группам, его классификация строится в целом на основе структурных признаков (но скорее специфических структурных параллелей, чем на базе общих структурных явлений, например, таких, как префиксация и т. д.), хотя частично учитываются и генетические связи, которые в других работах Сепир подкрепил списками возможных родственных слов¹². Ясно, что цель Сепира состояла не в том, чтобы дать окончательную и безусловную классификацию, а в том, чтобы сформулировать гипотезу, которой можно было бы руководствоваться в будущих научных изысканиях.

Классификация Сепира выдержала испытание временем. Трейгер и Уорф в 1937 г. представили дополнительные доказательства в поддержку выделенной Сепиром астеко-таноской группы¹³, и мои собственные исследования в области языков на-дене (еще не опубликованные) также свидетельствуют в пользу такой группировки языков. В 1958 г. Мэри Хаас опубликовала данные, позволяющие «с полной определенностью утверждать, что алгонкинские и ритвские языки генетически родственны»¹⁴. В своей более поздней работе М. Хаас внесла существенные поправки в классификацию Сепира, связав алгонкинско-ритвские языки (II группа у Сепира) с туникскими и натчез-мускогскими (V группа у Сепира)¹⁵. Родство указанных языков подкрепляется внушительным числом родственных элементов в протоцентрально-алгонкинском (как его реконструировали Блумфилд и Хоккетт) и языках

¹¹ Selected Writings of Edward Sapir, p. 172.

¹² См., например, его «Southern Paiute and Nahuatl, A Study in Uto-Aztecan», в «Journal de la Société des Américanistes de Paris», 10, 1913, pp. 379—425; 11, 1914, pp. 443—488; «American Anthropologist», 17, 1915, pp. 98—120, 306—328; «The Nadene Languages: A Preliminary Report», «American Anthropologist», 17, 1915, pp. 534—558.

¹³ B. L. Whorf and G. L. Trager, The Relation of Uto-Aztecan and Tanoan, «American Anthropologist», 39, 1937, pp. 609—624.

¹⁴ Mary Haas, Algonkin-Ritwan: The End of a Controversy, «International Journal of American Linguistics», 24, 1958, pp. 159—173.

¹⁵ Mary Haas, A New Linguistic Relationship in North America: Algonkian and the Gulf Languages, «Southwestern Journal of Anthropology», 14, 1958, pp. 231—264.

туник и натчез-мускогских. Хаас заключает, что «результаты исследования, хотя и предварительные... достаточно убедительно демонстрируют генетическое родство алгонкинско-ритвских языков с индейскими языками Гудзонова залива»¹⁶. За недостатком фактов она не распространяет это родство на другие языки, отнесенные Сепиром к группам II и V.

Индийские языки Латинской Америки (включая Мексику, Центральную Америку, Вест-Индию и Южную Америку) чрезвычайно многочисленны: по приблизительным подсчетам МакКуона, здесь зарегистрировано 2 тысячи языков и диалектов, «разделенных в настоящее время на 17 крупных и 38 мелких семей, причем несколько сот отдельных языков остается вне классификации»¹⁷. Огромное большинство этих языков известно только по кратким словарям, несмотря на то, что в последние годы благодаря усилиям ученых и миссионеров наука получила много новых фактов.

МакКуон в только что упомянутой статье (см. сноску 17) делает попытку обобщить все ранние классификации индейских языков. Однако ни одна из этих классификаций не строится на основе сравнительно-исторического метода. Некоторые из них опираются на данные анализа и сравнения небольших списков слов, а многие другие исходят главным образом из таких лингвистических критериев, как современные политические союзы племен, черты сходства в культуре, географическая близость. МакКуон делает поэтому вывод, что «классификация исконных языков Латинской Америки... в том виде, в каком она очерчена здесь... может быть использована лишь с величайшей осторожностью и оговорками. Эти языки разошлись настолько далеко, что их первоначальное родство не является сейчас очевидным, поэтому отсутствие метода сравнения и реконструкции звуков делает все попытки их классификации сомнительными»¹⁸.

И, наконец, следует упомянуть еще одну попытку классификации бесписьменных языков — осуществленную

¹⁶ Mary Haas, там же [см. сноску 15], стр. 235.

¹⁷ Norman A. McQuown, *The Indigenous Languages of Latin America*, «*American Anthropologist*», 57, 1955, pp. 501—570 (р. 501).

¹⁸ Там же, стр. 562.

Гринбергом классификацию языков Африки, большинство которых — это языки народов, не знающих письменности¹⁹. Классификация Гринберга существенно отличается от более ранней классификации Мейнхофа, которая, по мнению Гринберга, «является преимущественно типологической с оттенком эволюционизма» и, следовательно, «не ведет к генетической классификации»²⁰.

Метод Гринберга учитывает в основном лексическое сходство в корневых или словоизменительных морфемах. Гринберг говорит: «Выдвигая гипотезы о родстве языков, я исходил прежде всего из сравнения слов. Затем я анализировал в свете этих гипотез весь имеющийся грамматический материал. Нередко я бывал вынужден отказаться от первоначального тезиса, который казался вполне вероятным, пока во внимание принимались лишь совпадения в лексике»²¹. Гринберг указывает на сходство своей методики с методикой, примененной Пауэллом при классификации языков американских индейцев.

4. Одним из наиболее интересных достижений антропологической лингвистики последнего десятилетия является глоттохронология или лексикостатистика. Данные термины часто используются как взаимозаменяемые, но Хаймз, учитывая пожелание Сводеша (а Сводеш является одним из создателей нового метода), определяет лексикостатистику как более широкую область исследования, которая включает любое статистическое изучение словарного состава, позволяющее сделать те или иные выводы относительно истории языков. Глоттохронология определяется как часть лексикостатистики, ограниченная более узким кругом проблем: она «изучает степень изменений в языке и использует полученные результаты для исторических выводов, в частности для определения хронологии языков, а также для восстановления модели внутренних отношений в пределах той или иной языковой семьи»²².

Метод глоттохронологии опирается на открытие, сделанное Сводешом и заключающееся в том, что основная

¹⁹ Joseph H. Greenberg, *Studies in African Linguistic Classification*, New Haven: Compass Publishing Co., 1955.

²⁰ Там же, стр. 3.

²¹ Там же, стр. 2.

²² D. H.ymes, *Lexicostatistics So Far*, «Current Anthropology», I, 1960, pp. 3—44 (p. 4).

часть словарного состава (основное лексическое ядро), представленная в виде небольшого опытного списка, во всех языках изменяется (или обновляется), по-видимому, с постоянной скоростью. Под «основным лексическим ядром» понимаются единицы словаря, 1) значения которых универсальны (или почти универсальны) в том смысле, что эти значения выражаются во всех или почти во всех языках простыми языковыми формами (то есть словами или морфемами), 2) которые встречаются (и, видимо, имеют наибольшую частотность) именно в повседневной речи людей (а не в научном или как-либо иначе специализированном языке) и 3) которые во всех языках наиболее устойчивы к историческим изменениям или заимствованию.

Из слов основного лексического ядра составляется опытный список на 200 единиц. Безусловно, основное лексическое ядро каждого отдельного языка может теоретически быть гораздо обширнее. Однако найти больше двухсот единиц, которые бы во всех языках отвечали сформулированным выше требованиям, оказалось трудно. Более того, при первых же попытках применения этого нового метода даже составление списка из 200 единиц вызвало столько затруднений, что Сводешу пришлось разделить этот список на два списка по 100 единиц каждый²³. Первым списком можно пользоваться во всех случаях, тогда как второй, или дополнительный, список позволяет, если это необходимо, найти замену любой единице первого списка, которая отсутствует в том или ином конкретном языке.

Константа скорости изменения основного лексического ядра, выраженная в виде коэффициента сохраняемости (r) (ср. англ. retention «сохранение») на 1000 лет, была установлена при изучении тринадцати языков (главным образом индоевропейских), история которых засвидетельствована памятниками на протяжении длительного времени. Опытный список составлялся для двух периодов в истории каждого языка, удаленных друг от друга хронологически настолько, насколько это позволяли данные. Полученные таким образом два списка затем сопоставлялись. Если с одним и тем же значением в списках выступали родственные формы (скажем, др.-англ. eall и

²³ Morris Swadesh, Toward Greater Accuracy in Lexicostatistic Dating, «International Journal of American Linguistics», 21, 1955, pp. 121—137 (см. стр. 149).

совр. англ. all «весь»), то это рассматривалось как случай сохранения формы; если же со сходным значением выступали неродственные формы (например, др.-англ. *deog* и совр. англ. *animal* «животное»), то это рассматривалось как случай утраты или замены. В среднем коэффициент сохраняемости за 1000 лет для тринадцати изученных языков при использовании опытного списка в 200 слов приближался к 81%, а при использовании списка в 100 слов — к 86%.

После того как мы установили коэффициент сохраняемости, мы можем определить и время расхождения любой пары родственных языков независимо от того, имеют ли они засвидетельствованную памятниками историю или нет. Это достигается при помощи: 1) перевода опытного списка на оба языка и 2) сравнения полученных списков с целью определения процента родственных форм. Для таких вычислений используется формула $t = \log C / 2 \log r$, где t — время дивергенции, C — процент родственных форм, а $r = 81\%$ (если используется список из 200 единиц). Если же используется список из 100 единиц, то $r = 86\%$.

Подобный метод анализа был применен к ряду коренных языков Америки, а также к языкам бесписьменных народов Океании и Африки. Эти исследования дали результаты, представляющие огромный интерес для лингвистов и историков культуры, но вместе с тем они подняли большое число вопросов (так и не получивших пока ответа), касающихся опытного списка, достоверности коэффициента сохраняемости и точного значения получаемых датировок. Обсуждение этих проблем, а также всесторонняя и здравая оценка лексикостатистики содержится в статье Д. Х. Хаймза, упомянутой в прим. 22.

Определив с помощью метода глоттохронологии время расхождения для языков единой семьи, мы можем тем самым восстановить и модель группировки языков внутри данной семьи. Появившиеся до сих пор исследования показывают, что установленные таким образом группировки языков не всегда совпадают с теми, которые устанавливаются при помощи только сравнительно-исторического метода. С. Гудшинская приводит один такой случай в своей работе о мазатекских языках (семья индейских языков Мексики) и заключает, что

«...лексикостатистические данные позволяют сделать весьма полезные выводы относительно исторической по-

следовательности, в которой развивались диалектные различия, но что обратное заимствование из других диалектов, вызванное изменениями в границах коммуникации или сдвигами в культурных или экономических отношениях, может исказить картину настолько, что она больше не будет отражать подлинного исторического развития»²⁴.

Мои собственные исследования в области атабаскских языков Аляски и северо-западной Канады (они должны скоро увидеть свет) также свидетельствуют о различии между группировками языков, полученными на основе применения сравнительно-исторического метода, и теми группировками, которые устанавливаются, исходя из времени дивергенции сравниваемых языков. Причина несовпадения в нашем случае не столь ясна, как в исследовании Гудшинской, но вполне вероятно, что и здесь имела место та же самая причина.

Из многих других исследований в данной области можно упомянуть уже почти завершённую работу Дайен о малайско-полинезийских языках. В своем труде Дайен предполагает при помощи метода глоттохронологии классифицировать 550 малайско-полинезийских языков²⁵. Результаты исследования должны явиться необходимой проверкой применимости метода глоттохронологии для целей классификации языков.

Лексикостатистика нашла и другие применения, помимо рассмотренного выше метода глоттохронологии. Так, например, в настоящее время широко дискутируется возможность использования списков слов основного лексического ядра для изучения или доказательства генетических связей между языками и, в частности, таких родственных связей, которые ввиду большого расхождения языков или языковых семей нелегко или вообще невозможно продемонстрировать при помощи сравнительно-исторического метода.

При подобного рода исследованиях лингвист составляет опытные списки слов для каждого из языков, генетическое родство которых он собирается проверить. Если эти списки обнаруживают черты сходства между языками,

²⁴ Sarah G u d s c h i n s k y, Lexicostatistical Skewing from Dialect Borrowing, «International Journal of American Linguistics», 21, 1955, pp. 138—149 (p. 149).

²⁵ Из личной беседы с Айседорой Дайен.

более значительные, чем можно было бы ожидать при случайном совпадении, то о языках говорят, что они родственны. Необходимо устранить по возможности те случаи сходства, которые могут явиться результатом заимствования, звукоподражания или первичного звукового символизма, но вовсе не обязательно, чтобы сходные черты между формами были многочисленными или регулярными и позволяли установить какие бы то ни было фонетические соответствия. Опубликованные до сих пор работы (в основном работы Сводеша по языкам американских индейцев) приводят к мысли о наличии большого числа далеко идущих родственных связей между языками, связей, гораздо более радикальных, чем те, которые были намечены Сепиром для языков Северной Америки.

Достоверность родства между языками, установленного исключительно методами лексикостатистики, вызывает, конечно, немало сомнений. Достаточно вспомнить, что лексическое сходство всего лишь пяти процентов от 100 единиц основного лексического ядра превышает, согласно Сводешу, сходство, которое может возникнуть при случайном совпадении. Заслуживает внимания в этой связи и высказывание С. Гудшинской в рецензии на статью Д. Хаймза «Lexicostatistics So Far»:

«...Особенно я отвергаю то мнение, что будто бы если мы обнаружим между языками большее сходство, чем можно ожидать на основе случайности, то это само по себе является «доказательством» их генетического родства; и у меня возникают серьезные сомнения относительно более общего положения о том, что все доказательства родства носят по преимуществу статистический характер. Конечно, было бы много разногласий, если бы мы задались целью определить, в каком количестве и какого рода факты составляют неопровержимое доказательство родства языков. Но лично я считаю более веским доказательством родства наличие сравнительно небольшого числа регулярных сходжений (на основе которых можно реконструировать фонематическую систему и часть грамматической структуры), чем наличие пусть гораздо более многочисленных, но нерегулярных совпадений»²⁶.

Такая точка зрения прямо совпадает со взглядами Сепира, который придавал большое значение регулярным

²⁶ Н у m e s, Lexicostatistics So Far, p. 39.

систематическим схождениям в фонематической и грамматической структурах. Следует, однако, помнить, что лексикостатистические методы еще продолжают совершенствоваться. По словам Сводеша, лексикостатистика еще не «достигла и даже еще не приблизилась к максимальному раскрытию своих потенциальных возможностей», и он выражает надежду на то, что «дальнейшие исследования позволят точно установить возможности и границы применения лексикостатистических методов»²⁷.

5. Одной из проблем, интересовавших Сепира, проблемой, которую он сделал центральной в своей книге «Language», была проблема типологии языков, то есть проблема классификации языков в соответствии с общими структурными критериями, а не теми критериями, которые лежат в основе генеалогической классификации. Сепир, как и многие другие, считал более ранние классификации такого рода полностью несостоятельными, а часто к тому же либо этноцентрическими, либо связанными с эволюционистскими гипотезами, не выдерживающими никакой критики.

Классификация Сепира исходит из «сущности понятий, выражаемых языком»²⁸. Он различает четыре типа понятий, два из которых (корневые и реляционные) обязательно находят выражение во всех языках. Корневые, или конкретные, понятия (например, предметы, действия, качества), «как правило, выражаются самостоятельными словами [=одноморфемными словами] или корневыми элементами [=основами многоморфемных слов]»²⁹. В отличие от них реляционные понятия «служат для установления связи между отдельными конкретными элементами предложения и придают ему таким образом определенную синтаксическую форму»³⁰. Они выражаются аффиксами, внутренней флексией, полусамостоятельными частицами или порядком слов. Остальные два типа понятий — деривационные и конкретно-реляционные — могут встречаться в том или ином языке, а могут и отсутствовать. Деривационные понятия, обычно выражаемые аффиксами или внутренней флексией, отличаются от конкретных

²⁷ M. S w a d e s c h, *Toward Greater Accuracy in Lexicostatistics Dating*, там же, pp. 124, 131.

²⁸ S a p i r, *Language*, p. 144.

²⁹ Там же, стр. 106.

³⁰ Там же, стр. 107.

понятий тем, что «определяют понятия иррелевантные для предложения в целом, но добавляющие нечто новое к значению корневого элемента и, следовательно, особым образом неразрывно внутренне связанные с [конкретными] понятиями...»³¹. Конкретно-реляционные понятия обычно выражаются так же, как и деривационные, и включают как элемент конкретного значения, так и элемент чисто реляционный.

Подобная классификация понятий приводит к типологической классификации языков. Выделяются четыре больших класса языков: 1) простые чисто-реляционные языки, в которых используются только конкретные и реляционные понятия; 2) сложные чисто-реляционные языки, в которых используются конкретные, деривационные и реляционные понятия; 3) простые смешанно-реляционные языки, в которых используются конкретные и конкретно-реляционные понятия, и 4) сложные смешанно-реляционные языки, в которых используются конкретные, деривационные и конкретно-реляционные понятия. В пределах каждого из этих четырех основных классов, исходя из других критериев, таких, как агглютинация и фузия (относящиеся к особенностям соединения морфем), а также степень синтеза внутри слова (например, аналитичность, синтетичность, полисинтетичность и т. д.), устанавливаются некоторые подклассы.

Недавно Гринберг вновь обратился к типологической классификации Сепира. Он внес в нее ряд поправок и добавил несколько количественных индексов. По мнению Гринберга, типологическая классификация Сепира по своему существу является классификацией формальной, а не семантической, даже несмотря на то, что Сепир, «казалось бы, говорит о понятиях»³², а не о языковых формах.

Гринберг предлагает пять параметров классификации и десять индексов для их количественной характеристики. Первый параметр связан со степенью синтеза и измеряется посредством индекса синтетичности, то есть отношением числа морфем к числу слов в последовательном связном

³¹ Sapir, *Language*, p. 106.

³² Joseph H. Greenberg, *A Quantitative Approach to the Morphological Typology of Language (Method and Perspective in Anthropology, ed. by Robert E. Spencer, University of Minnesota Press, 1954, pp. 192—220)*, p. 203.

тексте³³. Низкий индекс (например, 1,68 для английского языка) указывает на аналитический язык, более высокий (например, 2,59 для санскрита) — на синтетический язык и еще более высокий (например, 3,72 для эскимосского) — на язык полисинтетический.

Второй параметр имеет в виду приемы, при помощи которых морфемы соединяются в слова, и дает возможность измерить различия между агглютинирующими языками, в которых морфемы при соединении изменяются очень мало или не изменяются совсем, и теми языками, в которых фузия приводит к высокой степени морфофонематических изменений. Индекс агглютинации определяет это различие количественно; индекс исчисляется по формуле $A:J$, «где A = числу агглютинативных конструкций, а J = числу морфемных стыков (ср. англ. juncture «стык»)»³⁴. Агглютинирующие языки показывают высокий индекс агглютинации (например, 0,51 для якутского языка), фузионные языки — низкий индекс (например, 0,03 для эскимосского).

Третий параметр Гринберга ближе всего к основному критерию, использованному в классификации Сепира; он учитывает наличие или отсутствие в языке деривационных и конкретно-реляционных понятий. Для того чтобы избежать нечеткости термина «понятие», Гринберг строит свой анализ на предположении о возможности распределения всех морфем по трем классам: корневым морфем, деривационных морфем и реляционных морфем. Труднее всего дать определение корневым морфемам, но на практике их выделить легче, чем остальные. Согласно Гринбергу, «корневые морфемы в слове характеризуются конкретностью значения, а также тем, что входят в обширные и легко увеличивающиеся классы» (словоизменяемые морфемы, напротив, «малочисленны, а их значения абстрактны и выражают [relational] отношения») ³⁵. Кроме того, все слова содержат хотя бы один корень, но в

³³ Все подсчеты, необходимые для выведения десяти индексов, были сделаны на основе анализа сплошного текста. Гринберг приложил свой метод с целью иллюстрации к восьми языкам, взяв для каждого из них небольшой текст из ста слов. Приведенные индексы заимствованы из статьи Гринберга, указанной в сноске 32 (см. стр. 218).

³⁴ Joseph H. Greenberg, *A Quantitative Approach to the Morphological Typology of Language*, p. 205.

³⁵ Там же, стр. 215.

то же время некоторые слова (например, слова одноморфемные) не имеют ни деривационных, ни реляционных морфем. «Деривационные морфемы можно определить как морфемы, которые, находясь в конструкции с корневой морфемой, образуют последовательность. Ее всегда можно заменить каким-то определенным классом отдельных морфем, не вызывая при этом изменений в самой конструкции»³⁶. Словоизменительные морфемы составляют остаток: это некорневые, несловообразовательные морфемы.

На основе указанных разграничений устанавливаются следующие три индекса:

1) Индекс словосложения — R/W , где R есть число корней, а W — число слов. Этот индекс характеризуется узкими пределами: 1,00 для английского языка (низший предел) и 1,13 для санскрита (высший), если исходить из тех восьми языков, для которых Гринберг вычислил этот индекс.

2) Индекс словообразования (или деривации) — D/W , где D — число деривационных морфем, а W — число слов. Самый низкий индекс — 0,00 — отмечен во вьетнамском языке, самый высокий — 1,35 — в эскимосском; в английском — 0,15.

3) Индекс словоизменения в целом — I/W , где I — число словоизменительных морфем, а W — число слов. Самый низкий индекс — 0,00 — установлен во вьетнамском языке, самый высокий — 1,75 — в эскимосском; в английском величина этого индекса равна 0,15.

Четвертый параметр имеет дело с порядком расположения аффиксов по отношению к корню. Этот параметр характеризуется двумя индексами: индексом префиксации — P/W , где P — число префиксов, а W — число слов, и индексом суффиксации — S/W , где S — число суффиксов. (Инфиксы встречаются редко и по этой причине во внимание не принимаются.) Наиболее низкий индекс префиксации — в якутском, вьетнамском и эскимосском языках — 0,00; наиболее высокий — в суахили — 1,16; в английском он равен 0,04. Наиболее низкий индекс суффиксации — 0,00 — во вьетнамском, наиболее высокий — 2,72 — в эскимосском; в английском языке он равен 0,64.

Последний параметр относится к «способам, применяемым для установления связи между словами», а именно «словоизменение без согласования [Pi], значимый поря-

³⁶ J. H. Greenberg, A Quantitative Approach to the Morphological Typology of Language, p. 215.

док следования [O] и согласования [Co]. Предлагаются три индекса, и для исчисления их «каждый случай использования того или иного явления для указания связи между словами в предложении»³⁷ определяется как нексус [N], а сами перечисленные выше три принципа или способа обозначаются соответственно Pi , O и Co . Таким образом, предлагаются:

1) Индекс изоляции — O/N . Самый низкий — 0,02 — в эскимосском языке; самый высокий — 1,00 — во вьетнамском; в английском — 0,75.

2) Индекс словоизменения в чистом виде — Pi/N . Самый низкий — 0,00 — во вьетнамском языке, самый высокий — 0,59 — в якутском; в английском — 0,14.

3) Индекс согласования — Co/N . Самый низкий — 0,00 — во вьетнамском; самый высокий — 0,41 — в суахили; в английском — 0,11.

Гринберг рассматривает свое исследование как предварительный набросок: «Некоторые индексы, вполне вероятно, придется снять, другие — заменить. Ряд конкретных определений в последующих работах также может подвергнуться пересмотру»³⁸. Все вычисленные им индексы, основанные на анализе в каждом языке текстов длиной только в 100 слов, тоже, возможно, изменятся при привлечении более длинных отрезков.

Следует отметить, что морфологическая типология языков интересовала весьма немногих из современных американских лингвистов, в то время как попытки создания типологической классификации фонематических систем предпринимались неоднократно³⁹. Причина этого, возможно, кроется, как предположил Крёбер, в отсутствии определенного ответа на вопрос: «А что нам делать с морфологической классификацией языков мира, когда мы ее создадим?» На этот вопрос ответить нелегко, а потому и ослабевает интерес к типологическим классификациям, построенным на основе морфологических критериев⁴⁰.

³⁷ J. H. Greenberg, там же [см. сноску 32], стр. 208.

³⁸ Там же, стр. 220.

³⁹ См., например, Charles F. Hockett, A Manual for Phonology (Indiana University Publications in Anthropology and Linguistics, vol. 11, 1955).

⁴⁰ A. L. Kroeber, Critical Survey and Commentary (Method and Perspective in Anthropology, ed. by Robert F. Spencer, University of Minnesota Press., 1954, pp. 273—302), p. 297.

6. Как мы уже отмечали, Сепир был одновременно и этнографом, и лингвистом, и его интерес к языку выходил далеко за узкие рамки структурного и исторического языкознания. Во многих своих наиболее оригинальных работах он говорил о связях, синхронных и диахронных, языка и его социального и культурного окружения, указывал на влияние, которое языки оказывают на поведение и мышление тех, кто на них говорит. Эта область исследования, называемая в настоящей статье этнолингвистикой, была возрождена в последние годы рядом лингвистов-антропологов.

Большинство ранних работ американских этнолингвистов было посвящено проблеме связи словарного состава языка с неязыковым содержанием культуры. Совершенно очевидно, что словарь дает своего рода индекс содержания культуры и часто указывает на относительную важность различных аспектов культуры. Так, народы, живущие охотой и собирательством, как, например, племена апаче на юго-западе Америки, обладают обширным словарем названий животных и растений, а также явлений окружающего мира. Народы же, основным источником существования которых является рыбная ловля (в частности, индейцы северного побережья Тихого океана), имеют в своем словаре детальный набор названий рыб, а также орудий и приемов рыбной ловли. В некоторых случаях (например, в языках японцев и корейцев) сложная иерархия социальных классов находит отражение не только в словаре, но и в таких формальных явлениях языка, как система местоимений.

Этнолингвистика может внести свой вклад и в изучение истории культуры. Географическое размещение родственных языков часто дает ключ к нахождению прародины народов, говорящих на этих языках, и путей их миграций. «Язык (так же, как и культура), — указывал Сепир, — составлен из элементов, очень различных по возрасту», и «если нам удастся установить связь между меняющимся лицом культуры и меняющимся лицом языка, мы создадим критерий, приблизительный или точный в зависимости от конкретных обстоятельств, для определения относительного возраста элементов культуры»⁴¹. Сходные приемы использовали, разумеется, и индоевропейцы, пы-

⁴¹ Selected Writings of Edward Sapir, p. 432.

тавшися методами исторической лингвистики обнаружить прародину протоиндоевропейского речевого коллектива и узнать что-либо о его неязыковой культуре.

В настоящее время этнолингвистические исследования сосредоточены вокруг гипотезы, выдвинутой Бенджаменом Ли Уорфом в ряде статей, опубликованных в 1940 и 1941 гг.⁴² Уорф, вдохновленный трудами Эдварда Сепира, утверждал, что каждый язык не только по-своему, неповторимым образом воссоздает природу и социальную действительность, но в силу этого воплощает и закрепляет некое неповторимое мировоззрение. Говоря словами Сепира, «„Реальный мир“ в значительной степени бессознательно строится на основе языковых навыков той или иной группы. Никакие два языка не бывают настолько сходными, чтобы можно было считать, что они отражают одну и ту же социальную действительность. Миры, в которых живут различные народы,— это разные миры, а не просто один и тот же мир, к которому лишь прикреплены различные этикетки»⁴³.

Полнее всего гипотеза Уорфа изложена и проиллюстрирована в той работе, где он сравнивает хопи — один из индейских языков Америки — с языками Западной Европы (сокращенно обозначенными SAR — Standard Average European «среднеевропейский стандарт»). Уорф проводит свой анализ по двум линиям: 1) одинаковы ли понятия «времени», «пространства» и «материи» в языках «среднеевропейского стандарта» и хопи и 2) можно ли заметить в сравниваемых языках черты какого-либо сходства между общими языковыми моделями и нормами культуры и поведения⁴⁴? Выводы Уорфа, если их суммировать, сводятся к тому, что в отношении понятий „времени“ и „материи“ между языками «среднеевропейского стандарта» и хопи существуют весьма реальные различия, а различий в понятиях «пространства» гораздо меньше. Рассматривая второй вопрос, Уорф утверждает, что между «нормами культуры» и «моделями языка» можно обнаружить «связи» (но не «соответствия»). «Эти

⁴² См. эти статьи у Benjamin Lee Whorf, *Language, Thought, and Reality* (ed. by John B. Carroll), New York, 1956.

⁴³ *Selected Writings of Edward Sapir*, p. 162.

⁴⁴ Benjamin L. Whorf, *The Relation of Habitual Behavior and Thought to Language* (*Language, Thought, and Reality*, pp. 134—159), pp. 138—139. [Русск. перев. этой статьи см. в сб. «Новое в лингвистике», вып. I, М., 1960, стр. 140.]

связи обнаруживаются не столько тогда, когда мы концентрируем внимание на типичных рубриках лингвистического, этнографического или социологического анализа, сколько тогда, когда мы рассматриваем культуру и язык... как некое единство, которое, как можно предполагать, объединено взаимными связями, пересекающимися границы между ними, и если эти связи действительно существуют, их можно в конечном счете обнаружить путем исследования»⁴⁵.

В том же направлении, что и работы Уорфа, идут исследования и Дороти Ли о языке и мировоззрении индейцев винту в Калифорнии⁴⁶, и мои собственные работы, посвященные языку навахо⁴⁷. Очевидно также, что гипотеза Уорфа обнаруживает поразительное сходство с теориями поля так называемых неогумбольдтианцев — Вальтера Порцига, Йоста Трира и Лео Вайсгербера, которые «попытались претворить в жизнь глубоко интуитивное и стимулирующее наблюдение фон Гумбольдта о том, что „для человека мир, в котором он живет, в основном таков, а может быть... только таков, каким этот мир рисует ему его язык“»⁴⁸.

Теория Уорфа вызвала много откликов, в большинстве случаев неблагоприятных. В недавно вышедшей книге Браун суммирует эти критические высказывания и анализирует некоторые из исследований, осуществленных этнолингвистами. В целом выводы его сводятся к тому, что тезис Уорфа остается недоказанным, что данные, полученные до сих пор лингвистами-антропологами, не только «с огромным трудом поддаются объяснению», но что на их основе невозможно провести необходимую четкую дифференциацию между языком (включая семантику) и мышлением, определяемым «в терминах неязыкового поведения». Он добавляет: «Мне неизвестно, чтобы до настоящего времени предпринимались какие бы то ни было попытки продемонстрировать исторический приоритет той или иной

⁴⁵ Benjamin L. Whorf, там же, p. 159 [русск. изд., стр. 168].

⁴⁶ Работы Д. Ли рассматриваются в моей статье "The Relation of Language to Culture" ("Anthropology Today", ed. by A. L. Kroeber, University of Chicago Press, 1953, pp. 554—573).

⁴⁷ Harry Hoijer, Cultural Implications of Some Navaho Linguistic Categories, "Language", 27, 1951, pp. 11—120.

⁴⁸ John T. Waterman, Benjamin Lee Whorf and Linguistic Field-Theory, "Southwestern Journal of Anthropology", 13, 1957, pp. 201—211 (p. 201).

независимо определяемой языковой модели в целом или в частности по сравнению с той или иной моделью мышления, которую она якобы обуславливает. И хотя многие антропологи имеют в виду, по-видимому, именно эту, наиболее крайнюю форму релятивизма и детерминизма, они не сделали пока и первых шагов для доказательства своей теории»⁴⁹.

Следует, правда, отметить, что один широкий проект исследований был все же разработан («Southwestern Project in Comparative Psycholinguistics» «Проект по сравнительному психолингвистическому исследованию языков Юго-запада»), для того чтобы подвергнуть по мере возможности гипотезу Уорфа необходимой проверке. Однако до настоящего времени опубликовано очень мало материалов по этому проекту, и эти немногочисленные материалы, представляющие известный интерес, вряд ли могут служить подтверждением теории Уорфа. Вместе с тем они не продемонстрировали сколько-нибудь убедительно и несостоятельности этой гипотезы.

7. Резюме и выводы. Как мы отметили, в дескриптивном изучении языков бесписьменных народов за последние двадцать лет были достигнуты значительные успехи. Об этом свидетельствует не только возросшее число изученных языков, но также и более высокое качество самих описаний. Однако большинство проведенных исследований опубликовано далеко не полностью: лингвисты-антропологи вообще занимались больше проблемами методологии, чем описанием языков, и в результате дескриптивные данные часто излагаются лишь как фон для решения той или иной методологической проблемы⁵⁰. Всесторонние структуральные исследования, подобные работам Сепира о языках такелма и южный паут или Стенли Ньюмена о языке йокутс в Калифорнии, встречаются весьма редко по сравнению с потоком кратких обзоров, какие мы находим в «Linguistic Structures of Native America», или статей, часто не выходящих за пределы фонематических проблем, которые печатаются в журналах „International Journal of American Linguistics” и „Language”. Нет также словарей и сколько-нибудь полных

⁴⁹ Roger Brown, *Words and Things* (Glencoe, Ill.: The Free Press, 1958), p. 262.

⁵⁰ John B. Carroll, *The Study of Language*, Cambridge: Harvard University Press, 1953, p. 20.

собраний текстов, что является первоочередной потребностью в тех языковых областях, где отсутствуют (как у американских индейцев) и литературная традиция, и свои местные лингвисты.

Представители современного сравнительно-исторического изучения языков бесписьменных народов большее значение придают установлению отдаленных родственных связей между языковыми семьями, чем разработке необходимых основ для сравнения отдаленных языков. При полном отсутствии древних памятников исследователи исконных языков Америки, как подчеркивает Хаас, вынуждены сначала «сравнивать близкородственные дочерние языки, производя соответствующие реконструкции», а затем переходить к более отдаленным сравнениям праязыков двух или более таких семей⁵¹. В качестве примера можно привести работу Сепира, анализирующую языки на-дене, в которой в единую большую семью объединяются атабаскские языки, а также хайда и тлингит на севере Тихоокеанского побережья. Правильно оценить гипотезу Сепира относительно языков на-дене мы сможем лишь тогда, когда значительное число протоатабаскских реконструкций будет сопоставлено с аналогичными реконструкциями для языков хайда и тлингит.

Недавнее открытие и развитие лексикостатистики позволяет выделить эту проблему особо. По мнению ряда лингвистов, лексикостатистика является полезным инструментом для установления отдаленного языкового родства, подкрепленного лишь небольшим числом лексических фактов. Лексикостатистика определила пока лишь возможные показатели таких отдаленных генетических связей — но не доказательства, — и многие из них, если не все, следует считать в высшей степени проблематичными, пока не будут найдены факты, позволяющие сделать более точные выводы с помощью сравнительно-исторического метода.

Одним из наиболее многообещающих событий в историческом языкознании последнего времени является использование метода глоттохронологии для установления времени дивергенции подгрупп внутри языковой семьи. Оценить полученные результаты в полной мере мы пока еще не можем; в большинстве случаев применение глот-

⁵¹ H a a s, A. *New Linguistic Relationship in North America: Algonkian and the Gulf Languages*, p. 259.

тохронологии носило характер эксперимента и скорее преследовало цель проверить и усовершенствовать самый метод, чем реконструировать исторические факты. Но, я думаю, мы можем согласиться с выводом Хаймза о том, что «общей стратегией лексикостатистики должно быть постепенное, осторожное наступление на нескольких фронтах. Дальнейшая исследовательская работа и уточнение основ глоттохронологии позволит использовать метод более широко и сделает его результаты более надежными. Применение метода глоттохронологии к уже известным языковым семьям поможет, как говорит Крёбер, «отшлифовать его и, всроятно, раскроет перед нами новые законы и непредвиденные новые общие горизонты...»⁵².

Область этнолингвистики, которая многим представляется потенциальным вкладом в науку именно лингвистов-антропологов, является также той областью, где создано меньше всего серьезных практических или теоретических научных трудов. Эта область стала объектом самой суровой критики как со стороны антропологов, так и со стороны лингвистов. Причины подобного положения вскрыть нетрудно — ведь этнолингвистика требует от исследователей почти равных познаний в лингвистике, антропологии и психологии. В каждом конкретном случае она требует также такого глубокого овладения изучаемыми языками и их культурным окружением, какое возможно только для родного языка и очень редко может быть достигнуто, если это вообще осуществимо, ученым, имеющим дело с чужими языком и культурой.

Из сказанного, однако, не следует, что в будущем от этнолингвистики ждать нечего. Исследования, которые были проведены, и дискуссия, которую они вызвали, способствовали по крайней мере более ясному пониманию и, вероятно, более четкому формулированию тех проблем, которые были подняты в связи с такими гипотезами, как гипотеза Уорфа. Вполне возможно, что новые исследования (а некоторые из них в настоящее время уже ведутся) укажут более плодотворные пути работы.

⁵² Н у т е s, цит. раб., стр. 33. Приведенная цитата взята из статьи Крёбера "Linguistic Time Depth Results So Far and Their Meaning" ("International Journal of American Linguistics", 21, 1955, pp. 91—104), p. 103.

ГЛОССЕМАТИКА

1. Термин «глоссематика». Для глоссематики немало важно то обстоятельство, что специальный термин, обозначающий теорию в целом, был создан уже на ранней стадии исследований: понятие «глоссематика» было введено в 1936 г. для обозначения определенных элементов логической и терминологической ревизии, которую основатели глоссематики считали непременным условием лингвистического исследования; ср. РТЛ, стр. 51 (см. библиографический указатель в конце статьи). Далее будет показано, что именно подразумевается под этим термином, пока же — в виде вступления, — возможно, будет не лишним заострить внимание на некоторых второстепенных деталях, связанных с введением данного термина, и в общих чертах обрисовать различные концепции. Указанный термин имеет определенные преимущества уже потому, что он является нейтральным по отношению к личности исследователя и к стране, в которой этот исследователь работает; напротив, если речь идет о «блумфилдианцах», то подразумевается определенная преемственность; если же говорят о «пражской фонологии» или «женевской школе», то при этом подразумевается размежевание, и не только географическое. Кроме того, при классификации концепций «по школам» прежде всего принимаются во внимание основополагающие утверждения авторитетов. Нет сомнения, что лингвистические «школы» представляют собой реальные явления, и прав был *Фрэнсис Дж. Уайтфилд*, писавший, что «школы часто поражают постороннего

H. S p a n g - H a n s s e n, *Glossematics*, напечатана в «Trends in European and American Linguistics 1930—1960», Utrecht Antwerp, 1961, pp. 128—162.— *Прим. ред.*

наблюдателя тем, что бывают предельно инертными в признании своего собственного существования» [1, 279] *. Что касается «копенгагенской школы» («Escuela de Copenhague»; ср. [1]), или «датской школы» (ср. «датский структурализм» [2, 152 и сл.]), то здесь важно указать на различие между воззрениями *Вигго Брэндаля* (ум. в 1942 г.) и представителей глоссематики: несмотря на то, что обе концепции характеризуются структуралистским подходом к языку, они имеют все же ряд существенных расхождений: ср., например, [2, 153 и сл.], [4] и [5].

С другой стороны, термин «глоссематика» может создать впечатление, что соответствующее направление представляет собой нечто вроде секты. Нередко в тех обзорах работ, где обсуждаются или развиваются глоссематические концепции, проскальзывает мысль о существовании некой группы убежденных и ортодоксальных глоссематиков, окруженных еретиками и отступниками. Мы узнаем, например, что *Кнуд Тогби*, разработавший — и это рассматривается как вклад в учение об имманентном методе, отстаиваемом глоссематиками — «принципы первого исчерпывающего описания, основанного на имманентном методе и применимого к любому языку», считает себя противником ортодоксальной глоссематики [6, 78] и что он занимает «особую позицию среди глоссематиков» [7, 94]. Авторы некоторых обзоров, помещенных в «Recherches structurales» (RS), с нетерпением ожидают раскола в среде глоссематиков, оставляя без внимания то обстоятельство, что том RS, посвященный пятидесятилетию со дня рождения *Луи Ельмслева*, не представляет собой справочника по глоссематике (*Рулон Уэллз* ясно говорит об этом в своем обзоре [3]) и что никто из авторов статей, помещенных в RS, не присягал на верность этому учению.

Поскольку в действительности любая из опубликованных до сего времени работ по глоссематике представляет собой обсуждение общих или частных вопросов, и все они написаны с целью развития теории, которая в соответствии с ее природой и размахом открывает широкое поле

* Указания на литературу даются в квадратных скобках, причем цифра до запятой указывает порядковый номер работы, содержащейся в библиографическом списке в конце статьи. Цифры после запятой указывают страницы соответствующей работы. В библиографическом списке расшифровываются также сокращенные названия работ, которые встречаются в тексте. — *Прим. ред.*

деятельности перед исследователем, возникает возможность для отыскания расхождений между более ранними и более поздними работами, даже если они принадлежат перу одного и того же «глоссематика». Глоссематического евангелия не существует. Серийное издание «Outline of Glossematics», предпринятое основоположниками глоссематического направления Луи Ельмслевом и Х. И. Ульдалем (ум. в 1957 г.), первая часть которого вышла в 1957 г. [8], представляет собой своего рода эксперимент, как и любая другая работа по глоссематике, написанная одним из ее основателей или лингвистом, рассматривающим данную совокупность концепций как многообещающую основу для дальнейших изысканий.

2. Литература по глоссематике. Глоссематике — как термину, так и самой науке — не более 25 лет. Изложение же ее более чем фрагментарных основ на одном из важнейших языков относится к последним десяти или пятнадцати годам. Надо, впрочем, признать, что за этот краткий промежуток времени опубликовано довольно много работ по глоссематике, представляющих собой либо теоретические статьи, либо обзоры или оценочные работы, в которых данное направление сравнивается с другими направлениями в языкознании. Библиография, которая содержится в конце настоящей статьи, служит лишь для ссылок и не является поэтому ни образцовой, ни тем более исчерпывающей. Глоссематика была даже предметом одного исследования «по истории науки» (в котором в то же время содержался детальный критический анализ этой теории; см. монографию Б. Сиертсеми [9]). Таким образом, всякий, кто специально интересуется глоссематикой, имеет в своем распоряжении достаточно содержательный источник информации, хотя в то же время надо сказать, что глоссематика в целом, с учетом ее основ, методов и перспектив развития представляет явление настолько широкое, что ни одна работа — ни даже некоторая совокупность работ — не может служить ее адекватным отражением. В этом смысле имеет большое значение опубликование к шестидесятилетию Луи Ельмслева собрания его статей (большая часть была опубликована ранее в различных периодических изданиях и т. п.) в виде отдельного тома «Essais linguistiques» (EL), но даже и этой книгой

не исчерпывается вклад Ельмслева в глоссематику: в сборник не вошло, например, его детальное исследование, посвященное частному приложению глоссематической теории, опубликованное в одном из филологических изданий [10].

Мы не ставили перед собой задачи дать систематический или тем более исчерпывающий обзор принципов глоссематики. Это объясняется прежде всего ограниченным объемом нашей работы: никто ведь не станет искать детального изложения, скажем, принципов высшей математики в статье объемом в тридцать страниц, — я не говорю уже о требованиях, которые были бы предъявлены автору и читателям в связи с идеей создания такой статьи. В данном случае нас занимает лишь вопрос о том, что именно понимают под словом «глоссематика» (разделы 3—7). Кроме того, автор задался целью прокомментировать различные вопросы, поднятые в специальных или критических статьях, так или иначе связанных с глоссематической тематикой.

3. Глоссематика и лингвистика. В разделе 1-м было высказано следующее замечание: в определенном смысле глоссематика предполагает, что, приступая к изучению языка, мы не имеем о нем никаких предварительных сведений (требование *tabula rasa*) и что весьма симптоматично введение специальных обозначений: «Лингвистика должна... видеть свою главную задачу в создании науки о выражении и науки о содержании на внутренней и функциональной основе... Поскольку лингвистика стоит перед этой главной задачей, решению которой до сих пор не уделялось почти никакого внимания в лингвистических исследованиях самого различного рода, ученые должны быть готовы к проведению всесторонних изысканий, связанных с напряженной работой мысли и интенсивными исследовательскими поисками... Данная лингвистическая теория была вдохновлена этой идеей уже во время ее первой разработки, и она ставит себе целью создать именно такую имманентную алгебру языка. Чтобы подчеркнуть отличие этой теории от предшествующей лингвистики и ее принципиальную независимость от неязыковой субстанции, мы дали ей специальное название... мы называем ее *глоссематикой* (от $\gamma\lambda\omicron\sigma\sigma\alpha$ «язык») и используем термин

госсема для обозначения минимальных формальных единиц, которые теория устанавливает в качестве основы для описания, то есть, иными словами, для обозначения неразложимых инвариантов (PTL, p. 50—51; см. русск. перев. «Новое в лингвистике», вып. I, стр. 335—337).

Требование *tabula rasa*, однако, применимо лишь к принципам лингвистики, иными словами, к эпистемологическим предпосылкам и к методологии лингвистического описания. Глоссематика не требует обязательного отказа от всех прежних результатов лингвистического исследования и, таким образом, не порывает с принципами лингвистического анализа; она требует лишь переоценки ценностей. В этой связи определенное значение имеет то обстоятельство, что глоссематические воззрения выработались в *среде* датских лингвистов, продолжающих традиции Расмуса Раска, Карла Вернера, Вильгельма Томсена и Отто Есперсена. Не следует также забывать и о том, что многие идеи и «открытия» современных структуралистов уже были на вооружении грамматистов XIX века, а иногда и еще более ранних эпох. Несомненно, к исследованиям по «прикладной лингвистике» и даже «прикладному структурализму» можно отнести как многие ранние грамматики, написанные в практических целях, так и вводные или критические работы по правописанию, относящиеся к различным эпохам. Правда, подобные попытки структурного описания не всегда осуществлялись в явной форме, тем не менее они имеют прочную традицию, влияние которой в той или иной степени испытал каждый из нас; лишь в более узком смысле структурный подход может быть поставлен в связь с фонологией или, говоря точнее, с функциональным определением «фонемы», содержащимся в TCLP, 4, 1931: «Именно из этого определения фонемы родились в результате расширения сферы его применения или как реакция на него все те различные тенденции структурализма, которые существуют в наши дни» ([11, 20]; см. русск. перев. «Новое в лингвистике», вып. I, стр. 438).

Аналогичным примером предвосхищения результатов современных исследований может служить констатация различий, существующих между числом фонем и числом букв: в практике книгопечатания факт существования этих различий принимается во внимание уже на протяжении ряда веков; в лингвистике же этот факт был установлен

и стал предметом теоретических исследований лишь в последнее время.

В литературе по глоссематике подчеркивается, что обращение к традиционным языковедческим дисциплинам представляет собой характерную черту структуралистских и прежде всего глоссематических исследований: «... исследователи всех эпох устанавливали или конструировали звуковые (или графические) системы, а также системы морфологические (или грамматические), рассматриваемые как сети отношений (главным образом корреляций). Этим дисциплинам структурная лингвистика дала весьма удобное и гибкое выражение; ...беспристрастное сравнение методики практических исследований, используемых в традиционной фонетике и морфологии, с методикой структурно-лингвистических исследований говорит скорее о преемственности, нежели, о разрыве, а... то новое, что внесла в эти дисциплины структурная лингвистика, состоит главным образом в осознании тех или иных явлений, в уточнении принципов, на которых строится методика исследований, методика, необходимость которой теперь не вызывает сомнений» (*Luis Hjelmslev*, R8C, стр. 268—269).

Далее будет показано, что в тех случаях, когда сторонники глоссематики подчеркивают свою независимость от лингвистики вообще, речь идет о потребности в определенной свободе действий при изучении языка как имманентного объекта (ср. сл. раздел), что вовсе не означает желания изолировать глоссематику от других направлений в лингвистике, современных или относящихся к прежним эпохам. Это обстоятельство известно всем лингвистам, знакомым хотя бы в самой общей форме с литературой по глоссематике. Надо, однако, принять во внимание другое обстоятельство: поскольку в последнее время к исследованию языка стали применяться самые разнообразные методы, следует учесть, что подход к языку может стать подлинно лингвистическим, без злоупотребления результатами прежних исследований, тогда как некритическое использование даже большого количества результатов современных исследований (и соответствующей терминологии) еще не означает, что данный подход к языку является строго лингвистическим.

Проблема отношений между глоссематикой и лингвистикой как таковой затрагивается в критической литера-

туре довольно часто, причем можно отыскать противоречивые высказывания. С одной стороны, утверждают, что глоссематика сужает область языковых исследований, в частности ввиду того, что оказывается исключенным описание языкового употребления или узуса (субстанции); ср., например, [12, 249]. В своей книге о языке А. С. Чикобава утверждает, что структурализм, под которым в данном контексте понимается прежде всего глоссематика, сводит содержание языкознания к морфологии и синтаксису, ограничивая это содержание теми предметами, которые рассматривались рациональной грамматикой XVII—XVIII вв. [2, 166—167]. Чикобава замечает, кроме того, что из рассмотрения неправомерно исключаются семантика и фонетика. Однако эта точка зрения, видимо, вытекает из отождествления глоссематической «формы» с «грамматической формой», что исключает реализацию «формальной семантики» и «формальной фонетики». Чикобава говорит также об исключении «диахронической лингвистики» ([2, 161—162]) — этот вопрос, как известно, неоднократно обсуждался в литературе по структурализму. Об этом частном аспекте, связанном с «ограничением» объема лингвистики, см. ниже, в разд. 14.

С другой стороны, глоссематику упрекают в том, что она уклоняется от собственно лингвистического исследования, уделяя, например, письменной форме языка то же внимание, что и его устной форме (ср. ниже, разд. 11). В заключительной части своего исследования о различиях между формой и субстанцией Эуженио Косериу приписывает глоссематике следующий специфический статус: «...Глоссематика полностью оправдывает свое существование потому, что она выражает более высокий уровень абстракции по сравнению с тем, который называется собственно лингвистикой. Обозначение этого высшего уровня как «уровня *собственно языкового*» и отождествление глоссематики с *лингвистикой* суть простые семантические условности, которые, будучи однажды интерпретированы подобным образом, исключают ошибочную трактовку» [13, 211].

В действительности различные точки зрения на предмет глоссематики в сравнении с предметом традиционной лингвистики вовсе не являются противоречивыми, а лишь односторонними, если их рассматривать в отрыве друг от друга. Они не учитывают некоторых различных аспектов положения, в соответствии с которым выявление определенных

черт «естественного» языка делает возможным как изучение языка в связи с другими знаковыми системами, так и создание последовательного описания «естественного» языка, которое было бы более полным и в то же время более простым по сравнению с описаниями, предлагавшимися до сего времени в традиционной лингвистике [ср. РТЛ, р. 65]. Разумеется, можно поставить вопрос и о том, насколько последовательно проводятся в глоссематике ее же положения, однако этот вопрос не представляется принципиальным в свете затронутых нами проблем; дискуссия по данному вопросу представляется преждевременной хотя бы потому, что возможности глоссематики, по-видимому, гораздо более значительны, чем результаты уже проведенных прикладных исследований.

4. Одна или несколько «глоссематик»? В соответствии с определением глоссематики (из «Пролегомен»), приведенным выше в разделе 3, цель глоссематики состоит в создании имманентной алгебры языка, то есть общего исчисления, помогающего описать или понять любой текст и язык, на материале которого оно построено [ср. РТЛ, р. 10]. Термин «глоссематика» употребляется для обозначения теории, на которую следует опираться при создании такого исчисления; содержание этой *теории* было описано в РТЛ [см. стр. 8]: речь шла не о системе гипотез, а о произвольной, но в то же время отражающей существенные свойства системе предпосылок и определений. Другими словами: глоссематика представляет собой модель, сконструированную в целях осуществления описания эмпирического текста, но в принципе независимую от этого текста.

Сказанное выше не дает оснований для суждения о том, служит ли указанный термин для обозначения одной специфической теории, то есть особой серии предпосылок и определений, или же этим термином может быть обозначено несколько сосуществующих теорий, каждая из которых ставит целью создание имманентной алгебры языка. Вопрос можно поставить и по-иному: спрашивается, представляет ли глоссематика некоторое общее направление или же это всего-навсего специфический набор определений, служащих для составления четких описаний различных текстов и языков. Ельмслев в своих «Пролегоменах» достаточно ясно дал понять, что в принципе термин «глос-

семантика» используется для обозначения некоторой специфической теории, а именно той, которая в наибольшей степени соответствует *эмпирическому принципу*: «Мы можем... контролировать лингвистическую теорию и ее применение, проверяя, является ли решение, к которому она приводит, не только непротиворечивым и исчерпывающим, но также и наиболее простым». «... можно вообразить несколько лингвистических теорий в смысле приближений к идеалу, построенному и сформулированному в терминах «эмпирического принципа». Одна из них непременно должна быть окончательной». (PTL, р. 11, русск. перев. «Новое в лингвистике», вып. 1, стр. 278—279.)

Здесь напрашиваются два замечания. Во-первых, крайне спорным является вопрос о том, действительно ли сформулированный в «Пролегоменах» [PTL, р. 6] эмпирический принцип может содействовать выбору окончательной теории (ср. в этом отношении разд. 12 и 13). Во-вторых, если даже удалось бы выбрать идеальную теорию, то реализацию этой идеальной ситуации пришлось бы отложить на неопределенный срок, поскольку развитие имманентной алгебры языка представляет собой пока только обширную программу. Поэтому вполне естественно, что положения глоссематики использовались как создателями термина, так и другими исследователями только в предварительных или специальных целях, связанных с общей задачей построения имманентной алгебры для описания языка.

В целях полноты необходимо отметить, что если среди исследований по фонетике и фонологии редко встречаются работы, не использующие фонемный анализ, то *глоссемы* исследуются лишь в немногих из опубликованных до сего времени работах по глоссематике. Не следует смешивать «глоссемы» с «таксемами»: если таксемы (а именно таксемы выражения) в грубом приближении соответствуют, например, фонемам, то глоссемы — это элементы (а именно элементы измерения), система которых конструируется на основе инвентаря, например инвентаря фонем, путем выявления функциональных сходств и различий. При этом некоторые глоссемы могут представлять собой элементы фонем, но не в том смысле, в каком элементами фонем являются «различительные признаки», выявленные иным путем (более подробно, см. например, PTL, р. 63—64 или [9, гл. XI]).

5. Выражение и содержание, форма и субстанция. С другой стороны, было бы методологически неверно пользоваться термином «глоссематика» для обозначения любого вида имманентной алгебры языка или любой попытки такого рода описания. Дело в том, что само понятие язык трактуется на разные лады и, следовательно, по-разному может быть понят объект приложения алгебры; кроме того (и в данном случае речь в определенной мере идет о том же), существуют самые различные взгляды на значение слова «имманентный» в применении к явлениям языка. Надо сказать, что слово «имманентный» не получило широкого распространения в лингвистической литературе, хотя в то же время цель ряда структуралистских работ, особенно американских, фактически состоит в построении имманентной алгебры (ср. замечания *Пауля Л. Гарвина* в его рецензии на «Пролегомены» [14, 70 и 95] и сравнение глоссематики с американской лингвистикой, принадлежащее *Эйнару Хаугену* [15, 123—125]. [Русск. перев. см. в сб. «Новое в лингвистике», вып. I, 1960, стр. 244—263]). Понятно теперь, почему для того, чтобы охарактеризовать отличия, существующие между глоссематикой и другими направлениями структурализма, нужно детальное обсуждение вопроса.

По мнению *Ельмслева*, лингвистика, если она хочет быть имманентной, должна заниматься построением науки о выражении, «не обращаясь к фонетическим или феноменологическим предпосылкам», и науки о содержании, «без обращения к онтологическим или феноменологическим предпосылкам (но, конечно, не избегая эпистемологических предпосылок, лежащих в основе любой науки)» (PTL, p. 50 [см. русск. перев. «Новое в лингвистике», вып. I, стр. 335—336]). Это положение влечет за собой констатацию двух различий: во-первых, различия между *выражением* и *содержанием* и, во-вторых, различия между *формой* (то есть предметом исследования имманентной лингвистической науки (или наук)) и *субстанцией* (то есть теми сторонами языковых явлений, которые не могут получить исчерпывающего описания без помощи нелингвистических предпосылок).

В этой предварительной формулировке *форма* определена негативно, а именно как то, что не есть субстанция. Что же касается теории имманентной лингвистики, то здесь форма является исходным понятием по отношению к

субстанции, и языковая форма получает позитивное определение: она рассматривается как иерархия функций (см. следующий раздел). Отсюда следует, что предварительная характеристика субстанции также должна быть заменена определением, которое установило бы связь между (языковой) субстанцией и имманентной лингвистикой (см. ниже). Пока что нас интересует различие как таковое, поскольку двойственное различие между выражением и содержанием, с одной стороны, и формой и субстанцией — с другой, составляет основу глоссематики и тем самым коренное ее отличие от других направлений. В соответствии с принципами глоссематики имманентная алгебра включает форму содержания и форму выражения. «Если, вслед за Мартине (*“Anthropology To-day”*, pp. 574—586), мы проведем классификацию этих доктрин (то есть направлений структурализма) по их отношению к обеим субстанциям (выражению и содержанию), то увидим, что пражцы опираются как на звуковую, так и на смысловую субстанцию, глоссематики игнорируют и ту и другую, а блумфилдианцы исследуют звучание (фонетические сходства), но игнорируют значение» (*Alphonse Juillard*, [16, 107]).

Утверждение, что глоссематика игнорирует оба вида субстанции, предусматривает по крайней мере две вещи: при любом адекватном эмпирическом описании языка принимается в расчет субстанция, и любое исчерпывающее описание имеет дело с субстанцией. Глоссематическое описание не составляет в этом смысле исключения.

В своей рецензии на RS *Р. Уэллз* также подчеркивает то обстоятельство, что глоссематике свойственно настаивать на двух антитезисах (между содержанием и выражением и между формой и субстанцией): «Глоссематика совершенно правомерно настаивает на том, что исключительно важно проводить различия между этими двумя антитезисами, а не смешивать их, как это делали Блумфилд и многие другие лингвисты» [3,555].

6. Анализ и синтез. Двойственное различие, о котором шла речь выше, представляет собой результат развития идеи *де Соссюра* о различии между *формой* и *субстанцией*, *означаемым* и *означающим*.

Обсуждение вопроса о том, что подразумевается под этими соссюровскими терминами, в частности вопроса о

том, какие выводы следуют из знаменитого изречения «язык есть форма, а не субстанция», завело бы нас слишком далеко. Концепция *Соссюра* в ее отношении к глоссематике рассматривалась Луи Ельмслевом (ср. особенно [17]) и позднее Нильсом Эйе и Кристен Мёллер (оба обзора см. в RS), а также Б. Сиертсемой, автором настоящей работы [18] и другими.

Различие между формой и субстанцией, составляющее часть глоссематической теории, является в то же время звеном, сближающим глоссематику с основными положениями формальной логики, особенно в той ее части, которая была разработана *Рудольфом Карнапом*. Цель глоссематики — создание имманентной алгебры языка — может быть сопоставлена с положением *Карнапа* о том, что всякий язык есть исчисление (*Kalkül*) (правда, он настоятельно подчеркивает и то обстоятельство, что языки характеризуются иными аспектами) [19]; проблемы языка рассматриваются им в [18, 23 и сл.]. В свою очередь, исчисление есть аксиоматическая система правил сочетаемости элементов, которые характеризуются лишь своим отношением к различным классам. Подобно исчислениям формальной логики, алгебра глоссематики представляет собой систему зависимостей (функций) между элементами, которые характеризуются лишь их взаимозависимостями.

Имеется, однако, существенное различие между формально-логическими исчислениями (к которым может быть отнесена и математическая теория множеств) и алгеброй глоссематики. Если первые, основанные на данных элементах, обладают синтетической природой, то алгебра глоссематики является по своей природе аналитической. Ее цель — выделение элементов (из среды других таксем и глоссем: ср. конец раздела 4), определяемых лишь по особым видам функций, связывающих их между собой. Здесь, таким образом, отсутствуют элементы, известные а priori. Алгебра глоссематики отталкивается от множества функций, в принципе произвольных, однако предположительно органически связанных с анализом эмпирического текста.

При описании искусственных языков, составляющих в наше время «языковый материал» формальной логики, процесс синтеза может быть формальным в том же смысле, что и процесс анализа. Однако если мы имеем дело с живыми языками, например с изучением эмпирического текста

или фонетической записи, имманентное описание должно основываться на процессе анализа. Дело в том, что при исследовании эмпирических языков исходные элементы (необходимые при любом синтезе) могут быть охарактеризованы как отличные друг от друга лишь на основе исследования субстанции (то есть на основе фонетического или графического описания элементов) — в противном случае они должны будут рассматриваться как априорные. Исследование, начинающееся с описания элементов, определенных подобным образом, не может быть охарактеризовано (если только мы не захотим выйти за пределы разумного) как имманентное по отношению к языку. Если, с другой стороны, текст рассматривается как «грубый результат членения» (ср. замечания *Гарвина* о «речи» и «тексте» в [14, 71]), то процесс анализа, на деле или в принципе отталкивающийся от текста как от некоторого единства и проходящий ступени уменьшения числа единиц, выявляемых на основе определенного множества функций, позволит описать эмпирический язык как форму. (О той роли, которую играет при анализе субстанция, см. ниже, разд. 12 и 13.)

В своей работе о стратификации языка [20] *Луи Ельмслев* делает определенные выводы, которые вытекают из различия содержания и выражения, формы и субстанции, частично используя символические обозначения, дающие ему возможность избежать употребления двусмысленных понятий формы и субстанции. Он подчеркивает, что различие между формой и субстанцией общепринято, то есть что оно не является специфическим положением [имманентной] лингвистики. «Вероятно, любой научный анализ какого бы то ни было объекта (последний трактуется в этой связи как некоторый класс — в нашем понимании этого слова) с необходимостью имплицитно различие между двумя уровнями, или иерархиями, которые могут быть определены по форме и по субстанции в сосюровском (однако весьма общем) понимании этих слов» [20, 172]. Это значит, что форма и субстанция суть относительные понятия: то, что является субстанцией с точки зрения лингвистики, может быть формой с иной точки зрения, то есть может быть предметом имманентного исследования какой-либо другой науки.

Ельмслев указывает также, что в этом общем и относительном смысле различие между формой и субстанцией

не может рассматриваться как зависящее от различия между содержанием и выражением, которое является специфическим для языка и семиотических систем в целом, входя в них в качестве составной части. Однако при языковом анализе последнее различие является определяющим по отношению к различию между (языковой) формой и (языковой) субстанцией; поэтому правомерно говорить, например, о «субстанции выражения», но не о «выражении субстанции» (ср. [20, 169]).

7. Четыре свойства глоссематики. Итак, мы вкратце охарактеризовали или, во всяком случае, затронули четыре специфических свойства глоссематики, перечисленные в [20, 164]: «Во-первых, трактовка аналитического процесса как единственно адекватного; во-вторых, выдвижение на первый план формы, которой до сих пор предпочиталось содержание; в-третьих, стремление видеть в языковой форме не только форму выражения, но и форму содержания; наконец, в-четвертых — и это вытекает из перечисленных особенностей, — трактовка языка (в том смысле, в каком это слово обычно понимают лингвисты) как частного случая семиотической системы...»

Два из этих четырех свойств, а именно второе и третье, подверглись особенно интенсивному обсуждению в специальной литературе. Точнее говоря, дискуссия велась главным образом по вопросу о том, в какой мере осуществимо внедрение формального анализа в практику исследований, и по вопросу о том, может ли анализ плана содержания основываться на тех же принципах и иметь тот же объем применения, что и анализ плана выражения. В следующем разделе рассматриваются как эти проблемы глоссематики, так и некоторые другие, служившие на протяжении последних десяти лет объектом оживленных дискуссий и интенсивной разработки.

8. Система функций. Эта система, принятая в глоссематической алгебре (ср. выше, разд. 6), в частности так называемые функции солидарности и селекции (определения см. в «Пролегоменах» — русск. перев. «Новое в лингвистике», вып. I, стр. 384), явилась предметом дальнейшей разработки в работах *Ульдалля* (RS и [8]), ставившего себе целью построить на этой основе исчисление неканти-

тативных функций, которое имело бы широкую сферу применения. Это исчисление должно было сделать возможным четкое сопоставление результатов анализа различных объектов (как лингвистических, так и относящихся к другим гуманитарным наукам). Однако спорным является вопрос о том, может ли сложная алгебра *Ульдалля* удовлетворить требованиям простоты, необходимым в обычном лингвистическом анализе.

В ином направлении попытка была предпринята автором настоящей работы ([21, V, гл. II]). Функции, описанные в «Пролегоменах», могут быть соотнесены с классами: так, селекция, устанавливающая категории гласных и согласных (а именно, наличие согласных предполагает наличие в данном слоге гласных, но не наоборот), представляет собой функции между классом гласных и классом согласных. Однако, поскольку функции, определенные в «Пролегоменах», существуют лишь между *двумя* функциями (объектами), «класс» должен пониматься здесь как «класс как единство». Чтобы устранить проблему случайных пробелов, которая возникает, например, при поляризации фонем (на гласные и согласные) на основе селекции, приходится рассматривать селекцию как соотнесенную «классами как множествами», то есть с некоторым количеством гласных и некоторым количеством согласных. Такое определение классов представляется полезным в случаях, когда языковой материал, о котором идет речь, может рассматриваться как результат дистрибуции (в значении, принятом в статистике; это значение не следует путать со значением, принятым в американской лингвистике, где оно, грубо говоря, может быть передано словом «окружение»). Возможно, заслуживает упоминания то обстоятельство, что термина «дистрибуция» («дистрибутивный») нет в глоссематической терминологии).

Применимость глоссематической системы функций к практическому анализу обсуждалась и в связи с другими вопросами, представляющими общий интерес, а именно в связи с проблемой аксиоматики и количественных языковых различий. Функции глоссематики определяются с помощью очень общих неопределимых категорий (например, «наличие», «необходимость»; ср. PTL, p. 21 и сл.), причем в целом «предпосылки языковой теории уводят нас далеко назад. В результате предпосланные ей аксиомы имеют столь общий характер, что кажется, будто ни одна

из них не может быть свойственна языковой теории в противоположность другим теориям. Это происходит потому, что мы ставили своей задачей проследить (не выходя за пределы того, что представляется непосредственно относящимся к лингвистической теории), насколько далеко уведут нас наши предпосылки» [PTL, 8] (см. русск. перев. «Новое в лингвистике», вып. I, стр. 275). Ханс Кр. Сёренсен [22, 41 и сл.] заметил в этой связи, что совершенно независимо от проблем эпистемологии, связанных с установлением универсальных неопределимых категорий (аксиом), неопределимые категории (аксиомы) этого рода слишком расплывчаты, чтобы сделать возможным четкое применение постулированной таким образом функциональной системы. «Мы считаем необходимым настаивать на том, что аксиомы и постулаты, введенные в дедуктивную систему, абсолютно адекватны, то есть что на их основе можно построить систему, применимую при описании языка. Мы считаем, что можно согласиться с обычной практикой разработки подобного рода дедуктивных систем, предназначенных для практического использования» [22, 59]. В соответствии с этим Ханс Кр. Сёренсен разрабатывает особую дедуктивную систему, способную служить интерпретируемой моделью в его анализе видов и времен в славянских языках. Однако по общему подходу и по отдельным деталям его работа может быть охарактеризована как глоссематическая (в широком смысле слова; см. выше).

Иногда глоссематическая система функций подвергается критике не за ее расплывчатые основы, а, наоборот, за излишнюю жесткость, не позволяющую дать адекватное описание. Утверждается, что языковая ситуация часто обладает количественной природой (то есть является весьма приблизительной) и не может быть втиснута в рамки системы, которая базируется всего на нескольких возможностях выбора. «Глоссематика ничего не знает о количестве и значении (Weight). Все числа между нулем и бесконечностью равны между собой; между несовместимостью и селекцией, например, располагается лишь комбинация» (С. E. Bazell, [23, 110]). Тот же вопрос затрагивает, хотя и в менее резкой форме, Уэллз в своей рецензии на RS [3, 556—557]: «где можно провести границу между явлениями, связанными с формой, и явлениями, связанными с субстанцией, не ясно... Где, например, следует

поместить явления, связанные с частотностью?» (ср. также его замечания в R8C, p. 206).

Ответ на указанный вопрос можно было сформулировать в самой общей форме следующим образом: явления, связанные с частотностью, должны трактоваться в глоссематике как явления, связанные с субстанцией, то есть как явления, связанные с *использованием* возможностей (*узусом*), которые определяются формой (*схемой*) данного языка (ср. ниже, разд. 12). Более основательной является проблема, рассматривающая систему функций, на основе которых строится эта схема: «Можно, разумеется, согласиться с глоссематикой, считающей, что частотность есть исключительно явление *узуса*, а не языковой *системы*. Однако было бы ошибкой делать на основании этого заключение о том, что частотностью можно пренебречь в процессе построения системы» [24, 134, сноска]. В соответствии со строгой глоссематической терминологией вместо слова «система» в данном случае следовало бы употребить слово «схема». «Система» же противопоставляется в глоссематике «процессу» (тексту).

Требование учитывать частотность или, скорее, вероятность в теории языкового описания не следует, однако, связывать только с глоссематикой. В действительности вопрос о том, можно ли связывать рассмотрение количественных различий с описанием в терминах структуры, является спорным (ср. доклад автора настоящей статьи в R8C, стр. 164—165). Думается, что глоссематика с ее явно выраженной аксиоматичностью представляет весьма благодарный объект для дискуссий по этому вопросу (ср. [21], где затрагивается эта проблема).

9. Знак и изоморфизм. В соответствии с *сосюрковским* использованием слова «знак» («*signe linguistique*») для обозначения «двусторонней» единицы глоссематика применяет это слово «для обозначения единицы, состоящей из формы содержания и формы выражения и установленной на основе солидарности между этими двумя формами, которую мы называли *знаковой функцией*» (PTL, p. 36; см. русск. перев. «Новое в лингвистике», вып. I, стр. 316). Важно отметить, что содержание (форма содержания) и выражение (форма выражения), как и некоторые другие термины (функтивы), определяются на основе функций,

которые их связывают, в данном случае на основе их взаимной солидарности; таким образом, они определяются лишь на основе взаимной оппозиции и только относительно друг друга. С точки зрения формы трактовка данной, а не другой сущности в качестве «выражения» не является мотивированной (см. PTL, pp. 37—38; см. русск. перев. «Новое в лингвистике», вып. I, pp. 317—318). Выбор может быть мотивирован только тем различием, которое существует в субстанциях, служащих манифестацией этих двух формальных сущностей в обычном языке. Различие может быть обнаружено в функционировании языка как средства общения (ср. формулировку *Мартине* [11, 40]: «Выражение — средство, содержание — цель») или в том, что субстанция выражения, но не субстанция содержания может считаться конечной — например, сведенной к некоторой сфере звука; ср. рецензию *Эли Фишер-Ёрьенсен* на «Пролегомены» [25]. Это наблюдение приобретает особый интерес, будучи сопоставленным с утверждением *Ельмслева* (см. PTL, p. 70, русск. перев. «Новое в лингвистике», вып. I, стр. 364), что язык (отличающийся от других видов семиотик и от несемiotик) «является семиотикой, в которую могут быть переведены все другие семиотики — как все другие языки, так и все другие мыслимые семиотические структуры». Обсуждение этой особенности языка, а также вопроса о том, связана ли она с неким фундаментальным различием между планом содержания и планом выражения, завело бы нас слишком далеко. *Б. Сиертсема* [9, 220—226] критически рассматривает утверждение *Ельмслева*, однако главным образом в связи с проблемой различия между языком и другими видами семиотик.

В литературе по глоссематике слово «изоморфизм» часто употребляется для обозначения состояния параллелизма между планом содержания и планом выражения (ср., например, *Е. Курилович* в RS; *Р. Уэллз* в [3]). Однако это слово не входит в число глоссематических терминов, а в теории глоссематики отсутствует какое-либо общее положение, рассматривающее это понятие. Предположительно проблема параллелизма между планами играет в глоссематике важную роль, хотя и при определенных условиях.

В первую очередь возможный параллелизм или различие между содержанием и выражением в той степени, в какой это касается узуса (субстанции), не может быть

предметом основной глоссематической доктрины, поскольку глоссематика рассматривает узус с точки зрения схемы (формы). Что касается формы, или, точнее, формы содержания и формы выражения, то здесь необходимо учитывать основное положение глоссематики, состоящее в том, что план содержания и план выражения *не обязательно* соответствуют друг другу: одно-однозначное соответствие между элементами (функтивами) одного плана и элементами (функтивами) другого плана не имеет места (ср. PTL, p. 72). Если в действительности описание обоих планов приводит к выявлению структур, между которыми устанавливается одно-однозначное соответствие, то это не означает формального оправдания независимой трактовки обоих планов, так что в соответствии с принципом простоты следует рассматривать лишь один план (одну структуру). Тем не менее глоссематика настаивает на различении содержания (формы содержания) и выражения (формы выражения), которые характеризуют данный язык и входят в определение языка (и семиотик вообще) как явления, отличные от несемiotических систем. Отсюда следует, что если данная доктрина исходит из изоморфизма между формой содержания и формой выражения, то она явно «не-глоссематична».

Однако по той же самой причине, в соответствии с которой сопоставление планов с учетом возможного наличия одно-однозначного соответствия существенно для выявления данной структуры (или структур) как структуры языковой, эти планы следует рассматривать изолированно в течение всего процесса анализа, *причем* сам анализ должен, в применении к обоим планам, основываться на одних и тех же принципах и иметь целью установление параллелизма между структурами обоих планов. Такой вывод можно рассматривать в качестве некоторой доктрины изоморфизма, если у кого-либо возникнет желание разработать подобную доктрину для глоссематики. Но, как было показано выше, речь идет всего лишь об одном следствии, проистекающем из различения выражения и содержания. Однако очевидно, что если глоссематическая теория используется для описания эмпирического языка, то есть если теория не представляет собой независимой дедуктивной системы, то приведенное выше заключение, как и вся теория в целом, превращается в гипотезу относительно специфических методов анализа и определения того явления,

которое обычно имеют в виду, когда говорят о «языке». С этой точки зрения утверждение о том, что «план выражения и план содержания могут быть исчерпывающе и непротиворечиво описаны как совершенно аналогичные по своей структуре, так что можно предвидеть идентично определяемые категории в обоих планах» (PTL, p. 37; русск. перев. «Новое в лингвистике», вып. I, стр. 318), должно рассматриваться как эвристический методологический принцип (ср. замечания Р. Уэллза [3, 561—562] о природе изоморфизма).

Серьезным возражением в этой связи может служить утверждение *Базелля* о том, что в данном случае, «как и вообще в глоссематике, употребление терминов плана содержания не совпадает с употреблением терминов плана выражения» [26, 135]. Таким образом, дело здесь заключается не только в терминологии, но и в использовании одних и тех же методов анализа в применении к обоим планам. Анализируя известное положение, он пишет: «Например, в плане выражения такие коммутации, как англ. bild «строю» и bilt «строил», используются для доказательства коммутативных отношений в spild spilt «пролил», несмотря на то, что различие между элементами этой последней пары в плане содержания отсутствует... С другой стороны, элементы плана содержания «heavy» — «тяжелый» и «dark» — «темный», различию которых соответствует различие в плане выражения, не могут быть использованы для доказательства существования различия между парами «light» — «легкий» = «unheavy» — «не тяжелый» и «light» — «светлый» = «undark» — «не темный». Он связывает, далее, эту разницу в трактовке обоих планов с той ролью, которую играет различие между одновременностью и последовательностью в анализе плана выражения, противопоставленном анализу плана содержания, то есть с различием между субстанциями обоих планов.

Несомненно, различие между субстанцией выражения и субстанцией содержания оказывает влияние на результат эмпирического анализа и описания, однако это не дискредитирует принципа, в соответствии с которым одна и та же аналитическая методика применяется к исследованию обоих планов. Действительно, лишь на этой основе оказывается возможной характеристика обеих субстанций, рассмотренных с точки зрения формы, как взаиморазли-

чающихся явлений (ср. выше). Что же касается примеров *Базелля*, то здесь нужен еще и специальный комментарий: нет доказательств того, что элементы d-t в *spild-spilt* находятся в отношениях коммутации, поскольку эти слова на уровне содержания не различаются. Вопрос о том, следует ли рассматривать употребление *spild-spilt* как реализацию различных единиц плана выражения (причем таких единиц, каждая из которых может быть связана с соответствующей единицей плана содержания), относится к проблеме *генерализации*; изучение же данной системы в целом необходимо для выяснения того, в каком случае генерализация органична. Иными словами, вопрос сводится к тому, являются ли соответствия *light* = «*up-heavy*» и *light* = «*up-dark*» разными единицами плана содержания (причем таким единицами, каждая из которых может быть связана с соответствующей единицей плана выражения).

10. Анализ плана содержания. Специальный, неоднократно обсуждавшийся вопрос проблемы аналогичного анализа обоих планов сводится к вопросу о том, возможен ли анализ плана содержания на уровне, более низком, чем знаковый.

В соответствии с глоссематической процедурой уже на первой стадии анализа текст подразделяется на план (или линию) выражения и план (или линию) содержания. Не существует стадий анализа, на которых минимальные знаки или другие единицы, определяемые в терминах знаков, например слова (ср. «Пролегомены», определение 61; русск. перев. «Новое в лингвистике», вып. 1, стр. 386), рассматривались бы как элементы или как единицы, которые можно разложить на элементы. Анализ, цель которого состоит в выявлении языковой схемы, не может быть анализом (минимальных) знаков, поскольку считается, что данная единица плана выражения связана с данной единицей плана содержания, и наоборот. Тем не менее различие между знаком и не-знаком является в определенном отношении основным в глоссематической теории языка, как уже подчеркивалось в предыдущих разделах работы: именно на основе функции знаков осуществляется идентификация содержания (формы содержания) и выражения (формы выражения) как *лингвистических* форм, причем выявление фигур, или «таких не-знаков, которые

входят в знаковую систему как части знаков» (PTL, p. 29)), в обоих планах существенно при установлении различия между языками (и вообще семиотическими системами) и символическими системами. Ибо до тех пор, пока единицы выражения, выявленные на основе анализа плана выражения, остаются вместе с тем знаками выражения и находят индивидуальные соответствия в плане содержания (и наоборот), оба плана могут быть в конечном итоге сведены к одному. Однако как при анализе выражения, так и при анализе содержания наступает, наконец, такой момент, когда единицы, подлежащие дальнейшему анализу, то есть делению на части, и обладающие одной и той же функцией, рассматриваются как единицы знакового выражения или, соответственно, как единицы знакового содержания, тогда как части, полученные в результате дальнейшего деления, располагаются ниже уровня знаков и не находят индивидуальных соответствий в противостоящем плане анализируемого текста. Эти не-знаки, фигуры, могут вновь стать объектом анализа, проводимого на основе тех же методов, какие применялись при исследовании предыдущих стадий. В результате выявляются единицы, также представляющие собой не-знаки, то есть фигуры. Например (в английском языке), фигурами являются как слоги, так и фонемы.

Вследствие того что фигуры существуют в обоих планах, ни один из них не может быть описан на основе взаимного одно-однозначного соответствия, а это значит, что объект анализа относится к сфере языка, противостоящего символическим системам.

Различие между единицами знакового выражения и фигурами, существующее в плане содержания, не являлось поводом для специальной дискуссии, тогда как соответствующее различие в плане содержания неоднократно критиковалось как иррелевантное. Высказанные в этой связи критические замечания можно свести к следующим положениям: 1) на уровне содержания фигуры отсутствуют; 2) на уровне содержания фигуры логически возможны, но тривиальны (во всяком случае, за пределами описания содержания морфем-флексий типа лат. *-ibus*); 3) на уровне содержания объективная констатация существования фигур невозможна (за пределами указанной сферы).

Предположение об отсутствии фигур на уровне содержания может быть связано с абсолютным отрицанием

уровня содержания как составной части языка; но в данном случае речь идет не об этом. Необходимо установить, действительно ли элементы, располагающиеся ниже знакового уровня, могут служить объектом анализа плана содержания. Отрицательный ответ на этот вопрос дает, например, *Хользер Стен Сёренсен* [27, 44] (ср. также выше, положение 1): «...сомнительно, существует ли такая вещь, как фигура плана содержания. Ельмслев, по-видимому, придерживается той точки зрения, что содержание знака «жеребец» можно разложить на фигуры содержания «лошадь» и «он» [см. PTL, 44] ... Однако трудно уяснить себе, почему содержание единицы «лошадь» должно именоваться фигурой содержания? Ведь содержание этой единицы соотносится с определенной единицей выражения: [лошат']. Столь же трудно уяснить себе, почему содержание единицы «он» должно называться фигурой содержания? Ведь содержание этой единицы соотносится с определенной фигурой выражения: [он]. Очевидно, на уровне содержания не существует единиц, которые не соотносились бы с определенными единицами плана выражения, другими словами, фигур содержания, по-видимому, не существует».

Однако ничто не препятствует отождествлению фигур содержания с (минимальными) знаками содержания (речь идет о субстанции содержания), а также рассмотрению этих элементов на уровне ниже знакового. Аналогичная ситуация имеет место и в отношении фигур выражения; ср., например, употребление гласных для выражения полноценных слов. В принципе (а в ряде языков, возможно, и в действительности) *любая* фонема может употребляться в качестве выражения некоторых минимальных знаков; ср. англ. *s*; во всяком случае, нельзя считать «монофонемные» способы выражения знаков каким-то исключительным явлением (как это полагает *Мартине* [11, 39—40]). Фонемы, как и прочие фигуры выражения, используются в качестве элементов, расположенных ниже знакового уровня, ибо две или более фонемы могут служить выражением некоторого минимального знака (например, англ. *so*), содержание которого нельзя описать на основе единиц содержания, связанных с данными фонемами (например, единицы содержания, связанные с *s* и *o*, в английском иррелевантны к содержанию единицы *so*). Ср. PTL, pp. 41—42.

Итак, если существование фигур содержания отрицается по той причине, что они могут быть противопоставлены определенным единицам содержания, то становится неясным, как можно обосновать существование фигур выражения. И наоборот, если фигуры выражения выявлены (например, в работах *С. Сёренсена*), то едва ли можно отрицать существование фигур содержания на более высоком уровне.

Луис Прието [28], отстаивая существование фигур содержания, указывает на их параллелизм в вышеуказанном смысле с фигурами выражения, однако в другой связи он отрицает мысль о параллелизме между обоими планами.

Эти замечания по поводу высказываний, отрицающих существование фигур содержания, можно отнести и ко второму пункту перечисленных выше положений, связанному с утверждением о тривиальности фигур содержания (предполагается, что каждая фигура содержания, за исключением некоторых флексий, идентифицируется с минимальным знаком содержания). Ибо несмотря на то, что инвентарь фигур содержания всего лишь повторяет инвентарь минимальных знаков содержания, взаимоотношение между фигурами и их отношение к единицам, в состав которых они входят, отличаются от отношений, которые наблюдаются между минимальными знаками содержания. Таким образом, выступая в качестве функтивов, фигуры содержания не являются тривиальными с точки зрения описания языка, или, говоря более скромно, в конечном итоге окажутся не тривиальными. И несмотря на то, что перспективы членения на фигуры содержания могут показаться чрезвычайно интересными, до сих пор предпринимались весьма робкие шаги в этом направлении, если не считать широких исследований морфем-флексий, проведенных *Иенсом Хольтом* [29], *Х. Кр. Сёренсеном* [21] и *Кнудом Тогби* [30 и 31].

Глоссематика весьма часто обращается к морфологии (в европейском смысле этого слова). О том, что глоссематики предпочитают исследования именно в этой области, свидетельствует большое количество статей на данную тему, включенных в ельмслевские *EL*. Важно отметить, что по глоссематической концепции морфемы представляют собой единицы содержания и что глоссематика не рассматривает синтаксис как дисциплину, отличную от морфологии. Различие между парадигматическими за-

висимостями (функциями системы) и синтагматическими зависимостями (функциями процесса, то есть текста) может в грубом приближении соответствовать нечетким различиям между морфологией и синтаксисом, хотя надо отметить, что различия, констатируемые глоссематикой, не являются специфическими различиями. На уровне морфем в целом анализ и описание морфемных различий основаны на использовании того же функционального аппарата, которым пользуются при анализе других различий, существующих на уровне содержания, а также при анализе единиц выражения.

С точки зрения истории это утверждение, вероятно, необходимо поставить с ног на голову, поскольку «традиционная концепция управления и согласования представляет собой исходную основу глоссематики» (Пауль Дидерихсен, RS, стр. 152). Действительно, исследования *Ельмслева* в области «теории морфем» [32] — это одна из наиболее ранних попыток изложения принципов глоссематики. Однако ни теорию, ни предлагаемое до сих пор ее применение нельзя рассматривать как нечто завершенное. В заключении к работе, представляющей собой попытку выявить категории морфем в датском языке на основе глоссематических принципов, *Дидерихсен* писал: «До тех пор пока не будут опубликованы части глоссематической теории, рассматривающие данные проблемы, пусть лишь в предварительном и незавершенном виде, морфологический анализ, основанный на глоссематических принципах, будет оставаться рискованной задачей, весьма неопределенной и плохо понимаемой» (RS, 1949, стр. 154). В последующий период теория глоссематического анализа применительно к морфологии разрабатывалась по мере обсуждения, а также в специальных статьях (ср. вышеупомянутые работы, а также некоторые статьи *Ельмслева*, включенные в EL), но, к сожалению, наиболее существенная часть полученных результатов представлена лишь в виде предварительных сообщений в связи с информацией о дискуссиях.

Возвращаясь к вопросу об анализе единиц содержания на уровне, более низком, чем знаковый, мы можем отметить, что в случаях, когда не затрагивалась морфология, этот вопрос подвергался всестороннему обсуждению (см. сообщения *Ельмслева* и *Р. Уэллза* в R8C). Однако, что уже было отмечено, в этом направлении были предприняты

лишь немногие исследования. Анализ ограниченного инвентаря корней был проделан Хольтом [33] и Г. Бехом [34]. Последний в одной из своих работ [35] осветил некоторые общие и частные вопросы, связанные с указанным анализом.

Практическое исследование фигур содержания не вызывает интереса, и поэтому разложение корней (или основ) на фигуры содержания не может быть проведено на объективной основе, то есть в данном случае мы должны придерживаться третьего из упомянутых выше положений. Естественным следствием этого явилось перемещение интереса в другие области. Подробно анализируя французский язык на основе принципов глоссематики [30], Тогби останавливается на уровне знаков плана содержания вне сферы морфем (на уровне же плана выражения анализ продолжается и заканчивается выявлением и определением фонем); это объясняется следующим: «Полностью принимая теоретические возможности предложенного анализа (то есть анализа ниже уровня знаков), я воздерживаюсь от его практического применения. Если расчленение знака типа *-us* на несколько флективных элементов в соответствии с их функцией и дистрибуцией вполне возможно, то доказательство того, что знак типа *cache* членится на несколько корней, весьма затруднительно, причем формальный анализ последнего может превратиться в субъективный семантический анализ» [30, 135].

Вопрос о том, можно ли производить расчленение на фигуры содержания на объективной основе, есть вопрос эмпирический, и, вероятно, дальнейшие исследования в этом направлении дадут на него частичный или полный ответ. Позволим себе еще пару замечаний. Во-первых, необходимо отметить, что анализ, предусмотренный глоссематикой, вовсе не является разновидностью исследования по общей семантике в смысле Лейбница (ср. Ельмслев R8C); это и не разновидность семантического описания отношений между внеязыковыми единицами и элементами языка. Фигуры содержания суть элементы *формы*, аналогичные формальным элементам плана выражения, и в качестве таковых они объективны в той же степени, как и другие элементы структуры.

Во-вторых, по всей вероятности, не лишено оснований предположение, что объективный анализ фигур выражения (то есть фонем) на материале речевого потока любого языка

рассматривался бы в качестве рискованного предприятия; однако искусство письма и классификация индивидуальных речевых навыков на ограниченное число «языков» давно доказали не только осуществимость подобных проектов, но и способствовали их осуществлению. Здесь возникает следующий важный вопрос: является ли структура неотъемлемым свойством материала или она накладывается на материал. Но для всякого структурного подхода — это проблема более или менее общая (ср., например, замечания Ч. Хоккетта [36, 98—99] и З. Хэрриса [37, 149—151] и здесь же ответ Хоккетту), и рассмотрение ее с точки зрения глоссематики может завести нас слишком далеко. Однако рассмотренное — не в связи со структурной природой — подлинное коммуникативное функционирование языка, используемого группой людей, доказывает (или, если угодно, представляет другой аспект того же факта), что оба языковых плана обладают объективной природой; более того, если мы будем рассматривать множество отношений между знаками (включая словокорни) с учетом их содержания, отношений, действительно представляющих собой существенную часть любого одноязычного словаря, то мы придем к выводу, что объективность едва ли ограничена уровнем знаков. Трудность в выявлении фигур содержания едва ли обусловлена отсутствием объективных отношений; скорее всего она обусловлена избытком таких отношений.

11. Письменная и устная формы языка. Поскольку природа субстанции, в которой происходит манифестация языковой формы (формы содержания и формы выражения), иррелевантна определению языка (как явления, противостоящего не-семиотикам), «письменные» языки (письменные формы языка) равнозначны «устным» языкам (устным формам языка). И поскольку принципы анализа и описания схемы не зависят от субстанции (то есть от различия между субстанцией содержания и субстанцией выражения; ср. разд. 9), то письменный текст может и должен анализироваться тем же образом, что и устный текст («высказывание»). «Из графической манифестации языка мы в состоянии извлечь... тем же путем, что и из звуковой манифестации, инвентарь форм, определенных на основе их взаимных функций, которые могут быть представлены либо

в звуковой, либо в какой-либо иной удобной форме и о которых мы знаем, что в комбинациях, отмеченных нами, они достаточно четко выражают сущность языка» (Х. И. Ульдалль [38, 13]; ср. PTL, pp. 66—67). Мысль о том, что письменный и устный тексты обладают с точки зрения языкового статуса одной и той же структурой, подтверждалась неоднократно (ср. критические замечания и ссылки в [9, гл. VI]; к этой работе могут быть присоединены более поздние, в особенности анализ этой проблемы у Косериу [13,5 и 8]). В ходе обсуждения обычно подчеркивалось, что письменная форма языка является вторичной по отношению к его устной форме не только с точки зрения развития языка, но и потому, что описание системы письменной формы языка лишь в том случае может быть адекватным, если оно основывается на описании соответствующей устной формы. Другими словами, язык (текст), представленный графической субстанцией выражения или какой-либо иной субстанцией, отличной от звуковой, рассматривается как производное от системы, первичная («естественная», «адекватная») субстанция которой является звуковой. Ср., например, определение Фрица Хинце [39, 98]: «...единственная адекватная субстанция языка: звуковая субстанция». (Возможно, имеет значение то обстоятельство, что в некоторых работах на эту тему слово «субстанция» всюду употребляется в значении глоссематической «субстанции выражения».)

Хотя подобные утверждения не обязательно должны являться истинами, проистекающими из ряда определенных «языка» и «естественности» («адекватности» и т. п.), они должны представлять собой суждения об отношениях между языками и экстралингвистическими явлениями, то есть об онтогенетических и/или филогенетических приобретениях языковых навыков (но к чему в таком случае следует отнести «естественную» тенденцию человека, выражающуюся в развитии письма?), или о психическом механизме, обуславливающем процесс письма и чтения как противопоставленный процессу говорения и слушания (в качестве таковых они весьма уязвимы, если учитывать результаты гештальт-психологии). Как бы то ни было, если бы мы стали последовательно придерживаться такого взгляда на описание и анализ языковых явлений, то лингвистика зашла бы в тупик. Правда, в определенных случаях лингвист имеет возможность анализировать ма-

териал, воспринимаемый им на слух (услышанный непосредственно от говорящего или же записанный на магнитофонную ленту), который, таким образом, он может записать сам. Однако во всех остальных случаях лингвист зависит от уже записанного материала, причем иногда он может иметь дело с чрезвычайно детализированной стандартной фонетической записью, выполненной специалистом, а иногда может оказаться перед необходимостью пользоваться обычной графической записью. В последнем случае, включающем использование всего материала, зафиксированного в эпоху, предшествующую изобретению транскрипции и механической звукозаписи, зависимость от материала будет полной.

Таким образом, в большинстве случаев описания языков представляют собой реконструкции (не в диахронном смысле, хотя сюда может быть отнесен и этот случай), выполненные на основе письменного текста. В принципе не приходится возражать против такого вида описаний, если только проводится четкое разграничение между тем, что выявляется непосредственно на основе эмпирического материала, и тем, что реконструируется. Чтобы последовательно придерживаться указанного разграничения, необходимо изучить структуру письменной формы языка, а также общие и специфические связи между письменной и разговорной формами языков там, где это возможно (то есть главным образом на материале живых языков). На это положение обратил внимание *Пауль Дидерихсен*, который и рассмотрел его в подробном обзоре анализа письменной формы датского языка, проведенного им на основе принципов глоссематики [40].

Поскольку манифестация реконструируемого языка может быть осуществлена лишь по воле тех, кто занимается его реконструкцией, гипотеза о его специфической природе может иметь место лишь в том случае, если подобного рода языки определяются как языки разговорные. Абсурдно полагать, что в этом случае мы в состоянии реконструировать звуковую субстанцию высказываний; звуковая субстанция, приписываемая реконструируемому языку, представляет собой набор постулируемых «усредненных» произносительных типов инвариантов (модуляций, фонем и т. д.), а возможно, и комбинаторных вариантов этих последних. Такие специфические случаи, как произношение индивидуальных вариантов или отдельных высказы-

ваний, при подобных условиях не поддаются реконструкции. Указанное положение вещей, имеющее место также и при генетической реконструкции (ср. [20, 171—172]), относится не только к письменной или устной формам языка, но и к связи между формой и субстанцией вообще.

Из сказанного следует, что лингвистическая теория и процесс анализа, эксплицитно применимые лишь к устному материалу, играют при структурном описании весьма ограниченную роль. Глоссематика не может ставить себе целью создание общей имманентной алгебры языка, если алгебра оказывается неприложимой к письменному тексту. С другой стороны, именно имманентная точка зрения делает возможным анализ письменных текстов на основе тех же принципов, которые применяются при анализе устного текста (высказываний), несмотря на различие субстанций этих текстов; следовательно, оказывается возможным и выявление отличных друг от друга, но сопоставимых структур.

Действительно, если можно показать, что структура, выявленная на основе эмпирического письменного текста, всегда имеет одно-однозначное соответствие со структурой эмпирического устного текста (или наоборот), то утверждение о том, что письменную форму языка можно интерпретировать на той же основе, что и устную, может быть отброшено как тривиальное. Как известно, такие одно-однозначные соответствия, которые могли бы быть получены на основе обычных текстов, редки, если они вообще возможны. Несоответствия существуют не только между инвентарем фонем и их структурными комбинаторными особенностями в противоположность инвентарю графем и их особенностям. Благодаря интонационным и акцентным различиям весь уровень выражения может обладать двумя различными структурами (ср. [40, 20]). Несоответствия, связанные с существованием омонимов и синонимов, могут обуславливать различия во флективных системах (современный французский язык может служить иллюстрацией этого процесса, хотя детальный структурный анализ устной формы языка сводит на нет некоторые кажущиеся различия, ср. [30]). Это может касаться и других частей структуры содержания. Причем становится ясно, что нет универсального пути к устранению таких различий между письменной и устной формами языка, даже если прибег-

нуть к анализу ранних стадий устной формы языка, как это обычно делается на основе письменных свидетельств.

При обсуждении проблемы соотношения письменной и устной форм языка часто затрагивается вопрос о том, можно ли сказать о данном языке, представленном письменными текстами (например, о письменной форме финского языка), что это «тот же язык», что и разговорный (устная форма). В этой связи ср. *Ульдалль* [38, 141]. Подобная точка зрения может рассматриваться как особый аспект структурной типологии, но не как принципиальное положение, связанное с вопросом об эквивалентности письменной и устной форм языка. Хотя в структурном плане языки трактуются как отличные друг от друга, поскольку установление одно-однозначных соответствий между данными структурами невозможно, структуры могут рассматриваться как отличающиеся друг от друга в определенной степени или, если угодно, как более или менее сходные друг с другом, в соответствии с чем в той или иной степени могут сопоставляться присущие им реляционные сети. На этой основе можно сказать, что письменная форма, например, финского языка весьма сходна с устной формой этого же языка, тогда как между письменными формами финского и шведского языков можно обнаружить гораздо меньше сходства. Для того чтобы измерить степень сходства (или различия), нет необходимости исходить из количества непарных связей, ибо определенная часть структурной сети может трактоваться как более существенная, чем другие части. В случае «соответствий» между письменными и устными формами языков сравнение между структурами содержания представляется релевантным, ибо они могут быть сходными в очень большой степени.

Анализ письменной формы языка может быть использован при анализе устной формы языка не только в качестве основы для реконструкции (ср. выше), но и при интерпретации различных теоретических и методологических проблем, затрагиваемых при анализе письменной и устной форм, однако более существенных для анализа письменной формы. В этом отношении характерно, например, субстанциональное сходство (сходство между формой букв, аналогичное сходству между качественными характеристиками фонем). В целом такой анализ плана выражения, проводимый без учета *звуковой* субстанции, помогает

понять ту роль, которую играют данные элементы субстанции в процессе этого анализа (ср. следующий раздел). «Чистый» графемный анализ был проведен на основе принципов глоссематики Дидерихсеном (ср. [40]) и автором настоящей работы [21].

12. Субстанция и анализ. Пожалуй, труднее всего при глоссематическом анализе определить, можно ли, и в какой степени, игнорировать субстанцию при проведении структурного описания эмпирического текста. Некоторые рецензенты работ по глоссематике и некоторые лингвисты-теоретики глоссематического направления обращали особое внимание на этот вопрос, или, вернее, комплекс вопросов: общая формулировка, подобная вышеприведенной, объединяет — или смешивает — проблемы различного рода. Это обстоятельство часто не учитывалось в ходе дискуссий, в результате чего высказывались категорические, но явно неудовлетворительные суждения вроде следующих: субстанция нерелевантна по отношению к анализу формы, или: глоссематическое описание зависит от субстанции в той же степени, что и другие языковедческие дисциплины.

Прежде всего следует учитывать, что языковая теория (в глоссематическом смысле) представляет собой чисто дедуктивную систему, в принципе независимую от приложений этой теории (ср. разд. 4). Система глоссематических функций вместе с другими предпосылками позволяет построить общее исчисление вероятностей. «Для этого общего исчисления неважно, осуществлена ли манифестация данного индивидуального структурного (языкового) типа, а важно лишь то, что подобная манифестация возможна, причем — *nota bene* — в любой субстанции. Таким образом, субстанция не является необходимой предпосылкой существования языковой формы, тогда как языковая форма является необходимой предпосылкой существования субстанции» ([PTL, 68]; ср. также [17. § 5]). Другими словами: зависимость между формой и субстанцией является односторонней, то есть относится к типу функций, называемых детерминациями (или, если употребить более специальный термин, селекциями).

Утверждение о существовании однонаправленной зависимости между формой и субстанцией иногда интерпре-

тировалось (даже в глоссематической литературе) как утверждение об эмпирических языках. В ходе дискуссии выяснилось, однако, что это утверждение представляет собой не что иное, как словесную формулировку алгебраической возможности, которая может получить однозначное выражение в символической записи [ср. 20, стр. 66 и сл., в особенности стр. 167—168]. Употребляя другую формулировку, можно сказать, что в общем исчислении возникает возможность оперировать схемой безотносительно к субстанции (узусу), в которой она манифестируется, но не наоборот, и тогда выяснится, что это утверждение, как и любое другое утверждение, используемое в дедуктивной системе (например, в математике), представляет собой простое следствие принятых посылок и определений. Вопрос о том, считать ли это утверждение важным или тривиальным, частично зависит от данной аксиоматической стратегии, частично от имеющегося запаса знаний и от убежденности читателя. Во всяком случае, однонаправленная зависимость между формой и субстанцией не является тривиальной по отношению к языковому описанию в целом и может служить доказательством при реконструкции языковой структуры (ср. предыдущий раздел).

Нет сомнения, что использование двусмысленных слов, вроде «зависит» или «определяет», при «разъяснении» глоссематических функций, то есть однонаправленной зависимости между формой и субстанцией, приводит к неправильному пониманию сущности упомянутого выше утверждения. Такие слова не только предполагают наличие причинных связей, но и употребляются различно в различных контекстах разными лицами, во всяком случае, по отношению к направленности однонаправленных связей («что от чего зависит») (ср. в этой связи «управление» — двусмысленный термин традиционной грамматики, о котором пишет Ельмслев в [32]). Говоря об отношениях между субстанцией и формой и упоминая использованную *Соссюром* аналогию с игрой в шахматы, в которой пешки могут быть заменены другими пешками, совершенно отличными от прежних как по форме, так и по (физической) субстанции, *Б. Сиртсема* замечает: «...имеются виды субстанции, которые не удовлетворяют определенным требованиям, а именно такие виды субстанции, которые не в состоянии служить показателями ценности данных единиц, отличающей их от других единиц. Так, вода никогда не сможет

удовлетворить шахматиста. Язык зависит от субстанции постольку, поскольку субстанция в состоянии служить языковой реализацией» [9,8]. Автор настоящей работы готов рассматривать невозможность существования шахматиста, использующего воду в качестве пешек, показательной для односторонней зависимости, однако он вовсе не склонен принимать за направление этой зависимости то, какое постулируется в последней части цитаты. Это и другие подобные противоречия, которые в действительности не вытекают из данной проблемы, но могут затруднить дискуссию, возможно, порождаются в результате использования двусмысленных слов (вроде упомянутых выше), выступающих в качестве специальных терминов.

В общем исчислении наличие субстанции, служащей для манифестации формы, представляет собой вероятность, которая может быть или может не быть реализованной. Если исчисление применяется при исследовании эмпирических языков, то субстанция (каждого из планов) действительно налицо, и, таким образом, предусмотренная вероятность оказывается реализованной. Это не затрагивает природы функциональных отношений между формой и субстанцией. Уязвима формулировка В. Хааса [41, 94]: «Форма солидарна субстанции, хотя некоторая определенная форма может сочетаться только с некоторой определенной субстанцией»; с одной стороны, она не учитывает возможного отсутствия субстанции, с другой же стороны, она имплицитно содержит положение о том, что некоторая данная субстанция может быть обнаружена и при отсутствии языковой формы, что может быть верным по отношению к «субстанции» лишь в том значении этого термина, которое полностью отличается от предыдущего значения (имеется в виду первая часть формулировки Хааса). Первая часть трактует «языковую субстанцию», тогда как вторая имеет в виду «содержание» (PTL, p. 31: «matière» [20, 174]). Лишь первое из указанных значений, а именно «языковая субстанция», учитывается в вопросе об эмпирическом анализе.

Наличие (языковой) субстанции в эмпирических языках не затрагивает функциональных отношений между формой и субстанцией, постулированных исчислением. Однако возможны следующие дополнительные соображения: какой тип отношений используется при описании ситуации, когда учитывается как форма, так и субстанция? Отношения

между формой и субстанцией как между единствами (классами как единствами) далее не могут быть прослежены, однако разумно принять положение о различных типах отношений, например между частями определенной формы выражения и определенной субстанции выражения (манифестацией). С этой точки зрения, то есть когда классы рассматриваются как множества, субстанция и форма могут находиться в иных взаимоотношениях, чем при рассмотрении классов в качестве единств.

При сравнении следует обращать внимание на то обстоятельство, что если знаковая функция (существующая между планом содержания и планом выражения — ср. выше, разд. 9) представляет собой солидарность, то отношения между классом (как множеством) специфических знаковых единиц содержания и классом (как множеством) специфических знаковых единиц выражения могут рассматриваться как произвольные (ср. [21, 73]).

При анализе эмпирического текста, проводимого в целях выявления языковой структуры на основе объективной и адекватной методики, подобные отношения между формой и субстанцией, очевидно, играют важную роль. По-видимому, широко распространено мнение о том, что «глоссематики» не учитывают этого обстоятельства и что, следовательно, формальная сущность процесса глоссематического анализа становится иллюзорной, поскольку условия наличия субстанции не поддаются контролю и наблюдению. В действительности же проблемы такого рода не рассматривались «глоссематиками» со времен первого изложения глоссематических концепций (ср. в этой связи замечания *Уайтфилда* по «истории науки» [42, 673]). В некоторых исследованиях, написанных на эту тему, например в работах *Эли Фишер-Ербенсен* (RS, стр. 214—234; [43], [44], [45]), эти проблемы трактовались как релевантные даже применительно к фонологическому анализу, основанному на других принципах.

С точки зрения формы (схемы), упомянутый тип отношений свойствен субстанции (узусу), к которой сюда по определению относится все, что оказывается за пределами схемы (и языковой релевантности). И здесь, по-видимому, обсуждение вновь наталкивается на препятствия, вызванные тем, что употребительными становятся второстепенные значения таких слов, как «субстанция» и «узус». Когда используют слово «субстанция», имеют целью

привлечь внимание к тем данным языковой субстанции, которые могут быть подвергнуты «физическому» описанию, то есть к звуковой стороне. Под «узусом» же подразумеваются условия появления соответствующих единиц (то есть данные частотности), причем в этом случае обычно избегают говорить о звуковой стороне, связанной с манифестацией определенной фонемы (определенной таксемы выражения), как об ее «узусе» — такая трактовка влечет за собой излишние интеллектуальные усилия. Слова «узус» и «языковая субстанция», будучи употребленными в качестве терминов глоссематической теории, являются синонимами, и, может быть, в этой связи следует упомянуть о том, что именно по этой причине описание узуса (ср. [42, 675]) включает описание фонетических явлений постольку, поскольку они оказываются предметом изучения лингвистики, а не только физики или других неязыковедческих дисциплин.

Природа языковой субстанции иррелевантна в том случае, когда она трактуется как нечто противопоставленное схеме (в функциональном исчислении); то же справедливо в отношении самих терминов. Однако при изучении той роли, которую играет субстанция при анализе эмпирических языков (текстов), представляется полезным проводить различие не только между субстанцией, соотношенной со специфической языковой формой, и субстанцией, не имеющей отношения к языковой форме («содержание» [PTL, 31—32]; см. выше), но и между типами отношений или условий в пределах специфической языковой субстанции. Качественная звуковая или графическая характеристика единиц выражения, например таксем выражения, манифестацией которых служат фонемы или графемы, может, будучи обозначенной каким-нибудь способом (например, посредством слова «облик»), противопоставляться *узусу* в смысле совокупности данных об употреблении, например, данной фонемы вместе с другими фонемами в определенных эмпирических знаковых единицах выражения. Звуки должны рассматриваться как единицы особой сферы, описание которой производится в артикуляторных, акустических или аудиметрических терминах (ср. [44]). Аналогичным образом субстанция содержания эмпирического языка может рассматриваться и описываться с различных точек зрения (ср. обсуждение этой проблемы в [20, стр. 175 и сл.]). Такие взаимоисключающие или дополнитель-

ные аспекты языковой субстанции не могут заблаговременно рассматриваться как аналогичным образом соотнесенные со схемой: известно, что анализ, проводимый в каком-то одном определенном аспекте, например анализ плана выражения, проводимый в артикуляторном фонетическом аспекте, может отличаться от анализа, проводимого в каком-либо другом аспекте, например в акустическом (ср. [44, стр. 613 и сл.]). Известны также различия между анализом, основанным на фонетических критериях, и анализом, основанным на морфологических критериях (они могут служить примером «узуса» в определенном выше смысле этого слова, если только они не являются непосредственно релевантными применительно к схеме), — ср. исследования автора настоящей работы, опубликованные в RS. Подробное исследование различных видов взаимноисключающих анализов, несомненно, будет способствовать дальнейшему разворачиванию дискуссии, посвященной той роли, которую играет субстанция в эмпирическом анализе.

Литература по проблемам субстанции и анализа затрагивает, в частности, два вопроса: во-первых, вопрос об идентификации фонетических вариантов и их сведений к инвариантам и, во-вторых, вопрос об определении фонемных категорий. Эти вопросы не всегда разграничиваются, а чаще всего они смешиваются, поскольку инварианты приобретают статус *структурных* элементов только в силу того, что принадлежат к структурно-определимой категории (например, к гласным или согласным); поэтому инварианты (фонемы) не могут быть выявлены на первом шаге. Однако, учитывая процессуальную сторону вопроса, не следует допускать смешения понятий редукции (идентификации) и определения: «От проблемы формальных и субстанциональных критериев следует тщательно отличать проблему формальных и субстанциональных определений... После того как установлены все *тождества* на основании критериев, которые могут быть только субстанциональными, предстоит решить вопрос о том, будет ли наилучшим определением, данное в чисто формальных терминах (см. *Базель*, [24, 128]). Хотя слово «формальный» в [24] значит не совсем то, что означает соответствующее слово в глоссематической терминологии, однако возможность формальных определений (фонемных) категорий выявляется тем же путем, что и у *Эли Фишер-Ерьенсен*: «Коммутация

и идентификация образуют базу для выявления категорий. Согласный не может рассматриваться как начальный или конечный до идентификации этих обоих вариантов. Однако после идентификации становится возможным определение категорий на чисто функциональной основе, и эта полностью формальная структура может быть перенесена в другую субстанцию без какого бы то ни было изменения в определениях. В заслугу глоссематики можно поставить то, что она подчеркнула эти возможности» [43, 12].

Как отмечалось *Э. Фишер-Ерьенсен* [43], к эмпирической сфере следует отнести вопрос о том, может ли в данном языке (в выявленном инвентаре) каждая отдельная фонема определяться как отличная от всех остальных, или же здесь приходится ограничиваться выявлением лишь небольшого количества широких категорий. Если описание не зависит от обстоятельств, которые могут рассматриваться как случайные по отношению к структуре, то, вероятно, формальный анализ может быть прекращен еще до того, как все индивидуальные фонемы окажутся определенными. Эта проблема случайных зияний или систематических лакун связана с субстанциональными условиями, относящимися к узусу (определение см. выше), но не с фонетической или графической стороной соответствующих единиц. Постольку поскольку индивидуальные фонемы не могут быть определены в терминах формальных категорий, в их определениях должно учитываться фонетическое качество. Это обстоятельство было особо подчеркнуто *Ельмслевом* в [10, 19], где он, стремясь избежать построения случайных категорий, предпочитает завершить формальный анализ плана выражения датского языка на той ступени, на которой гласные и согласные представлены в виде отдельных категорий.

13. Идентификация и коммутация. При сведении вариантов к меньшему числу единиц (редукция) или — что то же — при выявлении инвариантов ситуация по отношению к субстанции оказывается иной. Вопрос о критериях для редукции (или идентификации; однако это слово двусмысленно, ср. ниже) составляет органическую часть глоссематической теории, которая рассматривает «различительные оппозиции» в качестве исходных, но в которых этот

критерий формализован путем введения системы глоссематических функций — точнее, парадигматических функций коммутации. Операция, связанная с применением этого формализованного критерия, известна под названием коммутативного теста. В своей работе «о коммутативном тесте и его применении в фонологическом анализе» [45] Э. Фишер-Ерьенсен подчеркивает, что этот термин оказался удачным. Мимоходом можно отметить, что другие элементы глоссематической терминологии были подвергнуты резкой критике (ср. особенно [41, 105—110]) и что терминология эта часто изменялась (то же относится и к настоящей работе). Однако поскольку слово «коммутация» является общеупотребительным, то в качестве специального термина следовало бы употреблять другое обозначение, например «пермутация» (ср. [46, 63]; следует, впрочем, учесть, что «пермутация» в глоссематической терминологии обозначает иную функцию, а именно синтагматическую функцию, аналогичную коммутации).

Функция «коммутации» является чисто формальной, и поэтому коммутативный тест может применяться к чисто формальным единицам. Этот факт очевиден; он вытекает, например, из следующей предварительной формулировки [45, 141]: «две единицы находятся в отношениях коммутации, если их взаимозамена в одной и той же парадигме (окружении) приводит к изменениям на другом уровне языка» (определение в точных терминах приводится в «Прологоменах»). Однако коммутативные тесты могут применяться и для анализа эмпирических языков (текстов), в которых варианты языковой субстанции иногда рассматриваются как единицы (единица, подлежащая замене, и единица, ее заменяющая). Инварианты, полученные в результате применения (с соблюдением всех правил) теста к данному тексту, могут классифицироваться как структурные инварианты, если они находятся во взаимоотношениях, определяемых иерархией структурных функций. Важно отметить, что коммутативный тест может быть использован для исследования вариантов на любой стадии анализа, исходящего из текста как из единства. Это значит, что элементы субстанции учитываются в процессе анализа не как последнее спасительное средство, а как объективная и безусловная основа взаимной редукции вариантов на любой стадии («на любом протяжении»). «Мы говорим... что коммутация, представляющая собой... корреляцию (ко-

тора) связывает реляцию с корреляцией противоположного плана) и, в более общем виде, корреляции между вариантами, которые на любой стадии анализа любого плана делают возможной идентификацию элементов, составляет ту область, в которой приходит на помощь субстанция (если таковая существует)» [20, 171].

Роль, какую играет субстанция в коммутативных тестах и во взаимной редукции единиц, относящихся к различным парадигмам (см. ниже), исследовалась самым тщательным образом. Результаты этого анализа сводятся к следующему: во-первых, коммутативный тест не зависит от природы субстанции; этот тест одинаково успешно может быть применен как к единицам содержания, так и к фонетическим или графическим единицам; во-вторых, субстанция (например, фонетическое качество) единиц, подлежащих замене, не нуждается в сравнении с субстанцией единиц, их заменяющих. Не имеет значения, являются ли единицы более или менее сходными по своей субстанции; необходимо лишь, чтобы были различными их «облики» (в том смысле, как это было пояснено в разд. 12); в-третьих, свойства субстанции другого уровня релевантны лишь в той же самой либо в меньшей степени: природа изменений, которые могут происходить на другом уровне, не является релевантной, так что вопрос о степенях изменения не стоит (предполагается, что анализируемый текст достаточно велик; ср. [45, 141—142]). Более того, поскольку изменений внутри формы (схемы) достаточно, наличие субстанции в другом плане необязательно.

Таким образом, коммутативный тест делает возможной редукции вариантов, которые встречаются в одном и том же окружении (относятся к одной и той же парадигме); что же касается субстанции, то здесь учитывается лишь существование различия между единицами (вариантами), которое в действительности, видимо, входит органической частью в определение варианта.

Однако редукция на основе коммутативных тестов предполагает, что данные знаковые единицы выражения (речь идет об анализе выражения) представляют собой «минимальные пары», обладающие релевантностью, так что отпадает необходимость в интерпретации их в качестве минимальных пар *эмпирических знаковых единиц* выражения, например слов (ср. в этой связи обсуждение данной проблемы в [45, 146—148]). В этом смысле сведение вариантов

к инвариантам, как и определение категорий инвариантов (ср. разд. 12), зависит от неструктурных условий употребления единиц, то есть от узуса в том специфическом значении этого слова, о котором шла речь в предыдущем разделе.

Как было сказано, в определенных условиях коммутативный тест имплицитно подразумевает использование субстанции, например если предполагается, что перед нами *одна и та же* парадигма (окружение): «...утверждение о том, что *p* и *t* в *rip* и *tin* соответственно находятся в отношениях коммутации, предполагает идентификацию сегментов *ip* в *rip* и *ip* в *tin*» [43, 12]. Однако такая идентификация по своей природе отличается, например, от идентификации предвокального *t* с поствокальным *t* и не влечет за собой утверждения о фонетической близости между *ip* в *rip* и *ip* в *tin*. Слову «идентификация» в обычном употреблении придается два различных смысла: 1. Описание *A* и *B* как не отличающихся друг от друга при трактовке (в другой связи) возможных различий между *A* и *B*, которые являются иррелевантными. 2. Сопоставление *A* с *B*, а не с *C* или *D* и т. д., где *B*, *C* и т. д. (но не *A*) в другой связи рассматриваются как эквивалентные; то есть как относящиеся к одной и той же «парадигме».

Идентификация *-ip* в *tin* с *-ip* в *rip* относится сюда же. В результате сопоставления частей *t*- и *p*-сегмент *-ip* рассматривается фактически как инвариант (разумеется, не как инвариант фонемы) (ср. недавнюю работу *Eli Fischer-Jørgensen*, [45, 146]). Может показаться, что эти рассуждения ведут к порочному кругу, поскольку с точки зрения здравого смысла *-ip* нельзя рассматривать как инвариант до тех пор, пока не определены в качестве инвариантов (фонем) *i* и *p*, — именно до этого пункта и следует продолжить анализ с использованием коммутативного теста. Однако эта трудность не является принципиальной и может быть разрешена на основе метода, который в других областях носит название метода последовательной аппроксимации (или, если угодно, обратной связи). Аналогичная ситуация возникает при сведении вариантов к инвариантам на базе дополнительной дистрибуции, если окружения, подлежащие анализу, рассматриваются как данные (ср. работу автора настоящей статьи в [R8C, 159—162]). Поскольку на основе применения коммутативного теста возможно последовательное, исчерпы-

вающее и несложное выявление инвариантов, проводимое с учетом всех правил, постольку нет необходимости в обращении к субстанции (за исключением тех случаев, о которых говорилось выше).

Последовательное сведение выявленных в предварительном порядке инвариантов, относящихся к различным парадигмам (например, начального *t* и конечного *t* к единой фонеме *t*), представляет, однако, пример идентификации в последнем смысле (см. разд. 2) и предполагает обращение к субстанциональным критериям более специфического свойства, чем обычно используемые в подобных случаях. «...Чтобы недвусмысленно указать на то, какие именно звуки, употребляемые в одних и тех же окружениях, должны рассматриваться как относящиеся к одной и той же фонеме, необходимо прибегнуть к понятию фонетического сходства¹. С чисто функциональной точки зрения для объединения начального [t-] в *tip* с конечным [-t] в *bit* и начального [l-] в *lip* с конечным [-l] в *bill* как членов одной и той же фонемы не больше оснований, чем для объединения [t-] с [-l] и [-t] с [l-]; но существуют причины фонетического порядка, заставляющие производить объединение фонем первого типа. Если принимается во внимание фонетическое сходство, то всегда можно прийти к однозначному заключению, в связи с чем описание на фонетическом уровне оказывается более простым» [44, 611] (о последнем замечании см. ниже).

Необходимо, однако, помнить следующее: во-первых, такой идентификации не подвергается каждый начальный (или конечный) согласный в отдельности — она производится путем сопоставления выявленных инвентарей начальных согласных с выявленными инвентарями конечных согласных; ср. часто приводимый пример из (устной формы) датского языка, где начальное *d* сопоставляется в фонологическом отношении с конечным *ð*, а начальное *t* — с конечным *d* в целях осуществления более полного сравнения инвентарей; во-вторых, такая идентификация, являясь составной частью глоссематического анализа, ведется *на основе* простых фонетических (или графических) данных,

¹ Доводы функционального порядка также могут быть использованы для доказательства, однако обычно это имеет место лишь в очень ограниченном числе случаев; ср. E. Fischer-Jørgensen, TCLC, 5, 1949, p. 214(= RS, 214).

а не потому, что эти данные просты, то есть при такой идентификации применяется общий принцип простоты (ср. замечания, приводимые ниже), или, употребляя более специальную терминологию, она производится в целях сокращения общего инвентаря инвариантов. Критерии (фонетической) простоты учитываются как основания для выбора между такими возможностями специфических идентификаций, которые остаются открытыми благодаря этому принципу редукции (а также благодаря функциональным условиям, которые являются релевантными в данном случае).

Мы все еще не упомянули о процессе редукции в связи с трактовкой сочетаний согласных, именно — как сочетаний, то есть как комбинаций фонем или графем, а не как особых единиц (отдельных фонем). Разложение сочетания *bl-* на *b.l*, а не *k.g*, например, производится путем сопоставления, как и идентификация начальных и конечных согласных, однако функциональные условия, видимо, играют здесь более значительную роль. Разъединение таких скоплений может быть с необходимостью связано со структурной функцией между согласными, то есть с селекцией между классами как множествами (ср. [21, 157 и сл.]).

Таким образом, субстанция играет мотивирующую роль при выборе между возможностями, являющимися эквивалентными с точки зрения имманентной структуры. В той степени, в какой решение является мотивированным, любое определенное описание эмпирического текста предполагает связь с субстанцией, или точнее — критерии, принимаемые в расчет в связи с данной специфической субстанцией. Как известно, «фонетическая простота» едва ли может рассматриваться как существенная качественная особенность фонетической субстанции, но, видимо, она представляет собой довольно удобный критерий, на который оказала значительное влияние языковая форма.

До тех пор пока критерии, возникающие при определенном способе описания, остаются однозначными, их роль продолжает представлять чисто теоретический интерес. Однако на деле субстанциональные связи порождают множество критериев (ср. предыдущий раздел), которые могут послужить основой для различных способов описания. Спорным является вопрос о том, должен ли выбор критериев мотивироваться *описанием субстанции*, другими

словами: можно ли выделить на основании принципа «имманентной простоты» одно из нескольких альтернативных описаний структуры (схемы эмпирического языка, которые отличаются друг от друга различными наборами субстанциональных критериев), или же необходимо обращаться к нескольким описаниям субстанции и выбирать в зависимости от обстоятельств либо то из альтернативных описаний, которое, например, делает возможным простое сопоставление формальных единиц и фонетической субстанции, либо то описание, которое позволяет проще сформулировать морфонологические закономерности.

Таким образом, оказывается, что природа глоссематического принципа простоты становится центральной проблемой в дальнейшем исследовании, касающемся роли субстанции в применении имманентной алгебры к эмпирическим текстам. «Трудно уяснить себе, как алгебра может стать объектом пристального внимания, если она совершенно не соответствует возможностям ее применения. И прежде чем принимать такое несоответствие, надо попытаться определить, действительно ли «принцип простоты» в состоянии выдержать ту нагрузку, которую ему приписывают» (*F. J. Whitfield*, [42, 674]).

14. Другие вопросы и перспективы. Совокупность глоссематических принципов исследования языка может быть использована не только для диахронического описания схемы и манифестирующей ее субстанции в изолированном эмпирическом языке. В настоящей работе мы коснулись вопроса об использовании глоссематической теории в изучении лингвистической типологии и генетической реконструкции. В литературе проблема синхронии и диахронии часто упоминается в связи с глоссематикой, однако обычно глоссематическая теория не связывается с другими структурными направлениями, по отношению к которым данная проблема также является релевантной. Важно отметить, что глоссематическая теория нейтральна по отношению к различию между синхронным и диахронным описанием. Время не входит в состав предпосылок алгебры глоссематики; оно даже не фигурирует в качестве вводящего в заблуждение понятия «одновременности», которое составляет часть предпосылок определенного структур-

ного подхода. Если алгебра используется при изучении некоторой хронологически определенной стадии данного эмпирического языка, то описание, которое явится результатом такого приложения, будет, разумеется, описанием синхронным. Тем не менее глоссематические функции, определенные гипотетическим образом, а также глоссематические различия между системой и процессом в принципе применимы не только к исследованию процесса, называемого языковым текстом, но и при исследовании других явлений, рассматриваемых как процесс. К таким явлениям относятся изменения, происходящие во времени, однако концепция времени, релевантная (в качестве «станции») применительно к имманентному описанию языковых изменений, не может трактоваться а priori как тождественная физической или биологической концепции времени. Нельзя, например, с уверенностью утверждать, что «лингвистическое время» характеризуется односторонней направленностью, то есть что некоторые изменения, безусловно, необратимы (ср. учение о «прогессе в языке»). Для того чтобы исследовать, с имманентной точки зрения, эпистемологические и методологические проблемы диахронного описания, необходима длительная работа.

Другой вопрос, который рассматривался и обсуждался в литературе, правда в меньшей степени, чем вопросы, затронутые в предыдущих разделах, касается глоссематической теории метаязыков (точнее: метасемиотик и коннотативных семиотик; ср. PTL, стр. 73 и сл.). Эта теория релевантна не только применительно к тому статусу лингвистики, который связан с другими науками, но и непосредственно к описанию эмпирических текстов, поскольку такие коннотаторы, как различные стили, жаргоны, «языковые облики», связаны с денотативными аспектами эмпирических языков как содержаний коннотативной семиотики, план выражения которой обусловлен планом содержания и планом выражения денотативной семиотики (ср. PTL, стр. 73—76).

Применение глоссематических принципов к исследованию данного специфического стиля, например языка, используемого в названиях норвежских книг, было осуществлено Л. Флюдалем [47].

Интересных результатов можно ожидать от применения глоссематической теории метасемиотик (а также и

других разделов глоссематической алгебры и методологии) к исследованию проблем машинного перевода; ср. замечания *В. В. Иванова* в связи с этими перспективами [48, 13 и 16].

Различия между американским и английским направлениями структурализма часто объясняются различиями в тех непосредственных задачах, которые стоят перед этими направлениями. С одной стороны, существует необходимость описания неисследованного материала разнообразных «туземных» языков, доступных лишь слуху исследователя; с другой стороны, существует задача повторного анализа уже хорошо известных описанных языков, что связано, в частности, с проблемами генетической реконструкции (ср., например, замечания *Хаугена* [12, 251] и *Дидерихсена* [R8C, 40]). Само собой разумеется, различия в задачах обусловили различия в подходе к изучению языков, что не исключает возможностей того, что структурные направления иногда развиваются параллельными или даже идентичными путями. Не исключается и такая возможность, когда определенная методика начинает связываться с задачами, отличными от тех, которые ее породили.

В этой связи можно отметить, что глоссематические принципы и процедуры были использованы в ряде случаев при описании диалектов датского языка, хотя именно применение глоссематических методов анализа в датской диалектологии оспаривалось в наибольшей степени.

В то же время нельзя не признать, что в описании «свежего материала» глоссематическая методика используется весьма редко. Это не значит, что глоссематика до сих пор не привела к открытию новых фактов или новых знаний, ибо если не придерживаться некоторого наивного определения понятия «факт», то придется признать, что установления идентичности функциональных условий, например в области морфологии и в области фонологии, суть открытия фактов, обладающих притом той же самой природой, что и факты, полученные на основе анализа «свежего материала».

Ср., однако, в этой связи скептические выводы *А. Неринга* [49] и *Л. Л. Хаммериха* [50] (как и ответ *П. Дидерихсена* [51]) относительно того, способна ли глоссематическая теория привести к новому знанию.

По причине скудости «свежего материала» обсуждение глоссематических проблем часто превращалось в сплошное

топтание на одном месте. В связи с этим резонно задаться вопросом, не обусловлена ли такая ситуация определенными «имманентными» особенностями глоссематического направления. Две вещи заслуживают в этом отношении особого внимания. Как уже говорилось, глоссематическая теория в том виде, в каком она представлена в имеющихся публикациях, видимо, не соответствует реальным запросам различных отраслей знания; однако ее трудности едва ли обусловлены принципом, поскольку исчисление можно сделать более детальным на основе принятых посылок. Несомненно, опубликование различных результатов исследований и дискуссий (ср. разд. 10), которые пока что доступны читателю лишь в виде предварительных сообщений, сможет в значительной степени помочь решить поставленные запросы.

Вторая проблема, о которой следует упомянуть, — иного порядка. Стремление глоссематики к точности при установлении посылок, определений и процедуры исследования в значительной степени стимулировало интерес к этому специфическому подходу изучения языка. Однако в то же время требование эксплицитных формулировок, посылок и определений оказало парализующее действие на возможности действительного приложения теории, особенно приложения ее к исследованию «свежего материала». Ибо таким образом даже изучение весьма ограниченного объекта в принципе потребовало бы анализа гораздо более обширной области явлений. На практике эта проблема относится к области стратегии, однако во многих случаях, когда речь идет о несложных задачах, такого рода эксплицитные формулировки посылок и определений могут представляться излишне усложненными, и в результате мы сталкиваемся скорее с иллюстрацией теории, чем с ее приложением. Однако глоссематическая теория разрабатывалась не только для того, чтобы быть использованной при исследовании несложных объектов, — точная методика оказывалась необходимой, как только речь заходила о проблемах, разрешить которые даже последовательное и исчерпывающее описание было до этого не в состоянии, я не говорю уже о такой важной задаче, как разъяснение и координация эпистемологического и методологического фона хорошо известных и несложных явлений.

ЛИТЕРАТУРА

- EL = L. Hjelmslev, *Essais Linguistiques*, «Travaux du cercle linguistique de Copenhague» (TCLC), XII, Copenhague, 1959.
- PTL = L. Hjelmslev, *Prolegomena to a Theory of Language* (перевод Ф. Уайтфилда), *IJAL*, 7, Baltimore, 1953 (датский оригинал: «Omkring sprogteoriens grundlæggelse», København, 1943. [Русск. перев. «Новое в лингвистике», вып. I, 1960, стр. 264—389.]
- RS = *Recherches structurales*, 1949 (TCLC, V), Copenhague, 1949.
- R8C = *Reports for the 8th International Congress of Linguists*, Oslo, 1957 (также в: *Proceedings of the VIII Internat. Congress of Linguists*).
1. F. J. Whittfield, [рец. на:] *E. A. Llorach's Gramática estructural* (según la escuela de Copenhague y con especial atención a la lengua española), «Word», 9, 1953, pp. 279—280.
 2. А. С. Чи ко ба ва, Проблема языка как предмета языкознания, Москва, 1959.
 3. R. Wells, [рец. на:] RS, «Language», 27, 1951, pp. 554—570.
 4. E. Fischer-Jørgensen, *Danish Linguistic Activity 1940—1948*, «Lingua», II, 1949, pp. 95—109.
 5. K. Togeby, *Linguistics in Denmark 1940—1948. Symposium III*, 1949, pp. 226—237.
 6. A. Martinet, [рец. на:] *K. Togeby*, *Structure immanente de la langue française*, «Word» 9, 1953, pp. 78—82.
 7. M. S. Ruipérez [рец. на:] *K. Togeby*, *Mode, aspect et temps en espagnol*, «Word», 10, 1954, pp. 94—98.
 8. H. J. Uldall, *Outline of Glossematics I. A Study in the Methodology of the Humanities with Special Reference to Linguistics* (TCLC X¹), Copenhague, 1957.
 9. B. Sierstema, *A study of Glossematics*, The Hague, 1955.
 10. Louis Hjelmslev, *Grundtræk af det danske udtrykssystem med særligt henblik på stødet*. (Selskab for Nord. Filologi. Årsberetning for 1948, pp. 12—24).
 11. A. Martinet, *Au sujet des Fondements de la théorie linguistique de Louis Hjelmslev*, BSL, 42, fasc. I, Paris, 1946, pp. 19—42.
 12. E. Haugen, [рец. на:] PTL, *IJAL*, 20, 1954, стр. 247—251.
 13. E. Coseriu, *Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje*, Montevideo, 1954.
 14. P. L. Garvin, [рец. на:] PTL, «Language», 30, 1954, pp. 69—96.
 15. E. Haugen, *Directions in Modern Linguistics*, «Language», 27, 1951, pp. 211—222. [Русск. перев. «Новое в лингвистике», вып. I, 1960, стр. 244—263.]
 16. A. Juilland, [рец. на:] *A. Cohen*, *The Phonemics of English*, «Word», 10, 1954, pp. 106—109.
 17. L. Hjelmslev, *Langue et parole*, Cahiers F. de Saussure, 2, 1943, pp. 29—44 (также в E. L.).
 18. H. Sprang-Hanssen, *Recent Theories on the Nature of the Language Sign*. (TCLC IX), Copenhague, 1954.
 19. R. Carnap, *Logische Syntax der Sprache*, Wien, 1934.
 20. L. Hjelmslev, *La stratification du langage*, «Word», 10, 1954, pp. 163—188 (также в E. L.).

21. H. S p a n g - H a n s s e n, Probability and Structural Classification in Language Description, Copenhagen, 1959.
22. H. Chr. S ø r e n s e n, Aspect et temps en slave, Aarhus, 1949.
23. C. E. B a z e l l, Glossematics Definitions, «Studies by Members of the English Department, Istanbul University», vol. II.
24. C. E. B a z e l l, The Choice of Criteria in Structural Linguistics, «Word», 10, 1954, pp. 126—135.
25. E. F i s c h e r - J ø r g e n s e n, [рец. на:] L. H j e l m s l e v, PTL, «Nord. Tidsskr. for Tale og Stemme», VII, 1943, pp. 81—96.
26. C. E. B a z e l l, [рец. на:] K. T o g e b y, Structure immanente de la langue française, «Studies by Members of the English Departments, Istanbul Univ.», vol. II.
27. H. S. S ø r e n s e n, Word-classes in Modern English, Copenhagen, 1958.
28. L. J. P r i e t o, Figuras de la expresión y figuras del contenido (Estructuralismo e Historia, t. I, pp. 243—249).
29. J. H o l t, Etudes d'aspect, «Acta Jutlandica», XV, 2. Aarhus, 1943.
30. K. T o g e b y, Structure immanente de la langue française, TCLC, VI, Copenhagen, 1951.
31. K. T o g e b y, Mode, aspect et temps en espagnol, «Kgl. Danske Vid., Selsk., Hist.-filol. Meddel.», 34, 1, Kjøbenhavn, 1953.
32. L. H j e l m s l e v, Essai d'une théorie des morphèmes, «Actes du IV Congrès international de linguistes, 1936», Copenhagen, 1938 (также в EL).
33. J. H o l t, Rationel semantik (pleremik), «Acta Jutlandica», XVIII, 3, Arhus, 1946.
34. G. B e c h, Grundzüge der semantischen Entwicklungsgeschichte der hochdeutschen Modalverba («Kgl. Danske Vid. Selsk. Hist.-fil. Medd.», 32, 6), Kjøbenhavn, 1951.
35. G. B e c h, Zum Problem der Inhaltsanalyse, «Studia Neophilologica», XXVII, 1955, pp. 108—118.
36. Ch. F. H o c k e t t, [рец. на:] RS, IJAL, 18, 1952, pp. 86—99.
37. Z. H a r r i s, Distributional Structure, «Word», 10, 1954, pp. 146—162.
38. H. J. U l d a l l, Speech and Writing, «Acta Linguistica», IV, Copenhagen, 1944, pp. 11—16.
39. F. H i n t z e, Zum Verhältnis der sprachlichen «Form» zur «Substanz», «Studia Linguistica», III, Lund—Copenhagen, 1949, pp. 86—105.
40. P. D i d e r i c h s e n, Bidrag til en analyse af det danske skriftsprogs struktur (Selskab for Nord. Filologi. Årsberetning 1951—1952), Kjøbenhavn, 1953, pp. 7—22.
41. W. H a a s, Concerning Glossematics, «Archivum Linguisticum», VIII, pp. 93—110.
42. F. J. W h i t f i e l d, Linguistic Usage and Glossematic Analysis, «For Roman Jakobson», The Hague, 1956, pp. 670—675.
43. E. F i s c h e r - J ø r g e n s e n, On the Definition of Phoneme Categories on a Distributional Basis, «Acta Linguistica», VII, Copenhagen, 1952, pp. 8—39.

44. E. F i s c h e r - J ø r g e n s e n, The Phonetic Basis for Identification of Phonemic Elements, «Journ. Acoustical Soc. America», 24, 1952, pp. 611—617.
45. E. F i s c h e r - J ø r g e n s e n, The Commutation Test and Its Application to Phonemic Analysis, «For Roman Jakobson», The Hague, 1956, pp. 140—151.
46. P. G u i r a u d, La Grammaire, «Que sais-je», № 788, Paris, 1958.
47. L. F l y d a l, En språklig analyse av norske boktitler 1952, Bergen, 1954.
48. Материалы по машинному переводу. Сборник I, Ленинград, 1958.
49. A. N e h r i n g, [рец. на:] RS, «Word», 9, 1953, pp. 163—167.
50. L. L. H a m m e r i c h, Les glossématises danois et leurs méthodes, «Acta Philologica Scandinavica», 21, 1950, pp. 1—21.
51. P. D i d e r i c h s e n, M. Hammerich et ses méthodes, «Acta Philologica Scandinavica», 21, 1952, pp. 87—97.

Языковые универсалии

МЕМОРАНДУМ О ЯЗЫКОВЫХ УНИВЕРСАЛИЯХ

1. Введение

За бесконечным поражающим многообразием языков мира скрываются общие для всех них свойства. При всем безграничном несходстве оказывается, что языки созданы как бы по единому образцу. Хотя формально описаны лишь некоторые сходные свойства языков, лингвисты во многих случаях осознают их наличие и пользуются ими для описания новых языков. Этим, однако, далеко не исчерпывается сфера приложения языковых универсалий.

Языковые универсалии по своей природе являются обобщенными высказываниями о тех свойствах и тенденциях, которые присущи любому языку и разделяются всеми говорящими на этом языке. Поэтому они составляют самые общие законы лингвистики (и противопоставляются отдельным частным методикам или результатам конкретных исследований). Далее, поскольку язык представляет собой форму индивидуального поведения и одновременно форму общечеловеческой культуры, универсалии дают возможность установить связь с психологическими закономерностями (психолингвистика) и сформулировать выводы относительно человеческой культуры в целом (этнолингвистика).

Для того чтобы получить вполне надежные данные о языковых универсалиях, недостаточно, по нашему мнению, усилий отдельных исследователей. Поэтому приведенные в настоящем меморандуме примеры универсалий, основанные на знаниях отдельных авторов, должны все же рассматриваться *cum grano salis*, ибо, как бы глубоко эти знания ни были, они в принципе не могут быть исчерпывающими.

J. H. Greenberg, J. J. Jenkins, and C. E. Osgood. Memorandum concerning language universals. — «Universals of language», ed. by J. H. Greenberg. Cambridge, Mass., 1963.

Организация единого центра по сбору материалов, учитывающих большое, достаточно представительное количество языков, могла бы существенно способствовать установлению хорошо обоснованных универсалий и дальнейшему их изучению. В качестве первого шага предлагается, чтобы Комитет по лингвистике и психологии Совета по исследованиям в области общественных наук (Committee on Linguistics and Psychology of the Social Science Research Council) созвал рабочую конференцию по лингвистическим универсалиям. Настоящий меморандум, возникший как результат дискуссий, проведенных в Центре высших исследований в области наук о поведении (Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences) в 1958—1959 гг., призван способствовать организации такой конференции и наметить темы, которые на ней следовало бы обсудить.

2. Примеры универсалий

Прежде всего целесообразно, по-видимому, привести несколько примеров универсалий, показывающих объем и многообразие сходных черт между языковыми системами.

В первую очередь можно привести пример из фонологии. Фонема, или отдельная фонологическая единица, может рассматриваться как пучок элементов, называемых *признаками*. Например, в английском языке фонема /b/ характеризуется звонкостью, смычной артикуляцией (то есть имеет место полная смычка, противопоставленная различным типам фрикативных); фонема /b/ является ртовой, то есть не носовой. Другая английская фонема — /p/ — обладает теми же признаками, кроме звонкости. Вообще, та или иная конкретная фонема не имеет особых, только ей присущих признаков, и все множество фонем образуется различными сочетаниями одного и того же небольшого набора признаков. Чаще всего в комбинациях признаков наблюдается параллелизм или симметрия. Это заставляет исследователя строить определенные предположения относительно фонологической системы. Так, например, при исследовании одного до сих пор не изученного языка в Нигерии было обнаружено фонологическое противо-

поставление между двумя велярными смычными согласными /k/ и /k'/, первая из которых неглоттализованная, вторая — глоттализованная, а также между парой зубных /t/ и /t'/.

Поскольку, кроме этого, была обнаружена третья глухая смычная — /p/, то лингвист предположил, что, вероятно, существует и противопоставленная ей глоттализованная /p'/, хотя в обследованном до того момента материале (довольно значительном по объему) она не встретилась. Наконец, было установлено, что эта фонема действительно встречается — всего в нескольких словах.

Конечно, в данном случае результат мог и разочаровать исследователей, но они тем не менее продолжают выдвигать аналогичные гипотезы и считать, что в большинстве случаев их усилия бывают вознаграждены.

Описанная выше тенденция к симметрии в фонетической системе языка имеет, разумеется, психолингвистические предпосылки. Артикуляторные навыки говорящих, используемые для произнесения фонем, состоят из разнообразных сочетаний нескольких основных навыков, с помощью которых продуцируются различные признаки. Это проявляется, например, у ребенка в процессе овладения речью. В тот момент, когда ребенок, родным языком которого является английский, впервые начинает различать b и p как противопоставленные по звонкости — глухости, он одновременно проводит то же различие для d и t, g и k и для других подобных пар. Иначе говоря, он усваивает *различительный признак* «звонкость — глухость» как элементарный навык моторной дифференциации. Подобные явления имеют несомненное значение для теории обучения (learning theory) в психологии.

Не выходя за пределы фонологии, можно привести пример универсалии совсем иного рода. Как указывалось выше, фонему любого языка можно разложить на набор составляющих ее различительных признаков. Определенный интерес для лингвистики и большой интерес для психолингвистики представил бы анализ соотношения между числом различительных признаков, необходимых для порождения фонем данного языка, и числом действительно используемых различительных признаков. Максимально эффективный код (в теоре-

тико-информационном смысле) использовал бы в точности то число признаков, которое необходимо для различения инвентаря фонем данного языка; например, для различения 32 фонем английского языка достаточно было бы пяти двоичных признаков (25 возможных комбинаций позволяют различать 32 объекта). Однако, на самом деле, в английском используется девять двоичных признаков, и, следовательно, эффективность английского языка на фонологическом уровне равна примерно $\frac{5}{9}$, или 56%. Данные по ряду языков дают основания для общего вывода о том, что фонологическая эффективность любого языка колеблется примерно в пределах 50%. Изучение изменений во времени одного из языков (испанского) подтверждает это обобщение, поскольку было показано, что его эффективность для разных временных срезов колеблется около средней величины, равной 50%.

Представляется, что имеется ряд ограничений, действующих на любую фонологическую систему, заставляя ее удерживаться на определенном уровне эффективности. Если язык становится слишком неэффективным, то есть в нем наличествует большое количество признаков, не необходимых для различения фонем, можно пренебречь некоторыми из них и все-таки быть понятым. Предполагается, что такие ошибки появляются все чаще и чаще, и фонологическая система начинает изменяться в сторону упрощения.

С другой стороны, если система слишком эффективна, должны участиться ошибки в восприятии, что, как мы полагаем, заставляет говорящих вводить дополнительные различия с целью достижения ясности. Очевидно, что данная трактовка приводит к сложной статистической функции, которая, по-видимому, отражает универсальный характер динамики коммуникативного процесса.

3. Природа универсалий

Приведенные примеры показывают, что термин «универсалии» употребляется нами в довольно широком смысле. Мы не ограничиваемся утверждениями типа «во всех языках есть гласные», «во всех языках есть фонемы», «все фонологические системы могут быть пред-

ставлены в виде наборов различительных признаков» и т. п. Представляется важным включить в понятие универсалий такие общие законы или тенденции, которые осуществляются с высокой степенью вероятности для разных языков или для одного языка в процессе его существования во времени (ср., например, тенденцию к симметрии фонологических систем). Мы убеждены, что более широкое использование понятия «универсалия» будет весьма плодотворным с психолингвистической точки зрения. Все явления, встречающиеся в различных языках с частотой, выходящей за пределы случайности, могут представлять интерес для психологии.

Чтобы избежать недоразумений, связанных со столь широким пониманием термина «универсалия», укажем, какие типы универсалий следует различать с точки зрения их логической структуры и с точки зрения содержания.

4. Логическая структура универсалий

Со строго логической точки зрения универсалии можно определить как любые высказывания о языке, относящиеся ко всем языкам вообще, а именно высказывания вида « $(x) x \in L \supset \dots$ », то есть «для всех x , где x есть язык, имеет место...».

Эти высказывания делятся на несколько логических подтипов. Подобный анализ полезен тем, что он не только позволяет четко определить, что следует считать универсалией, но и тем, что существование разных подтипов выдвигает ряд новых задач. Ниже мы рассмотрим шесть типов универсалий. Первые три могут быть названы универсальными высказываниями о существовании (например, « X существует или не существует»), а последние три — статистическими универсалиями (например: « X (или некоторое значение X) более вероятно, чем Y (или некоторое другое значение X)»).

4. 1. Неограниченные универсалии

Сюда относятся такие универсальные свойства языков, которые не являются чисто дедуктивными — в том смысле, что некая знаковая система могла бы их не иметь, но мы тем не менее считали бы такую систему языком.

К таким универсалиям следовало бы причислять не только очевидные утверждения типа «во всех языках есть гласные», но и утверждения о количественных границах, например утверждение о том, что в любом языке число фонем лежит в интервале между 10 и 70, или о том, что в любом языке имеется минимум две гласные фонемы*. К этому же типу принадлежат универсальные высказывания об относительных частотах языковых единиц в словаре и в тексте.

4. 2. Импликационные универсалии

Такие универсалии всегда предполагают наличие связи между двумя языковыми явлениями. Утверждается, что если в языке имеет место некоторое явление (ф), то в нем есть и явление (ψ), хотя обратное не обязательно верно, то есть наличие (ψ) не имплицирует (ф). Так, если в языке есть двойственное число, то в нем есть и множественное число, но обратное не всегда верно. Такие отношения между предикатами мы выражаем с помощью стрелки: двойственное число → множественное число. Импликационные универсалии весьма многочисленны, в особенности на фонологическом уровне.

4. 3. Ограниченная эквивалентность

Сюда относятся взаимные импликации между неуниверсальными свойствами языка типа: если в языке есть некоторая неуниверсальная характеристика φ, то в нем есть также и ψ, и наоборот. Так, если в языке есть боковой кликс, в нем всегда есть и зубной кликс, и наоборот. К сожалению, в данном примере все языки, в которых представлены соответствующие явления, относятся к узкой группе языков Южной Африки, и таким образом эквивалентность выступает здесь как единичный случай. Эквивалентные отношения между более часто встречающимися логически не зависимыми характеристиками трудно обнаружить. Они представили бы большой интерес как показатели важнейших необходимых связей между различными свойствами конкретных языков.

* Более 70 фонем насчитывают в некоторых языках абхазо-адыгской группы: ср. убыхский (85 фонем), а также некоторые абхазские диалекты, например бзыбский (81 фонема). Языками всего с одной гласной фонемой считаются иногда аранта и абазинский. Разумеется, подобные подсчеты в большой степени определяются методом описания. — *Прим. ред.*

4. 4. Статистические универсалии

К таким универсалиям относятся утверждения типа: для любого языка свойство ϕ более вероятно, чем некоторое другое (часто свойство «не- ϕ »). Предельный случай — так называемые «почти универсалии» (near universals): например, среди языков мира носовые согласные отсутствуют только в индейском языке килеут и нескольких соседних с ним салишских языках. Отсюда можно сделать вывод, что вообще вероятность того, что в языке есть хотя бы одна носовая (ϕ), больше (в данном случае — много больше), чем вероятность отсутствия носовых (не ϕ). Это утверждение может быть распространено и на случаи с более чем одной альтернативой. Например, вероятности каждого из трех способов словоизменения — суффиксации, префиксации и инфиксации — существенно различны (мы как раз привели здесь эти термины в последовательности, соответствующей уменьшению их вероятностей). Здесь нет взаимоисключающих альтернатив, поскольку в одном языке могут быть и префиксы и суффиксы.

4. 5. Статистические корреляции

Различие между этим типом и предыдущим в известном смысле параллельно различию между импликационными универсалиями и неограниченными универсалиями. Нас и в данном случае интересуют *отношения* между несколькими свойствами. Статистической корреляцией называется универсальное высказывание вида: если в языке есть некоторое явление (ϕ), то вероятность того, что в нем есть явление (ψ), значительно больше, чем вероятность обратного события. Приведем следующий пример. В языке, где есть различие по роду во втором лице единственного числа, имеется также различие по роду в третьем лице единственного числа, но обратное не обязательно. Если бы это утверждение было всегда верно, то мы имели бы импликацию: второе лицо единственного числа с различием по роду \rightarrow третье лицо единственного числа с различием по роду. Однако имеется несколько языков в Центральной Нигерии с различием по роду во втором лице при отсутствии различия в третьем. Правда, эти языки еще недостаточно изучены. Если указанные

исключения действительно существуют, то мы имеем следующее корреляционное отношение: если в языке есть различие по роду во втором лице единственного числа, то более вероятно (а в нашем примере — намного более), что в нем есть также различие по роду и в третьем лице единственного числа.

4. 6. Универсальные законы распределения

Существуют некоторые количественные оценки, как, например, упомянутая выше избыточность (в теоретико-информационном смысле), которые могут быть получены для любого языка. Возможно, что при условии достаточности выборки такие оценки будут иметь определенные средние значения и средние квадратичные отклонения. Средние значения, средние квадратичные и другие статистические параметры таких распределений также могут рассматриваться как универсалии.

5. Структура универсалий с точки зрения их содержания

Второе основание классификации универсалий, которое приводит к подразделениям, пересекающимся с полученными при классификации по логической структуре, — это языковой уровень. В зависимости от того, в терминах какого языкового уровня сформулирована универсалия, мы получаем четыре основных типа универсалий — фонологические, грамматические, семантические и символические. При такой классификации первые три типа затрагивают или форму независимо от значения, или значение независимо от формы, тогда как последний (имеется в виду фонемный символизм) предполагает связь формы и значения. Например, статистически универсальное высказывание о носовых — это фонологическая универсалия, не связанная со значением тех лингвистических форм, где встречаются или не встречаются носовые. Грамматическое утверждение о том, что суффиксация — более частое явление, чем инфиксация, не зависит от фонемного состава суффиксов. Точно так же и семантическая универсалия, состоящая в том, что во всех языках есть метафорические значения, не связана с тем, что эти значения выражены соответствующими фо-

немами или формами. С другой стороны, статистическая символическая универсалия типа «можно с высокой степенью вероятности утверждать, что слово, обозначающее понятие 'мать', содержит носовую согласную», касается и звуковой формы и значения.

6. Сфера действия универсалий

Все примеры универсалий, приведенные до сих пор в данном меморандуме, рассматривались в плане синхронии; высказывались утверждения об универсальных языковых закономерностях, наблюдаемых в фиксированном состоянии языка, а не в процессе его изменения. Определение универсалий и их деление на фонологические, грамматические, семантические и символические проводилось с точки зрения синхронии. Однако мы считаем крайне важным распространить исследование универсалий и на область диахронии. Было бы нецелесообразно исключать явления диахронии из рассмотрения, несмотря на то, что между синхроническими и диахроническими универсалиями имеется существенное различие, поскольку последние имеют важные психолингвистические предпосылки. С общелингвистической точки зрения некоторые универсалии легче интерпретировать как результат динамических процессов, например семантическую метафору — как результат метафорических семантических изменений; существующие во всех (или почти во всех) языках вариантные формы значимых языковых единиц (например, морфофонологические чередования) — как результат диахронического процесса закономерно обусловленных звуковых изменений. С психологической точки зрения эти универсалии интересны тем, что они помогают нам выделить явления, доступные экспериментальному изучению (например, наблюдаемая в истории языка неустойчивость плавных и носовых выдвигает интересные проблемы в области артикуляции и слухового восприятия, связанные с моторными навыками и особенностями восприятия вообще).

Диахронические универсалии имеют существенные особенности с точки зрения упомянутых выше оснований классификации. Начать с того, что, хотя и имеются важные универсальные гипотезы о языковых изменениях типа «все языки изменяются» или «скорость распада ос-

новного словаря постоянна во времени», конкретные диахронические универсалии носят вероятностный характер. Мы никогда не можем с уверенностью сказать, что какие-то конкретные изменения несомненно произойдут. Это подтверждается различием в изменениях, осуществившихся в родственных языках. Далее, логическое деление, предложенное выше для описания синхронных универсалий, следует значительно видоизменить. Описывая синхронные универсалии, мы обычно утверждаем, что «для всякого x , если x есть язык (то есть одно синхронное состояние), имеет место...». Диахронические же универсалии формулируются с указанием на то, что имеют место два синхронных состояния, из которых одно есть историческое продолжение другого. Обычно считают, что оба состояния представляют собой один язык, за исключением случаев, когда расстояние во времени очень велико, как, например, для латинского и французского. Логическая структура диахронических универсалий такова: «Для всех x и всех y , где x есть более раннее, а y — позднейшее состояние того же языка...». Далее, для диахронических универсалий сохраняется деление на фонологические, грамматические и семантические, но символические универсалии исключаются, хотя языковые изменения и могут приводить к формам, более или менее сходным с теми универсальными звуковыми нормами, которые описываются символическими универсалиями. Очевидно, синхронические и диахронические универсалии взаимосвязаны. В самой общей форме эта взаимосвязь выражается в том, что не существует такого синхронного состояния, которое не являлось бы итогом каких-либо диахронических процессов (за исключением, быть может, *новообразований* типа искусственных и пиджин-языков), равно как и нет такого диахронического процесса, результатом которого оказалось бы синхронное состояние, не соответствующее универсальным закономерностям. Подчеркнем, что так же, как некоторые синхронические универсалии естественнее всего интерпретировать как итог общих для различных языков процессов, конкретные диахронические изменения не могут быть правильно поняты вне сетки синхронных отношений в языке, который подвергается изменению. В этом состоит основной вклад структурной лингвистики в теорию

языковых изменений. Диахронические универсалии имеют вероятностный характер именно потому, что одновременно с универсальной тенденцией к изменениям определенного типа действуют различные факторы, зависящие от языковой структуры, а структура каждого языка имеет свои, только ему присущие особенности.

Можно привести пример диахронического процесса, имеющего существенные психологические предпосылки. Такова встречающаяся в самых разных языках тенденция к озвончению глухой согласной в позиции между гласными*. Психологу известны экспериментальные данные о процессах *антиципации* (осуществление действия или его части до того момента, как оно должно было произойти) и *персеверации* (продолжение действия после того момента, когда оно должно было завершиться). Поэтому психолог ожидает, что соседствующие фонемы будут влиять друг на друга — общеизвестное явление обусловленной аллофонической вариации. Если согласная находится в интервокальном положении, то, исходя из факторов антиципации и персеверации, психолог может предсказать, что при этом должна наблюдаться сильная тенденция к озвончению согласной, поскольку и предшествующий, и последующий элементы произносятся при участии голоса. Психолог склонен рассматривать последовательность «гласная — глухая согласная — гласная» как «слабое место» в языке, которое более подвержено возможным изменениям, чем последовательность «согласная — гласная» или «гласная — согласная». Отсюда вытекают два следствия: во-первых, что в диахронии глухие согласные в интервокальном положении стремятся к озвончению, и, во-вторых, что (при прочих равных условиях) в синхронии в языке должно быть больше последовательностей «гласная — звонкая согласная — гласная», чем «гласная — глухая согласная — гласная». Проверка указанных положений требует от психолингвиста экспериментального изучения законов звуковой антиципации и персеверации.

* Необходимо заметить, что данная тенденция не является универсальной: в целом ряде языков наблюдается не озвончение, а, напротив, оглушение согласных в интервокальной позиции. Таковы некоторые иранские языки, дардские, бурушаски. — *Прим. ред.*

7. Взаимосвязь языковых универсалий

Исследование языковых универсалий имеет большое значение не только для смежных областей психолингвистики и собственно психологии; оно, кроме того, глубоко связано с выявлением закономерностей языкового аспекта человеческого поведения и потому столь важно для развития наук, связанных с изучением поведения. Изучение универсалий приводит к ряду эмпирических обобщений, касающихся языкового поведения, одни из них гипотетические, другие — окончательно установлены. Все это потенциальный материал для построения дедуктивной лингвистической теории. Некоторые из универсалий, быть может, большая часть, имеют чисто эмпирический характер, то есть на данном уровне наших знаний они не могут быть соотнесены с другими универсалиями и не выводимы из более общих законов. Например, хорошо известно, что в любом языке есть слог вида CV (согласный — гласный), независимо от того, какие еще типы слогов есть в этом языке, но это свойство не выводимо из каких-либо более общих закономерностей и поэтому несколько нестрого. Мы были бы крайне удивлены, если бы кто-нибудь открыл язык без такого типа слога, однако мы не можем обосновать, почему дело обстоит именно так.

Ясно, однако, что универсалии, относящиеся к одному и тому же языковому уровню, связаны между собой. Например, в области структуры слова имеют место следующие цепочки импликаций: $CCCV \rightarrow CCV \rightarrow CV$, где V всегда может следовать за несколькими C, и $VCCC \rightarrow VCC \rightarrow VC \rightarrow V$, где V может предшествовать последовательностям из C. Эти импликации выводимы из общего утверждения о том, что если в языке есть типы слога с последовательностью из n согласных, то в нем есть и типы слога с $n-1$ согласных (в соответствующих позициях — поствокальных или предвокальных), за исключением импликации $CV \rightarrow V$. Возможность получения указанных пяти импликаций дедуктивным путем (по-видимому, они верны и для более длинных последовательностей согласных) придает конкретным высказываниям особую определенность, которой не обладают чисто эмпирические универсалии.

Универсальные высказывания этого типа могут быть

названы собственно лингвистическими, поскольку они содержат предикаты того же типа, что и отдельные частные универсалии, которые должны быть объяснены из более общих универсалий. В других случаях мы имеем дело с экстралингвистическими дедуктивными построениями, как, например, в тех случаях, когда привлекаются психологические принципы, дающие возможность объяснить сущность лингвистического явления с более общих позиций, например в рамках общей науки о поведении, охватывающей также и поведение крысы в лабиринте. Эти более общие принципы необязательно должны быть чисто психологическими. Они могут быть универсалиями в области культуры и социальной психологии, как, например, престиж и сила одного языкового сообщества по сравнению с другим, рассматриваемые как универсальный фактор, объясняющий влияние одного языка на другой.

8. Насущные нужды

Нам представляется, что мы в полной мере раскрыли важность изучения языковых универсалий как для развивающейся психолингвистики, так и для самой лингвистики, если рассматривать ее как одну из областей науки, исследующей поведение человека. Мы указали также, что полученные результаты могут оказаться ценными и для других наук о поведении. Остается решить, следует ли предпринять какие-либо организационные меры, чтобы объединить усилия отдельных исследователей по развитию данной области науки. Прежде всего, надо выработать методологические основы для окончательной формулировки того, что нужно понимать под языковыми универсалиями. Ясно, что для разработки некоторых сложных проблем (например, проверки гипотез, касающихся семантических универсалий) необходимы исследования отдельных ученых по частным вопросам, требующие работы в полевых условиях (ср., например, Программу по сравнительной психолингвистике Юго-Западного университета [Southwest Project in Comparative Psycholinguistics]). Однако для многих типов универсалий — и прежде всего для синхронических, фонологических и грамматических — перекрестные ис-

следования в самых разных языках в значительной мере способствовали бы выявлению и проверке общности языковых универсалий. Отметим, например, что исчерпывающим материалом для установления универсалий в области звукового символизма может служить лишь подборка сведений о всех морфемах во всех языках мира.

Осуществление такой программы требует тщательно разработанного плана. Необходимо рассмотреть следующие вопросы: выбор областей для исследования, порядок отбора и регистрации данных, меры, обеспечивающие доступность полученных данных для всех ученых, которые в них заинтересованы, и, наконец, организационные и финансовые вопросы. Таким образом, целесообразно было бы созвать рабочую конференцию по языковым универсалиям, в которой приняли бы участие лингвисты, психологи и антропологи, занятые в этой области. Организация такой конференции могла бы быть возложена на Совет по исследованиям в области общественных наук, с тем чтобы одновременно были рассмотрены как теоретические проблемы, так и возможные организационные меры по реализации программы исследований типа описанной выше. Кроме решения организационных вопросов, такая конференция могла бы стимулировать творческую деятельность отдельных ученых в этой области.

*Джозеф Гринберг
Чарльз Осгуд
Джеймс Дженкинс*

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ УНИВЕРСАЛИИ ЯЗЫКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ?

1. Введение

В эволюции лингвистических взглядов на синхронические универсалии (см. Casagrande, 10.2)* можно выделить три этапа. На первом этапе — он непосредственно предшествовал современной лингвистике, и поэтому она обнаружила в нем так много недостатков — господствующей системой взглядов, видимо, был глоттоцентризм. Если в группе родственных языков обнаруживались общие свойства (а их поиск чаще всего диктовался нуждами орфографии, риторики или логики, но не собственно лингвистики), то с легкостью принималось, что эти свойства присущи языку как таковому. При таком чисто описательном подходе вопрос о языковых универсалиях не мог даже возникнуть: ведь в каком-то смысле любое явление языка считалось универсалией.

Для следующего этапа характерен крайний релятивизм. О каких бы языках ни шла речь, ничто не принималось на веру. Каждый исследователь старался избегать конкретных формулировок. Формулировки должны были быть как можно более формальными и отвлеченными, чтобы избежать предвзятого подхода и в каждом данном случае сделать возможным объективное изучение фактов. Быть может, без особого риска можно было утверждать, что во всех языках есть фонемы, морфемы и конструкции, но еще менее рискованно было понимать под этим только то, что любой язык можно рассматри-

H.M. Hoenigswald. Are there universals of linguistic change. — «Universals of language», ed. by J.H. Greenberg. Cambridge (Mass.), 1963.

вать как состоящий из высказываний, причем одни из них противопоставлены друг другу, а другие — нет. Подобные результаты позволяют заключить, что у всех рассматриваемых языков есть нечто общее, и тем самым по индукции мы можем вывести некоторые универсалии.

Нам представляется, что именно здесь возникает третий этап в трактовке синхронных универсалий. Возможно, что универсалии и можно было строить по индукции, взяв в качестве базиса какое-либо отвлеченное свойство. Но что будут представлять собой универсалии, обнаруженные таким методом? Существует глубокое убеждение, что универсалии — это не просто случайные совпадения, и, когда говорят об универсалиях, предполагают, что любой новый материал не будет противоречить соответствующему утверждению; иными словами, полагают, что универсалии могут образовывать своего рода замкнутую систему.

Сказанное выше, разумеется, не новость для участников настоящей конференции. Перейдем теперь к описанию эволюции взглядов на диахронические универсалии. Прежде всего, мы должны подчеркнуть, что темпы эволюции этих взглядов были совсем другими. Правда, и здесь наблюдались все те же три этапа, но, как неоднократно отмечалось, историческая лингвистика XIX в. еще на первом, дорелятивистском, этапе все-таки уже далеко ушла от логики стоиков, грамматики Александрийской школы и «рациональной грамматики» (Пор-Руаяля). Это была молодая и готовая к завоеваниям наука, с плодотворными, хотя и несколько сырыми рабочими гипотезами. Идеи младограмматиков об общих (то есть универсальных) закономерностях языковых изменений опирались на самые тщательные исследования. Младограмматиков с первого взгляда гораздо труднее обвинить в глоттоцентризме, поэтому многие из их идей живы и поныне. Любой труд по историческому языкознанию содержит детально разработанные формулировки общих законов языковых изменений. Если бы сказанное выше нуждалось в доказательстве, то достаточно было бы напомнить о дихотомическом подходе к списанию звуковых явлений, который стал почти традиционным. Например, в «Исторической грамматике греческого языка» Швайзера¹ звуковые изменения рассма-

триваются в двух разделах — один из них озаглавлен «Общезыковые явления», другой посвящен более частным вопросам. Классическая работа Граммона «Traité de phonétique» (в которой, между прочим, можно видеть предвосхищение многих структурных работ) посвящена именно универсальным законам звуковых изменений. Лингвисты уже давно не сомневаются в существовании универсальных законов семантических изменений. Излюбленным утверждением является, в частности, тезис о том, что всегда и во всех языках существовали такие явления, как расширение или сужение значений, переход слова из одного лексического пласта в другой, более высокий или более низкий, образование метафор и метонимий.

Скрупулезность методики исследования в исторической лингвистике и обусловленная этим надежность результатов не требовали, казалось бы, пересмотра сложившихся в ней понятий. Это и послужило причиной того, что второй этап в диахронических исследованиях, не говоря уже о третьем, наступил так поздно. Мы только сейчас начинаем строить исходное множество основных формальных понятий: это отнюдь не таблица универсалий, а всего лишь некоторое простейшее построение из неразложимых далее элементов, задача которого — свести к минимуму число предположений о закономерностях языковых изменений, которые могут быть типичны для одних языков и нетипичны для других. Это позволит нам, идя от противного, раскрыть универсалии языковых изменений, если таковые действительно существуют. Я не хочу этим сказать, что теоретические построения, свойственные описанному выше периоду (а в них есть много ценного), не имеют значения вне его пределов. Как и всегда в истории науки, не стоит забывать о том значении, которое имеют достижения данного хронологического периода для последующих стадий развития науки. И все же справедливо будет сказать, что возможности установления общих законов в диахронической лингвистике сильно ограничены теми факторами, которые были упомянуты выше.

Даже при попытке сделать простейшие обобщения мы сталкиваемся со значительными трудностями, что говорит о слабых местах в основаниях самой науки. Представляется, например, разумным утверждать, что все

языки изменяются. Однако что в точности означает это утверждение? Его нельзя понимать в том смысле, что если существует некоторый идиолект *i*, то по прошествии определенного времени нельзя будет обнаружить идиолект *i'*, для которого подходило бы описание, данное для идиолекта *i*. Ведь и среди одновременно существующих идиолектов нельзя найти два разных идиолекта, для которых одно и то же описание было бы в равной мере удовлетворительным. Быть может, утверждение «все языки изменяются» означает, что спустя длительное время нельзя обнаружить идиолект *i'*, который был бы похож на *i* в том, допустим, смысле, что носители каждого из них понимали бы друг друга, но при этом можно обнаружить несколько идиолектов, представляющих собой последовательный ряд переходных форм, связывающих *i* и *i'*. Чтобы сделать более конкретные утверждения, надо уметь устанавливать для любых двух форм существования языка (одна из которых отстоит от нас во времени более, чем другая) отношения «предшествование — следование», а в случае, когда различие во времени менее значительно, нужно уметь установить их принадлежность к разным периодам существования «одного и того же» языка. Только в этом случае мы можем констатировать, что имело место языковое изменение. Нескончаемая полемика по этим вопросам показывает, что речь идет отнюдь не об игре абстрактными понятиями вокруг самоочевидных вещей. Сколько было сломано копий, чтобы доказать, что итальянский язык не является более поздней ступенью классической Цицероновой латыни или что среднеперсидский язык действительно восходит к староперсидскому. Интересно отметить, что решение таких вопросов зависит от применения так называемого метода сравнительной реконструкции. Как это ни парадоксально, преемственность между языками составляет особый вид языкового родства: для некоторых пар родственных языков применение метода реконструкции к одному из членов пары иногда приводит к тому, что реконструированный язык практически совпадает с другим членом пары. В таком случае этот последний объявляется его предком (или представляющим более раннюю стадию развития второго члена пары). Из сравнения двух подобных языков делается вывод о наличии *языковых изменений*.

2. Языковые изменения

Языковые изменения являются всеобщим свойством в том смысле, что для всякого языка (исключение составляют, пожалуй, *сравнительно недавние* языковые образования типа языка иврит или стандартного норвежского языка *; все пиджин-языки как раз не являются исключением) можно указать несчетное число предшествующих состояний. Обратное, конечно, неверно, ибо языки исчезают. Все это тривиально.

В последние 10—20 лет был поставлен более конкретный вопрос — о скорости языковых изменений. Не стоит говорить о крайностях: естественно, что за длительный промежуток времени в языке всегда происходят значительные изменения, а за один день язык не изменяется. Разумно предположить, что в языке взаимодействуют две силы: одна из них всегда препятствует его изменению с целью сохранить возможность взаимопонимания между носителями языка, другая — более скрытая — действует в направлении изменения языка, и притом весьма ощутимым образом. Все это не следует представлять себе слишком упрощенно — это видно из известных экспериментов Чарми (Charme) и его последователя Херманна (Hermann). Они показали, что, когда молодое поколение становится старше и попадает в окружение более пожилых людей, оно охотно отказывается от языковых нововведений, которыми характеризовалась ранее его речь, и таким образом принимает соответствующий субдиалект почти в том же виде, в каком он прежде существовал.

Сейчас, когда удалось устранить часть трудностей, возникших при проведении подобных исследований, исследования эти необходимо продолжить. Так или иначе, Сводеш и его сотрудники поставили вопрос о том, не является ли отдаленным следствием указанного равновесия сил постоянная скорость языковых изменений, которую в таком случае следовало бы считать подлинной универсалией². Стоит заметить, что глоттохронология — это, преимущественно, лексикостатистика. Подсчету подлежит число замен в составе так называемого основного

* По-видимому, под норвежским языком (standard Norwegian) автор имеет в виду Landsmål. — *Прим. ред.*

словаря — роль этого фактора в общем процессе языковых изменений некоторым представляется весьма незначительной. Сказанное выше не следует рассматривать как критику глоттохронологии с противоположных позиций — напротив, мы считаем необходимым вначале изучить предмет хотя бы поверхностно, чтобы затем постичь его сущность. Быть может, явные и зачастую (но не всегда!) многочисленные случаи внезапных изменений в словаре резко сталкиваются с той тенденцией к сохранению взаимопонимания, которая регулирует процесс языковых изменений — если только последнее верно. Иначе говоря, близкая к постоянной скорость изменений — это характеристика, которая, видимо, более типична именно для изменений в словаре. Была высказана мысль, что если эта скорость и не является подлинной универсалией, то она по крайней мере постоянна в пределах некоторой группы родственных языков или данного языкового ареала. Отметим, наконец, что косвенным образом лексикостатистика по-новому освещает известное мнение о том, что письменная традиция сдерживает процесс языковых изменений. Конечно, само по себе это мнение не имеет оснований; однако в тех частных случаях, когда имеется письменная традиция, связывающая живой язык с его предком, и это дает возможность заимствовать слова непосредственно из памятников в неизменном виде, процесс изменений в словаре (мы говорим только об изменениях этого вида) действительно может замедляться. Ведь по крайней мере некоторые из таких «ученых» заимствований нельзя отличить от слов, вообще не подвергшихся изменениям. Таким образом, речь идет не о влиянии письменной традиции вообще, но о ее значении для итальянского языка или языка хинди в отличие от незначительного ее влияния на английский или японский языки.

Особая заслуга Сводеша состоит в том, что он подчеркнул различие между процессами замены и другими процессами в языке. Чтобы не потерять правильной ориентации, вернемся на некоторое время ко второму этапу поиска универсалий. Процесс языковых изменений можно условно представить себе как «перевод» текстов предшествующего периода существования языка на язык последующего периода³. (Представляется, что нет необходимости оговаривать, что под «текстами» подра-

зумеваются не литературные тексты или записи речи на пленку, а «замкнутая совокупность речевых произведений»). Нельзя ожидать, что *все* тексты более раннего периода имеют подобные «переводы», — и обратно: не всем текстам, принадлежащим к последующей стадии существования языка, можно поставить в соответствие тексты, относящиеся к предшествующей стадии. Это объясняется тем, что условия для появления определенных высказываний могли уже исчезнуть или, напротив, еще не появиться. Отсутствующий текст как бы незримо существует в языке, но нет стимула для его воспроизведения. Изменения, как говорится, происходят не в языке, а в мире. И действительно, мерой постоянства языка служат обстоятельства, изменяющие шансы появления стимулов для возникновения одних высказываний и исчезновения других. То, что верно для текста в целом, верно и для его компонентов. Вместе с устаревшими текстами отмирают и содержащиеся в них слова: так исчезли из английского языка слова, связанные со средневековой техникой и торговлей. С появлением новых текстов появляются и новые слова. Заимствования типа coffee 'кофе' и giraffe 'жираф' были когда-то неологизмами. Есть элементы и другого рода, о которых говорят, что они сохранились частично (точнее, в определенных условиях). Так, whelm 'шлем' сохранилось лишь в позиции после over- (overwhelm 'ошеломлять'); во всех других позициях оно исчезло вместе с текстами, в которых раньше употреблялось. В railsplitter 'кузнец, изготавливающий железные прутья для изгородей' слово gail 'железный прут' довольно старое, а railroad 'железная дорога' и rails held firm at closing 'рельсы не расходятся на стыках' — уже новые образования.

3. Модели замещения

Подлинное языковое изменение непременно приводит к *замещению*. Не имеет смысла вопрос о том, какое слово было заменено словом coffee или же какое слово современного языка заменило слово fuller 'сукновал'. Ясно, однако, что в соответствии с нашей гипотезой о квазипереводе замена староанглийского inwit на conscience как будто ничем не отличается от замены вчерашнего употребления слов coffee и conscience их сегод-

няшим употреблением. Существуют довольно веские причины для определенной расплывчатости границ между аморфным понятием о появлении одних слов и исчезновении других и понятием замещения. Однако разграничение этих понятий имеет фундаментальное значение для выработки единой теории языковых изменений. Если действительно речь идет о замещении — например, везде, где исчезает *inwit*, оно заменяется словом *conscience* — и если это замещение однозначное, то это и есть подлинное языковое изменение. Типичный пример процесса замещения представляют собой звуковые изменения. За сто лет существования научного описания языка мы вполне освоились с такими формулировками, как: общегерманское /d/ «переходит» (то есть замещается) в /t/ в современном немецком или: прото-алгонкинские /t/ и /θ/ «переходят» в /t/ в языке кри. Те элементы, которые исчезли из системы языка, не будучи замещены, или возникли в порядке замещения на месте исчезнувших, малозначительны.

Далеко не все равно, к чему относятся утверждения типа приведенных выше: к морфемам, фонемам, различительным признакам, конструкциям и т. п. сравниваемых языков или же к морфам, фонемам, упорядоченным последовательностям, нулевым элементам и проч., даже если эти последние могли бы соответствовать элементам или частям элементов типа перечисленных выше. Для элементов первого ряда наиболее важна сама модель замещения. Поскольку, например, общегерманское /d/ во всех случаях перешло в немецкое /t/ и поскольку единственным источником, к которому восходит немецкое /t/, является общегерманское /d/, то мы имеем здесь взаимно-однозначную замену, а это значит, что в определенном отношении⁴ в структуре не произошло изменений. Точно так же не претерпевает изменений и структура лексики, если *conscience* «совесть» появилось только там, где исчезло *inwit*⁵. Мы могли бы сказать, что данная фонема или морфема (или последовательность морфем, если слово состоит более чем из одной морфемы) остались на тех же местах с точки зрения сосюровской системы взаимно противопоставленных элементов и что изменился только их фонетический ($t > d$) или морфический состав (морф *conscience* при этом изменился весьма существенно). Однако не все замены

однозначны: существуют еще такие явления, как слияние и расщепление. Морфема множественного числа в современных индоевропейских языках соответствует и морфеме двойственного числа, и морфеме множественного числа праиндоевропейского. Испанское *tío* «дядя» и французское *oncle* заменили сразу две латинские морфемы, одна из которых означала «дядя со стороны матери», другая — «дядя со стороны отца». Мы уже говорили о том, что в языке кри и /θ/, и /t/ были заменены одной фонемой /t/. С другой стороны, такое латинское слово, как *hominem* «человека» (вин. п.) «переводится» в современном испанском в зависимости от контекста, то как *un hombre*, то как *el hombre*, то просто *hombre*. Другой пример: общегерманское /u/ в древнеанглийском выступает в одних окружениях в виде /y/, в других — в виде /u/.

Таковы примеры различных моделей замен в фонологии и морфологии. Для фонологии это привычный способ рассуждений, что касается морфологии, он тоже, пожалуй, не совсем непривычен. Например, часто говорят, что «понятие, выраженное словом *inwit*, позднее стало выражаться словом *conscience*», или что часть тела, которая в древнеанглийском обозначалась словом *wonge*, теперь обозначается словом *cheek* «щека». Но гораздо чаще встречается совсем иная трактовка этих изменений. В таком случае главное внимание уделяется эволюции морфов — последовательностей, характеризующихся прежде всего определенным фонемным обликом, а не тем, как они друг другу противопоставлены. Рассматривается перемещение морфов внутри системы морфемных противопоставлений, которая сама может оставаться неизменной или претерпевать изменения в виде слияний и расщеплений. С такой общепринятой точки зрения *conscience* «совесть» считается «заимствованием». *Tío* «дядя» тоже рассматривается как заимствование, хотя модель замены здесь совсем иная, чем в случае с *conscience*. Слово *oncle*, которое по типу замены ничем не отличается от *tío*, объявляется случаем расширения, поскольку данный морф полностью совпадает (звуковые изменения на этом уровне не принимаются во внимание) с латинским морфом, входившим в одну из морфем (со значением «дядя с материнской стороны»), которые позднее слились в единую морфему со значением «дядя».

Морф *cheek* с этой точки зрения является примером семантического изменения: ранее он обозначал 'челюсть', а затем был заменен соответствующим морфом 'jaw'.

Учитывая сказанное выше, какова должна быть сущность всякой диахронической универсалии? Теоретически рассуждая, можно представить себе три типа универсалий. Во-первых, универсальными свойствами может обладать сам процесс замены⁶. Во-вторых, могут существовать универсальные свойства, позволяющие предсказывать характер структуры языка, образовавшегося в результате происшедших изменений. Эти прогнозы могут иметь либо более общий характер, в том смысле, что все языки изменяются примерно в одном и том же направлении, либо более частный — в том смысле, что данная результирующая структура может быть в той или иной мере предсказана по исходной структуре. В-третьих, можно сделать некоторые прогнозы относительно характера перемещений языковых элементов более низкого уровня — фонем и морфов⁷ — в позициях, где они способствуют неизменности языка, и в позициях, где они способствуют возникновению структурных инноваций.

Итак, рассмотрим вначале процесс замены как таковой. До сих пор мы исходили из того, что само понятие замены вполне пригодно. Конечно, как лингвистическое понятие оно типично для «второго этапа» эволюции учения о языковых универсалиях и настолько общо, что заслуживает названия «универсалии», вероятно, ничуть не более, чем положение о том, что ко всем языкам приложим синхронический фонологический анализ. Но есть и некоторые вполне очевидные доводы в его пользу. Прежде всего, существуют и довольно тщательно исследованы «законы» языковых изменений. Например, известно, что звуковые изменения — это прежде всего слияние фонем, и только во вторую очередь — расщепление. Так, две фонемы могут быть заменены одной без расщепления, но две фонемы не могут заменить одну без того, чтобы где-то не произошло слияния (мы отвлекаемся в данном случае от вопросов, связанных с заимствованиями и с «аллофоническими аналогиями»). Возможно, истинный характер процесса здесь не совсем ясен, но кажется очевидным, что огромное число слияний должно происходить вследствие взаимодействия в одном

и том же речевом сообществе всевозможных вариантов, противопоставленных не на фонологическом уровне⁸. Можно ожидать, что уже наличие самых минимальных различий будет способствовать появлению чего-то похожего на «тотальные заимствования», к которым добавляется «неверное толкование» диалектов, столь часто встречающееся при более явных ситуациях языкового заимствования. Так называемая регулярность звуковых изменений чаще всего прямо вытекает из общего для всех языков явления — неуловимой изменчивости процессов речевой деятельности. Проведенная недавно работа по сопоставлению многих языков мира дает основание полагать, что звуковые изменения — явление действительно регулярное в любом языке. Это означает, помимо всего прочего, что метод сравнительной реконструкции, основанный на этой регулярности, применим ко всем языкам. Пренебрежительное отношение к нарушениям этой регулярности, даже если его разделяют серьезные ученые, свидетельствует о наивности.

Было бы ошибочно думать (и, кроме того, мы были бы крайне ограничены в действиях при таких взглядах), что регулярный характер фонетических «законов», открытие которых так поражало ученых прошлых поколений, является таинственным свойством именно фонетических изменений. Наличие почти аналогичных морфологических изменений бросается в глаза настолько, что остается интересным лишь для тех, кто специально занимается вопросами взаимосвязи этих двух аналогичных явлений. В самом деле, как все /θ/ в алгонкинском переходят в /t/ в языке кри, так и *inwit* везде заменяется на *conscience*. Ту же аналогию можно проследить и для случая условной замены (расщепление): как /u/ перешло в /y/ только в тех окружениях, где следующий за /u/ слог начинался с /i/, так и *flesh* 'мясо, плоть' раннего периода современного английского языка было позднее заменено на омонимичный морф *flesh* в конструкциях типа *fleshwound* 'рана на теле' или *mortify the flesh* 'умерщвлять плоть', а во всех других случаях — на морф (и морфему) *meat* 'мясо'. Мы уже рассматривали определенные случаи несоответствий в подобных сравнениях⁹; я считаю, что существует теория, вполне удовлетворительно объясняющая все такие случаи, — и это будет скорее подтверждением, чем отрицанием нашей

аналогии. По мнению Леманна, механизм семантических изменений во многом сходен с тем механизмом, который, по нашему предположению, лежит в основе звуковых изменений¹⁰: семантические изменения — это преимущественно искажения, появляющиеся при заимствованиях из одного диалекта в другой и вытекающие из неправильного понимания [misunderstanding]. Мартине высмеял идею о том, что если изолировать какой-нибудь однородный язык, то он останется неизменным. Но поскольку ни однородных, ни изолированных языковых групп не существует, не так уж неразумно связывать универсальность изменений с наблюдаемой универсальностью синхронических дифференциаций и внешних влияний.

Здесь, видимо, необходимо коснуться учения о ступенчатом характере языковых изменений. Хорошо известно, что такие изменения имеют вначале бесконечно малое распространение, представляя собой неслучайные отклонения от некоторой нормы; затем сфера употребительности этих отклонений все расширяется («неощутимо», как любят обычно говорить) до тех пор, пока не достигнет некоторого предела. Возможно, подобный взгляд является отголоском лингвистических учений до-структуралистской эпохи. Сейчас мы предпочитаем представлять себе картину языковых изменений в виде последовательности дискретных шагов, причем одни из них весьма незначительны, а другие с точки зрения физических изменений равны нулю. (Например, в тех случаях, когда решающим становится новое, структурное толкование «одной и той же» физической сущности, аллофоны начинают противопоставляться друг другу, алломорфы типа *shade* и *shadow* 'тень' начинают принимать разные значения и т. д.) Поскольку эти дискретные шаги зависят от количества существующих в данном речевом сообществе вариантов (не противопоставленных по различительной функции), их должно быть немного. Возможно даже, что одновременно они должны затрагивать только один различительный признак (это тонко подметил В. Остин¹¹, изучая один специальный случай звуковых изменений). Если это — диахроническая универсалия, то она является следствием одной из синхронических универсалий, определяющих типологию диалектного распределения.

4. Конечная структура

Здесь мы подходим к рассмотрению диахронических универсалий с точки зрения того, что определенные структуры не всегда могут выступать в качестве результирующих. Типология изменений является в данном случае производной от типологии существующих состояний языка. Таким образом, установление дескриптивных универсалий — самое большое, что мы можем сделать в этой области. Обсудим вначале следующие два вопроса: «изменения по аналогии», которым приписывается способность к упорядочению, и принцип расширения условий для изменений.

В традиционном историческом языкознании звуковые изменения и так называемые изменения по аналогии часто рассматриваются, а иногда и прямо определяются как противоположные процессы (изменения по аналогии нельзя смешивать с фактором построений по аналогии, который присущ всем процессам изменения и который в какой-то степени связан с внутренним механизмом этих процессов, уже описанным здесь в общих чертах). Мы говорим, что (обусловленное) звуковое изменение порождает «неправильные парадигмы» или морфофонемы, а изменения по аналогии способствуют устранению морфофонемных чередований. Таким образом, получается — и это привычный подход, — что этим двум формам языковых изменений свойственна примерно одна и та же функция. Однако указанный подход к изменениям по аналогии является весьма неточным. Изменения по аналогии заключаются преимущественно в замене одного алломорфа другим в пределах одной морфемы; при этом как следствие возможны любые морфофонемные изменения. Когда, например, *shoen* ‘ботинки’ изменилось в *shoes*, алломорф *-en* перестал появляться еще в одной позиции и постепенно число его появлений свелось к минимуму (в *oxen* ‘волы’ и, возможно, в формах множественного числа нескольких других слов). В то же время алломорф *-z* стал употребляться в новом классе окружений, а именно, во всех случаях, когда после *shoe* следует морфема множественного числа. Было бы неверным утверждать, что при такой строго взаимосвязанной дистрибуции алломорфов в пределах одной морфемы одни алломорфы или группа алломорфов с неизбежностью зай-

мут господствующее положение по сравнению с другими, резко сократив тем самым число неправильных чередований и «выровняв» парадигму. Известно, что изменения по аналогии приводят к возникновению новых алломорфов (хотя, возможно, и не новых морфофонема) и к увеличению числа правильных (грамматически обусловленных) алломорфов за счет того, что сокращается число правильных, фонологически обусловленных алломорфов. Из окончаний множественного числа в английском языке наибольшее предпочтение отдается обычно окончаниям -s, -z, -iz. Однако множественное число недавно заимствованных названий рыб (например, muskellunge — название рыбы) выражается нулевым окончанием (ср. уже существующие в языке trout 'форель, форели', bass 'морской окунь, морские окуни' и, наконец, само слово fish 'рыба, рыбы'). С другой стороны, и звуковые изменения не всегда ведут к увеличению числа вариантов. Предположим, что данное звуковое изменение заключается в том, что сливаются две фонемы, которые раньше различались. Это упростит, а не усложнит морфофонемные закономерности. История известных языков пестрит примерами такого рода. Другими словами, и звуковые изменения, и изменения алломорфов по аналогии служат одной и той же цели — становлению структуры языка (эта фраза имеет телеологический уклон, которого трудно избежать на сегодняшнем уровне наших теоретических познаний). Создается впечатление, что языковая структура как бы заранее предопределяет конечную цель всех процессов, подчиняя себе действие всех языковых механизмов. Эти конечные цели вновь и вновь поражают нас — настолько они специфичны, настолько, видимо, присущи данному языковому ареалу и данному длительному периоду. Они — увы! — вовсе не выглядят универсалиями. Можно предположить, что древние индоевропейские языки, которые относятся к наиболее изученному периоду мировой истории, изменялись в направлении создания такого типа структуры, который, помимо прочих черт, характеризуется относительно небольшим числом алломорфов: можно представить дело так, что на достижение этой цели были специально направлены и изменения по аналогии, и значительное число слияний. К сказанному можно было бы кое-что добавить, но мы не рискуем делать утверждения с такой

же уверенностью, как Пауль и Стертевант, — у них на это были большие основания.

Гринберг и другие считают, что звуковым изменениям свойственна тенденция к непрерывному нарастанию¹². По их мнению, звуковые изменения могут вначале быть «спорадическими», затем стать фонологически обусловленными и, наконец, необусловленными. Прежде чем высказываться по поводу этого утверждения, я хотел бы, с вашего позволения, усилить его, проведя одну, как представляется, существенную параллель. Пример выбран на уровне морфем (и, к сожалению, опять из индоевропеистики). Одной из самых всеобъемлющих тенденций в истории индоевропейских языков (быть может, надо говорить о территориях, где распространены эти языки) является слияние двух форм неединственного числа (то есть двойственного и множественного) в одну. Различные морфы, в которых путем компонентного анализа можно выделить компоненты морфем двойственности и множественности, начинают дополнять друг друга тем или иным образом и обретают одно новое значение, вобравшее в себя оба старых (по привычке эту новую категорию называют множественным числом, как если бы она была синонимичной с прежним множественным, в которое не входило понятие «двойственное число»).

Но не все морфы такого рода сразу подчиняются указанному закону: в некоторых случаях противоположение двойственности и множественности держится значительно дольше. По аналогии с соответствующими (видимо, еще более простыми) процессами звуковых изменений мы должны были бы сказать, что возможности для слияния все расширяются, пока не становятся максимально благоприятными. В некоторых диалектах греческого языка форма двойственного числа у существительных сохранилась дольше, чем у глаголов. В классической латыни подобное явление наблюдалось еще раньше, а когда окончания двойственного числа уже совсем исчезли, еще сохранялось противопоставление форм 'который из двух' (*uter*) и 'который из многих' (*qui*). Явные следы двойственного числа есть и в современном английском языке (ср. сравнительную и превосходную степени, а также слова *either* и *neither* ('любой' и 'никакой' из двух) в противоположность *any* и *none* ('лю-

бой' и 'никакой' из многих)¹³). В некоторых индоевропейских языках не осталось никаких следов двойственного числа. Здесь мы, несомненно, имеем дело с очень важным законом, который действует только в одном направлении. Мы не можем предсказать, что все обусловленные изменения станут необусловленными или (как следовало бы ожидать) что они вызовут параллельные изменения, то есть будут все время уменьшать обусловленность определенного различительного признака, содержащегося в данной фонеме (или морфеме). Но, во всяком случае, есть все основания полагать, что любое необусловленное или почти необусловленное слияние имеет в своей истории подобные этапы.

Рассматривая звуковые изменения, мы легко можем сделать так называемый первый шаг*: от предполагаемой лексической «спорадичности» до фонемной, но все еще узкой, обусловленности. Так называемые «спорадические» звуковые изменения можно считать результатом диалектных заимствований. При благоприятных условиях это утверждение перестает быть чисто теоретическим построением и переходит в область доказуемых фактов, если есть данные о распределении диалектов в тот период времени, когда произошло соответствующее изменение.

Как мы уже пытались показать, переход от спорадических к систематическим изменениям, когда в роли изменяющейся единицы оказывается «фонема в данном окружении», то есть аллофон, есть не что иное, как переход от обычного избирательного заимствования к своего рода полному заимствованию, для осуществления которого в истории языка, видимо, имеются специфические благоприятные условия. Сущность дальнейшего уже не столь ясна. Почему аллофон, покинувший свое семейство, продолжает притягивать к себе былых родственников?¹⁴ Ответить на этот вопрос не так просто, хотя некоторые соображения все же можно привести. Так, можно предположить, что наряду с полными диалектными заимствованиями некоторые явные звуковые изменения на самом деле являются крайними проявлениями выравнивания по аналогии. Для различения этих про-

* Имеется в виду переход от анализа звуков к анализу фонем. — *Прим. ред.*

цессов мы располагаем весьма тонкими теоретическими критериями, но имеющиеся в нашем распоряжении фактические данные таковы, что в ряде случаев эти критерии неприменимы, отсюда и многочисленные неясности. Как только истинное обусловленное языковое изменение привело к фонематическому выделению определенного аллофона или группы аллофонов, созданы возможности для возникновения новой морфофонемы.

Теперь становится возможным дальнейшее выравнивание по аналогии. При некоторых условиях, которые я не буду сейчас уточнять, в результате подобных процессов «новый» компонент морфофонемы может попасть в такую позицию, что можно подумать, исходя из вида полученных морфов, что произошло новое фонетическое изменение.

Следующее рассуждение, пожалуй, имеет чисто априорный характер. Допустим, что имеет место первоначальное расщепление фонем, обусловленное в какой-то мере диалектными заимствованиями и затрагивающее, например, какой-либо особо уязвимый диафон. Результатом этого может быть структурно слабая, асимметричная, легко распадающаяся фонологическая система с тенденцией к изменению в ее слабых местах.

Обратное направление начального процесса (в обычных условиях вещь едва ли возможная) гораздо менее вероятно, поскольку фонема, возникшая в результате слияния, теперь, по-видимому, представляет собой наиболее устойчивый элемент выведенной из равновесия подсистемы, а это заставляет думать, что тенденция к изменению будет действовать в том же направлении с еще большей силой. Заметим, что мы снова очутились во власти синхронической типологии — возможно, в области синхронических универсалий, а скорее всего, в области частных типологических явлений. Рассмотрим теперь случаи, когда процесс расширения останавливается где-то посередине. В нескольких алгонкинских языках исчезли гласные в исходе слова; для других позиций это явление гораздо более редкое. В результате слова получают строго определенную каноническую форму¹⁵. Именно поэтому подобный процесс изменений не может распространяться сколь угодно далеко, захватывая гласные в любых других позициях, и, во всяком случае, он, видимо, не может привести к полному исчезновению глас-

ных: по имеющимся наблюдениям, это редкий и даже недостоверный тип структуры.

Здесь вновь возникает вопрос о том, не изменились ли в процессе своего существования сами структурные типы, доступные для синхронного изучения (мы рассматриваем их в данном случае как конечный продукт изменений)? Конечно, мы располагаем сведениями лишь о незначительном отрезке истории существования человечества, да и в пределах этого периода наша осведомленность чудовищно неравномерна. Имеющиеся данные едва ли дают основание считать, что бытовавшие когда-то идеи «языкового прогресса», если воспользоваться этим известным выражением, означают нечто большее чем повсеместное проявление этноцентризма и замены реальных фактов привычными представлениями. Тем, кто считает, что прогресс материальной культуры рано или поздно непременно находит свое выражение во всех языках мира, приходилось в своих доводах опираться исключительно на тот тип языкового изменения, при котором не происходит замещения, то есть на аморфное множество лексических инноваций или выпадений, которые приводят в восторг студентов-историков, но по существу не изменяют языка. Более сильные утверждения еще более сомнительны. В некоторых языковых ареалах можно наблюдать тенденцию перехода от так называемого синтетического строя к так называемому аналитическому строю. Однако существует и противоположная тенденция — и иногда ее можно наблюдать в пределах одной и той же языковой семьи или одного и того же ареала. Идея прогресса (или вырождения) индоевропейских языков, проявляющегося в переходе от флективных форм к аналитическим, от морфологии к синтаксису, от связанности элементов к их свободной сочетаемости, стала общим местом. Возможно, что именно поэтому не менее распространенное понятие «грамматикализации» не было выдвинуто в противовес данной идее (под «грамматикализацией» понимается потеря некоторыми морфемами, например в составе словосочетаний, собственного лексического значения и превращение их в «служебные» элементы). Однако явление грамматикализации в определенной степени способствовало созданию форм, напоминающих флективные новообразо-

вания (например, романские наречия на *-mente* от *mente* 'данным способом', оскско-умбрские формы локатива, слившиеся с энклитическими наречиями и превратившиеся в падежную парадигму, и т. д.). Я не хочу сказать, что подобное противопоставление тенденции к аналитизму и грамматикализации было бы достаточно обоснованным, но оно было бы ничуть не хуже прочих известных попыток объяснить факты лингвистической истории человека.

Гринберг, Осгуд и Сапорта полагают, что при прочих равных условиях «чем реже некоторая фонема встречается в речи, тем больше шансов, что она сольется с другой фонемой»¹⁶. Что они имеют в виду? Оставляя в стороне вопрос о необходимости подтвердить эту точку зрения фактами, хотелось бы понять, следует ли отсюда, что имеют место только процессы, приводящие к исчезновению «редких фонем», или, кроме того, существуют еще и какие-то процессы, порождающие новые редкие фонемы. (Другие обобщения, приведенные в том же списке, не исключают возможности существования последних.) Если имеется в виду наличие лишь процессов первого типа, то пришлось бы заключить, что на протяжении всей своей истории человечество последовательно придерживалось принципа унификации, по крайней мере в области звуковой структуры. Не означает ли это, что мы должны экстраполировать процесс [то есть отнести его] в прошлое, к филогенетической стадии лепетания, и в будущее, вплоть до резкого сокращения существующих типов языковых ареалов? П. Фридрих напоминает нам, что в этом случае многие поразительные аномальные явления, обнаруженные современными типологами (возьмем, например, южноафриканские кликсы), могли бы быть интерпретированы как пережиточные — но не в терминах микроистории с ее взаимно компенсирующей путаницей по принципу *plus-ça-change-plus-c'est-la-même-chose*, а как подлинные реликты на фоне всеобщей эволюции.

5. История отдельных морфов и т. д.

Обратимся теперь к самой микроистории. Конечно, и здесь происходят те же процессы, которые рассматрива-

лись выше, а именно — замены, согласно различным моделям. Насколько нам известно, такие процессы очень редко приводят (или вовсе не приводят) к языковым изменениям, существенным для языка, как такового. В действительности они, скорее, приводят к изменениям в структуре, которые являются, как правило, не более чем частными эпизодами в истории существования ареала (примером могут служить многие из более или менее систематических изменений, коснувшихся за последние два тысячелетия индоевропейских и семитских языков). Более ярко структурные изменения проявляются тогда, когда происходит перемещение языка из одного ареала в другой или изменение его позиции (например, окраинной на центральную) в пределах одного ареала. Как было сказано выше, типология таких структурных изменений ограничена типологией возможных или вероятных структур. Обмен мнениями между Якобсоном и Алленом на VIII Международном конгрессе лингвистов выявляет наличие двух точек зрения по этому вопросу: положительной и критической.

Обычно в истории языка замены служат средством сохранения, а не изменения основной системы. Они «заполняют бреши», образовавшиеся в результате действия других процессов изменения, либо «восстанавливают равновесие», которое было нарушено временно или даже только потенциально — ведь отделить диагноз болезни от определения методов лечения на деле не так-то просто.

В тех случаях, когда интерпретация зависит не только от выбора одного из возможных способов сегментации текста на последовательности фонем или морфем, тогда «сдвиги», «прогрессивные» и «регрессивные» перемещения в фонологической системе, «ходы» лексических элементов на шахматной доске из семантических полей — все это часто можно представить как реальные факты, имеющие точную хронологию и проливающие свет на динамику языковой истории. Изучая эти факты, следует, конечно, обращать внимание не на «эмические» точки структуры, а на находящиеся на более низком уровне «этические» цепочки высказываний, которые появляются то в одной, то в другой точке структуры. Мы уже отмечали, что именно в этой области появились первые уверенные и убедительные утверждения. Мы рас-

полагаем «общей» классификацией звуковых изменений (типа классификации Граммона), где критерии основаны на фонетических закономерностях, а не на моделях замен или характере конечных структур. Существует сходная классификация семантических изменений, основанная на изменениях в значении (или грамматических «функциях»), где опорой являются морфы, выделяемые на основе фонемного состава (а не морфемы, выделяемые на основе противопоставлений!). Классификации подобного типа иногда строятся просто из соображений удобства. Гораздо чаще, однако, при этом преследуется цель построить некоторую систему, притом обладающую предсказуемостью силой. Это видно из таких работ, как руководство по «объяснительному синтаксису» Хаверса, где приведен перечень «условий» и «движущих сил»; теория изменений под действием аналогии Куриловича; структурные теории языковых изменений Мартине и ряда других. В этих трудах говорится не только о сохраняющихся и изменяющихся структурах, но также и об изменении отдельных фонем (а в исследованиях, касающихся грамматики и лексики, — об изменении морфов). Именно эти непрерывные колебания образуют в совокупности ту реальную систему, которая в конечном счете является единственно важной.

Очень многие сходятся в том, например, что звуковые изменения носят преимущественно ассимилятивный характер. Данная последовательность звуковых сегментов часто заменяется последовательностью, представляющей в определенных отношениях меньше трудностей для артикуляции. К этому надо добавить (что и сделал Мартине), что это остается верным и для данных сочетаний различительных признаков, появляющихся одновременно.

По этой причине принцип ассимиляции оказывается не так уж тесно связанным с поверхностной категорией «обусловленного» языкового изменения (в отличие от «спонтанного», или необусловленного), как некоторые склонны думать. Чем шире используется компонентный анализ, тем все большее число языковых изменений, считавшихся ранее не обусловленными, оказывается обусловленным. Тем, кто отстаивает мнение об уникальности фонологических процессов, эта разница, конечно, кажется более значительной. Часто упрощение артикуляции

приводит к появлению «длинных компонентов»: последовательность согласных между гласными вокализуется; последовательность слогов, образованных задними и передними гласными, приобретает характер последовательности, состоящей из слогов только с передними гласными; в конце высказываний наблюдается исчезновение или оглушение звуков, что приводит к полной или частичной ассимиляции данной последовательности с последующей паузой, и т. д. *ad infinitum*. Вынося на обсуждение этот широко известный факт только сейчас, я не имею в виду, что ассимилятивные изменения не «используются» в целях создания устойчивых трансформаций или же для микроисторических изменений. Но я не думаю, чтобы кто-нибудь стал серьезно защищать мысль о том, что постоянно действующий процесс ассимиляции приводит ко все большему упрощению артикуляции в языках всего мира. Так или иначе новые «трудности» возникают, видимо, непрерывно. Существует и другое мнение, а именно: ассимиляция составляет (разрушительный) вклад говорящего в историческое развитие; слушающий, который заинтересован в избыточности речи и который не замечает тенденции говорящего облегчить артикуляцию, не склонен расширять границы ассимиляции. Ясно, что при отсутствии количественных оценок наличие пары решающих факторов, действующих в прямо противоположных направлениях, может поставить в тупик: про любое звуковое изменение можно будет сказать, что оно в равной степени способствует и разрушению и сохранению. Возможно, что численные оценки, к которым стремится теория информации, помогут сделать эти представления менее тривиальными.

Кент и другие ученые заметили, что среди известных примеров ассимиляции антиципация, видимо, встречается чаще, чем прогрессивная ассимиляция (то есть идущая в направлении потока речи, а не против него) или взаимная ассимиляция (типа [sk] > [š])¹⁷. Однако попытки найти какие-нибудь особые компенсирующие черты в еще весьма многочисленных случаях прогрессивной ассимиляции не привели к определенным результатам, и весьма вероятно, что преобладание антиципации над «запаздыванием» окажется специфической чертой тех языковых ареалов, к которым относятся более глубоко

изученные языки. Много ли толку от универсалии, полученной на ограниченном материале и довольно недостоверной с точки зрения статистических оценок? С целью подтверждения данной мысли Гринберг, например, пытался найти корреляцию между склонностью к регрессивной ассимиляции и обнаруженной Сепиром тенденцией к суффиксации в синхроническом плане: в результате регрессивной ассимиляции, происходящей в корне слова, префиксы могут поглощаться корнем¹⁸. Однако надо было бы еще показать, что корни слов не подвержены тому же в результате действия известной разновидности регрессивной ассимиляции, а именно антиципации последующей паузы, что может привести к слиянию фонем в конце слова или вообще к их исчезновению. Совершенно верно и то, что причиной оговорок чаще всего бывает антиципация; однако такие оговорки изучались преимущественно в языках примерно одного типа. Насколько мне известно, языки другой типологии, где морфофонематическим изменениям подвержены начальные, а не конечные элементы слова (то есть начальные, а не конечные элементы являются менее устойчивыми), с этой точки зрения не рассматривались. Во всяком случае, вопрос о взаимоотношениях индивидуальных оговорок и звуковых изменений является чрезвычайно тонким.

Предпринималась попытка уточнить с позиций структурализма положение об ассимилятивном характере большинства звуковых изменений: предлагалось учитывать при этом различительный характер той или иной артикуляции. Мартине считал, что «вокализованный контекст, в котором вокальность не является различительным признаком, не представляет... в обычных условиях возможности для вокализации глухих звуков и тем самым для нейтрализации противопоставлений “голос — отсутствие голоса”»¹⁹. Однако тот факт, что примеры обратного характера (скажем, переход $nt > nd$ в позднем греческом) весьма многочисленны, предъявляет большие требования к термину «обычные условия».

Вполне естественно было бы полагать, что приведенных доводов еще недостаточно. Но, поскольку у нас нет удовлетворительной теории, дополнительные факты — в лучшем случае это будут статистические данные — вряд

ли могут вселить в нас особую уверенность. В этой связи следует помнить, что в истории языка происходили также и другие процессы, отличные от ассимиляции. Я не имею в виду главным образом диссимиляцию, хотя она и относится к «регулярным звуковым изменениям» в гораздо большей мере, чем принято думать. Впрочем, возможно, что диссимилятивным процессам свойственны некоторые различительные черты, которые не только делают их в определенной степени непохожими на более типичные процессы, но и противопоставляются им по существу²⁰. *Гиперформы* тем не менее являются неотъемлемой частью языковой истории, а суть гиперформ именно в том и состоит, чтобы действовать в направлении, прямо противоположном фонетическому благозвучию. Так, отличие итальянского *dimestico* 'домашний' от латинского *domesticum* заставляет искать здесь ассимилятивное изменение *om* в *im*, при котором округление губ играло роль «долгого компонента». Наблюдаемая диссимиляция «о» в «i» была, возможно, результатом последующего диалектного заимствования.

Как обычно, мы гораздо более уверены в наших знаниях по истории отдельных замен, чем в общих выводах, которые мы стремимся сделать относительно фонов при фонологических изменениях.

При рассмотрении семантических изменений те же проблемы встают в еще более острой форме. Ранее мы видели, как в результате неверных аналогий лишается смысла вопрос о «семантических законах» (то есть вопрос о регулярности «семантических изменений»). Если мы станем рассматривать семантические изменения на уровне морфем, они окажутся такими же регулярными, как звуковые изменения, которые мы обычно действительно формулируем на фонологическом, а не на фонетическом уровне. Однако в случае семантических изменений мы с сожалением констатируем отсутствие значимых результатов. Одна из причин этого кроется в многочисленности одно-однозначных замен (без слияния или расщепления) в грамматике и лексике. Когда мы вместо фонаем рассматриваем фонь; наши обобщения наталкиваются на ряд препятствий. Так, было бы чрезвычайно трудно, если вообще это возможно, хоть как-нибудь предсказать передвижение отдельных морфем в

таблице морфем. Идея поляризации Курриловича, согласно которой предпочтительным оказывается тот из соперничающих алломорфов, который обладает большим числом различительных признаков, является, возможно, наиболее многообещающей для объяснения частных случаев изменений по аналогии. Я думаю, что нет нужды останавливаться на слабостях классификаций семантических изменений, ориентирующихся на содержание. Наверное, достаточно упомянуть метафору как самую, видимо, известную квазиуниверсалию. Несомненно, во многих языках часть лексики подверглась примерно одинаковым изменениям, для которых «метафора» — весьма подходящее название. Но вероятность того, что данный морф будет употребляться «метафорически», — это вероятность того же рода (хотя и не обязательно той же величины), что и вероятность, с которой данный фон подвергается определенному звуковому изменению.

В некотором смысле мы вновь вернулись к тому, что синхроническая типология является главной движущей силой. Мы не должны забывать, что основные термины и понятия, в которых описываются изменения значений, являются в то же время полезными и для синхронической семантики. В самом деле, метафора обозначала риторическую фигуру задолго до того, как она стала обозначать тип семантических изменений.

Таким образом, неудивительно, что все попытки найти в истории языка семантические законы изменения морфов и их значений оканчиваются неудачей. Поиски таких законов не были напрасными — примером может служить работа Стерна, в частности его вывод о том, что «английские наречия, которые до 1300 г. уже имели смысл 'rapidly' ('быстро'), в дальнейшем всегда приобретают значение 'immediately' ('немедленно')». Это происходит тогда, когда наречие подчинено глаголу и т. д.»²¹. Следует обратить особое внимание на то, в какой мере этот закон основан на семантической (то есть относящейся к морфемам, а не к морфам) идентификации анализируемых единиц. Но если мы хотим глубже изучить общие свойства семантических изменений, то от некоторых слишком привычных понятий придется отказаться.

6. Заключение

Более глубоко обоснованные исторические и сравнительные исследования, чем те, которые велись в последние десятилетия, — вот что необходимо для изучения диахронических универсалий. Сейчас в этом направлении уже ведется большая работа.

Далее, необходимо понять, что многим поколениям ученых были свойственны три типа представлений о сущности языковых изменений: или это была модель замен (чисто внешних инноваций и выпадений); или это был процесс, приводящий к возникновению новых структур; или процесс передвижения по соссюрдовской «шахматной доске» (притом часто без окончательных результатов) отдельных элементов, противопоставленных по акустическим, артикуляторным и прочим поддающимся измерению характеристикам. Для нас наибольший интерес представляют второй и третий (но не первый) типы представлений. Возможно, что новые методы, как, например, трансформационная грамматика, которая стремится совершенно новым способом внести единство в синхроническую типологию, создадут новые основы для понимания универсалий языковых изменений.

* * *

Помимо Чарльза Ф. Хоккетта, чьи ценные замечания представлены в моих примечаниях, я хотел бы выразить благодарность Джозефу Г. Гринбергу, Рулону С. Уэллсу, Эйнару Хаугену и Роману Яacobсону, которым я обязан рядом поправок.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Schwyz er, *Historical Greek grammar*, I, стр. 234 и сл.

² См. S. C. Gudschinsky, «Word», vol. 12, стр. 175 и сл. О Чарми см. геттингенские «Nachrichten», Phil.-Hist. Klasse, 1929, стр. 195—214

³ Выражаю признательность Чарльзу Ф. Хоккетту за его глубокие замечания по этому и другим вопросам. Хотя я и принял к сведению все его замечания, все же здесь не представляется возможным подробно обсуждать их, соглашаться с ними или их опровергать. Хоккетт возражает против понятия квазиперевода в том виде, как оно было употреблено выше, подчеркивая, что язык есть не множество «текстов», а совокупность навыков. Но «есть» — труд-

ное слово. В конце концов, мы пытаемся лишь анализировать подход историка, который, по существу, представляет собой противопоставление («сравнение») частей двух или большего числа высказываний. Совсем неочевидно, что такой подход нерелевантен для понимания указанных навыков, хотя бы и было ясно, что навыки и тексты не одно и то же. Хоккетт далее замечает, что *виды* изменений должны быть самым строгим образом отделены от *механизма* изменений. Характер этого возражения таков, что можно заключить, что Хоккетт отошел от позиции, занятой им в его «Курсе» (гл. 52 и др. *), — если, конечно, я его правильно понял. Этот вопрос требует подробного обсуждения.

⁴ С точки зрения принципа экономии (Хоккетт).

⁵ Для удобства изложения мы примем, что каждое из этих слов состоит из одной морфемы. Действительно, относительно *in-*, *-wit*, *cop-* можно сказать, что они участвуют в процессах обусловленной замены.

⁶ «Самое главное, — считает Хоккетт, — это то, что замена имеет место. Это не тривиальное утверждение. Существуют коммуникативные системы, в которых замены не происходит или где механизм замены столь разительно отличается... что эту разницу нельзя оставить без внимания».

⁷ В той мере, в какой дело касается их отношений к морфемам. Сами морфы следует представлять в виде цепочек фонем.

⁸ Звуковые изменения не могут быть, очевидно, предсказаны только на основе внутренних, системных факторов. Нельзя их интерпретировать и как результат разброса вокруг некоторой средней точки, или нормы. Процесс изменений имеет определенную направленность и является в этом смысле специфичным, как и многие другие явления истории. Факторы, которые приводят к изменению престижа данного языка, к развитию региональных центров, к демографическим изменениям и т. п., являются в этом смысле специфическими и уникальными (то есть они не сводимы к представлению об упрощении структуры языка, противопоставляемому столь часто упоминаемому «экстралингвистическому миру»).

⁹ «Language change and linguistic reconstruction», стр. 38, 75 и сл.

¹⁰ «Indogermanische Forschungen», Bd. 45, стр. 105 и сл.

¹¹ «Language», vol. 33, стр. 538 и сл.

¹² «Psycholinguistics», стр. 148.

¹³ Внимательность Фреда Хаусхолдера позволила устранить возможность сугубо неправильного толкования этого предложения.

¹⁴ См. M. J o o s, Readings in linguistics, стр. 376.

¹⁵ Ограниченную постольку, поскольку исключаются гласные исходы. С другой стороны, после того как произошло изменение, «в исходе слова может стоять любой согласный или группа согласных», то есть получается гораздо большее разнообразие, поскольку тогда возможны четыре гласных исхода (Хоккетт).

¹⁶ «Psycholinguistics», стр. 148.

¹⁷ «Language», vol. 12, стр. 245 и сл.

¹⁸ «Essays in linguistics», гл. 8.

* Автор ссылается на книгу: Ch. F. H o c k e t t, A course in modern linguistics, New York, 1958. — Прим. ред.

¹⁹ A. Martinet, *Économie des changements phonétiques*, Berne, 1955, стр. 111. [Русск. перев.: А. Мартинет, Принцип экономии в фонетических изменениях, М., 1960.]

²⁰ Учение об определенной беспорядочности диссимиляций, метатез и т. п. занимает в лингвистической истории особое место. Но на самом деле даже диссимиляция плавных, характерная для индоевропейских и семитских языков, является не такой уж нетипичной, как о ней говорят. Она лишь частично прогрессивна; ее «регулярность» весьма значительна (примеры обратного часто встречаются лишь в парадигмах), и, даже если бы было верно, что регулярные звуковые изменения должны быть постепенными, о многих процессах диссимиляции (например, о так называемом законе Грассмана) можно без труда сказать, что они происходят постепенно, тогда как существуют недиссимилятивные процессы изменения, которые вряд ли допускают такую характеристику (см. Hoenigswald, *Phonetica*, 11, стр. 202—215).

²¹ «Meaning and change of meaning», стр. 190.

НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО КАСАЮЩИЕСЯ ПОРЯДКА ЗНАЧИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Введение

Предлагаемые ниже утверждения, в чем читатель убедится из дальнейшего, носят гипотетический характер. Без более полного охвата разных языков отсутствие исключений для большинства универсалий, установленных здесь, не может быть полностью гарантировано.

Как указано в заглавии работы, свое внимание мы сконцентрировали главным образом, но отнюдь не исключительно, на вопросах, касающихся порядка слов и морфем. Это объясняется тем, что предшествующий опыт позволил нам сделать вывод о большой степени упорядоченности в этом частном аспекте грамматики. В настоящей статье предложен ряд универсалий. Значительная их часть представляет собой импликационные универсалии, и их можно выразить в следующем виде: «если в данном языке есть *x*, в нем всегда есть и *y*». Если ничего больше не сказано, то имеется в виду, что обратное, а именно — «если в языке есть *y*, в нем всегда есть *x*», не имеет силы. Когда два ряда характеристик бинарны, типичная дистрибуция в четырехклеточной таблице — это пустая клетка (с нулевым заполнением) как одна из четырех возможностей¹. С точки зрения научной методологии подобный подход* представляется вполне оправданным по двум причинам. Во-первых, закономерности на самом низшем уровне, как это указывается в руководствах по научной методологии, выражаются именно в такой** форме².

J. H. Greenberg. Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. — «Universals of language», ed. by J. H. Greenberg. Cambridge (Mass.), 1963.

Во-вторых, те языковые универсалии, которые представляются нам неимпликационными, на самом деле имеют импликационный характер, поскольку они следуют из каких-то дедуктивных предпосылок относительно языка³. Между тем формулировать эти предпосылки непосредственно было бы очевидной тавтологией.

Вероятно, необходимо указать, что ряд универсалий второго типа, то есть универсалий, следующих из определенных дедуктивных предпосылок относительно языка, хотя они формально и не постулированы в настоящей статье, фактически следуют из общего допущения о сравнимости языков на грамматическом уровне. Например, целая серия универсалий имплицитно предполагается в таком утверждении, как нижеследующее: если в языке основным порядком слов для главного повествовательного предложения является порядок «глагол — субъект — объект», то определение в родительном падеже всегда следует за управляющим существительным. Здесь предполагается, в частности, что все языки имеют субъектно-предикативные конструкции, разные классы слов и конструкции с родительным падежом, или генитивные конструкции. Я хорошо понимаю, что при идентификации таких явлений в языках различной структуры в основном используется семантический критерий. Вероятно, определенное формальное сходство дает нам возможность сравнивать указанные явления в различных языках. Однако концентрация внимания на этой задаче, важной самой по себе, помешала бы мне, в силу ее сложности, двигаться вперед к тем специальным гипотезам, которые основаны на эмпирическом исследовании и представляют главный интерес для лингвиста. Более того, адекватность некоторого межязыкового (то есть относящегося к различным языкам) определения понятия «имени» должна в любом случае проверяться с точки зрения тех семантических явлений, для обозначения которых предназначался данный термин. Если, например, в результате формального определения понятия «существительного» класс слов одного языка, содержащий такие слова, как 'мальчик', 'нос' и 'дом', будет отождествлен с классом слов другого языка, содержащим такие единицы, как 'есть', 'пить', 'давать', то такое определение будет тотчас отвергнуто, и это будет сделано на основании семантики. На практике по-

добные вопросы никогда не вызывают сомнений. Представляется, что это имеет достаточно глубокое основание. Если бы, например, кто-нибудь захотел проверить утверждение о связи порядка слов и конструкции с родительным падежом, постулируемое в настоящей статье, то в общем достаточно ясно, на каком материале такое утверждение может быть принято или отвергнуто.

Для многих утверждений в этой статье был использован список из следующих 30 языков: баскский, сербский, уэльсский, норвежский, новогреческий, итальянский, финский (Европа); йоруба, нубийский, суахили, фуль, масаи, сонгаи, берберский (Африка); турецкий, иврит, бурушаски, хинди, каннада, японский, тайский, бирманский, малайский (Азия); маори, лоритья (Океания); майя, сапотек, кечуа, чибча, гуарани (языки американских индейцев).

Этот список был выбран главным образом для удобства. В основном он содержит языки, с которыми я имел раньше некоторое знакомство или для которых я располагал достаточно надежным грамматическим описанием. Этим и объясняется мой выбор языков, хотя при этом была еще сделана попытка получить как можно более широкий генетический и пространственный охват. Привлечение данного списка языков подсказано следующими соображениями. Во-первых, казалось, что любое утверждение, верное для этих 30-ти языков, может с большой степенью вероятности рассматриваться как универсалия или неполная универсалия. Во-вторых, этот список дает возможность составить некоторое представление о вероятностной связи определенных грамматических признаков. При рассмотрении ряда вопросов я выхожу за рамки данного списка.

Основная часть настоящей статьи посвящена установлению универсалий на основе рассмотрения эмпирического языкового материала. Оно сопровождается минимальным теоретическим комментарием. Последняя часть статьи — исследовательская; в ней предпринимается попытка найти какие-то общие принципы, из которых могли бы быть выведены хотя бы некоторые обобщения, сделанные в первых разделах. Для удобства описания универсалии, разбросанные по тексту, приведены в систему в Приложении III. Теоретический раздел более

умозрительен и менее точен, чем разделы, посвященные самим универсалиям. В некотором смысле мы предпочли бы иметь как можно меньше, а отнюдь не больше универсалий, то есть мы хотели бы вывести их из относительно меньшего числа общих принципов. Однако вначале в целом должно быть установлено как можно большее число эмпирических обобщений. Вывести частную универсалию из кажущегося действительно общим принципа было бы затруднительно по той причине, что обобщение может не быть эмпирически правильным.

2. Типология основного порядка ⁴

Лингвистам в общем хорошо известно, что в некоторых языках наблюдается тенденция помещать определяющие или ограничивающие элементы перед теми, которые они определяют или ограничивают, тогда как в других языках происходит противоположное. Пример первого типа: в турецком языке прилагательные ставятся перед именами существительными, которые они определяют, объект глагола — перед глаголом, зависимый генитив — перед управляющим именем существительным, наречия — перед прилагательными, которые они определяют, и так далее. Более того, подобные языки имеют тенденцию употреблять послелогии для понятий, выраженных в английском предлогами. Язык противоположного типа — это тайский, в котором прилагательное следует за именем существительным, объект следует за глаголом, генитив — за управляющим именем и есть предлоги. Большинство языков, как, например, английский, не так характерны в этом отношении. В английском, как и в тайском языке, есть предлоги, и объект, выраженный существительным, следует за глаголом. С другой стороны, английский похож на турецкий в том отношении, что прилагательное в нем предшествует существительному. Более того, в генитивной конструкции сосуществуют оба типа порядка: John's house «Джонов дом» и the house of John «дом Джона».

Более детальное рассмотрение этих и других явлений порядка слов приводит к тому выводу, что некоторые факторы тесно связаны один с другим, тогда как другие относительно независимы. По причинам, которые

вскроются в ходе изложения, весьма результативно выявлять типологию некоторых основных факторов порядка слов. Такая типология будет называться типологией основного порядка. При этом будут использованы три вида критериев. Первый из них — наличие предлогов или послелогов. Предлоги и послелоги будут обозначены соответственно как P_г и P_о. Второй — относительный порядок субъекта (S), глагола (V) и объекта (O) в повествовательных предложениях с именными субъектом и объектом. Громадное большинство языков обладает не одним, а несколькими типами порядка, но один из них является доминирующим в языке. Логически существует 6 возможных типов порядка: SVO, SOV, VSO, VOS, OSV и OVS. Однако из этих шести лишь три встречаются обычно как доминирующие. Остальные три не встречаются совсем или, во всяком случае, чрезвычайно редки; к ним относятся: VOS, OSV и OVS. Все они имеют одно общее: в этих типах объект предшествует субъекту. Это дает нам нашу первую универсалию.

Универсалия 1. В повествовательных предложениях с именными субъектом и объектом почти всегда преобладает порядок слов, при котором субъект предшествует объекту⁵.

Таким образом, мы получаем три общих типа: VSO, SVO и SOV. Они обозначаются, соответственно, как I, II и III и отражают относительную позицию глагола.

Третьим критерием является позиция определяющих прилагательных, указывающих на качество, по отношению к существительному. Как мы увидим далее, позиция указательных местоимений, артиклей, числительных и количественных определителей (например, «некоторые», «все») часто отличается от позиции таких прилагательных. И здесь иногда бывают отклонения, но в громадном большинстве языков имеется какой-то один доминирующий порядок слов. Доминирующий порядок с прилагательным, предшествующим существительному, мы обозначим как A, а доминирующий порядок, при котором существительное предшествует прилагательному, — как N. Таким образом, мы приходим к типологии, которая дает $2 \times 3 \times 2$, то есть 12 логических

возможностей. 30 языков списка распределяются по этим двенадцати классам следующим образом⁶.

Т а б л. 1

	I	II	III
Ро-А	0	1	6
Ро-N	0	2	5
Рг-А	0	4	0
Рг-N	6	6	0

Таблица устроена так, что «крайние» типы Ро-А и Рг-N находятся в первом и четвертом ряду соответственно. Очевидно, что в отношении к этим крайностям I и III — полярные типы, первый соотносится с Рг-N, а последний — с Ро-А. Тип II более связан с типом Рг-N, чем с типом Ро-А. Ясно также, что позиция прилагательных имеет менее непосредственное отношение к типам I, II и III, чем противопоставление Рг/Ро. Таблица, я надеюсь, дает ясное представление об относительной частоте этих альтернатив на широкой основе языков мира. Тип II — наиболее частый, тип III — почти такой же частый, тип I, несомненно, свойствен меньшинству языков. Это означает, что именной субъект обычно предшествует глаголу в большинстве языков мира.

Обращаясь теперь к генитивному порядку, можно заметить, что и эта характеристика с успехом могла бы быть использована для целей типологии. Отказ от нее объясняется крайне высокой степенью соотнесенности ее с противопоставлением Рг/Ро — факт, в общем известный лингвистам. Генитивный порядок фактически копировал бы последний критерий. Он не был выбран, потому что противопоставление Рг/Ро в целом более тесно соотносится с другими явлениями. Из приведенного списка в 30 языков 14 языков имеют послелогои, и в каждом из них генитивный порядок состоит в том, что генитив предшествует управляющему существительному. Из 14 языков с предлогами 13 имеют генитив, следующий за управляющим существительным. Единственное исключение — норвежский язык, в котором генитив находится в препозиции. Таким образом, 29 из 30 случаев подчиняются правилу. При всех условиях 1/30 — это слишком преувеличенная цифра для исключений в мас-

штабе всех языков мира. Таким образом, мы можем сформулировать следующую универсалию:

Универсалия 2. В языках с предлогами генитив почти всегда следует за управляющим существительным, тогда как в языках с послелогами он почти всегда предшествует ему*.

Обратившись снова к данным табл. 1, мы видим, что из 12 возможностей 5, то есть почти половина, не представлены примерами в списке. Все эти типы или довольно редки или вовсе не существуют⁷. В типе I мы видим, что все 6 языков списка принадлежат к типу Pг/N. Это относится, с очень небольшими исключениями, ко всем языкам мира. Существует, однако, несколько ярких примеров типа I/Pг/A, так сказать, зеркальное отражение очень частого типа III/Ро/N. С другой стороны, насколько я знаю, не обнаружено ни примеров типа I/Ро/A, ни примеров типа I/Ро/N. На основании этого мы можем сформулировать следующую универсалию:

Универсалия 3. Языки с доминирующим порядком VSO характеризуются наличием предлогов.

Языки типа III, как мы видели, полярно противоположны языкам типа I. Поскольку в типе I языков с послелогами нет, мы ожидаем, что в типе III не будет языков с предлогами. В подавляющем большинстве случаев это верно, но я знаю несколько исключений⁸. Поскольку, как мы видели, позиция генитива в высокой степени соотносима с противопоставлением Pг/Ро, мы ожидаем, что языки типа III обычно имеют порядок GN**. Но имеется и несколько исключений. Однако всякий раз, когда генитивный порядок нарушается, то же происходит и с порядком адъективным, тогда как соответствующее утверждение не имеет силы для противопоставления Pг/Ро⁹. И таким образом, мы получаем следующие универсалии:

* Помимо скандинавских языков данная универсалия не выполняется еще в балтийских (литовском, латышском). — *Прим. ред.*

** Генитив предшествует имени существительному. — *Прим. перев.*

Универсалия 4. С вероятностью, гораздо большей, чем случайная, языки с нормальным порядком SOV имеют послелогои.

Универсалия 5. Если язык имеет доминирующий порядок SOV и генитив в этом языке следует за управляющим существительным, тогда прилагательное также следует за существительным.

Важное различие может быть отмечено между языками типов I и III. Что касается наречий и словосочетаний, определяющих глагол, а также наречных предложений, то языки типа I не проявляют нерасположенности к тому, что наречие ставится перед глаголом, и глагол таким образом не обязательно начинает предложение. Кроме того, все языки с порядком слов VSO, очевидно, имеют альтернативные типы основного порядка, среди которых всегда встречается порядок SVO. С другой стороны, в значительном количестве, а, возможно, и в большинстве языков типа III глагол следует за всеми своими определителями, и если допускается какой-нибудь другой основной порядок слов, то таким порядком является порядок OSV. Следовательно, глагол — если не принимать в расчет, может быть, несколько видов слов, определяющих предложение в целом (например, вопросительных частиц), — всегда стоит в конце глагольных предложений. Конечно, логика не требует, чтобы во всех языках, где в соответствии с основным порядком глагол стоит на третьем месте, также и все глагольные определители предшествовали бы глаголу, но это как будто имеет место эмпирически. Таким образом, языки с таким порядком слов, при котором глагол стоит в конце предложения, могут быть названы «жестким» подтипом типа III. В приведенном списке языки буршаски, каннада, японский, турецкий, хинди и бирманский относятся к данной группе, а нубийский, кечуа, баскский, лоритья и чибча к этой группе не относятся¹⁰. Эти соображения позволяют нам сформулировать следующие универсалии:

Универсалия 6. Все языки с доминирующим порядком VSO имеют порядок SVO как один из альтернативных или как единственно альтернативный основной порядок слов.

Универсалия 7. Если в языке с доминирующим порядком SOV нет альтернативного основного порядка или в качестве альтернативы встречается только порядок OSV, то все наречные определители глагола будут также предшествовать глаголу. (Это «жесткий» подтип типа III.)

3. Синтаксис

Определив типологические возможности основного порядка слов и сформулировав несколько универсалий, которые были установлены в процессе рассмотрения этих возможностей, мы обратимся теперь к ряду синтаксических универсалий, из которых многие, но не все, связаны с типологией порядка слов. Одним из критериев, которым мы пользовались, является порядок именного субъекта, именного объекта и глагола в повествовательных предложениях. Установление этого критерия именно в такой форме объясняется тем, что вопросительные предложения определенным образом отличаются от повествовательных предложений. Существует две основные категории вопросов: общие вопросы, требующие ответа «да» или «нет», и специальные вопросы, содержащие особые вопросительные слова. Обычно общие вопросы бывают противопоставлены в языке соответствующим утверждениям по интонационному рисунку (как, например, в английском). Область интонации все еще изучена плохо. Однако следующее утверждение кажется достаточно обоснованным:

Универсалия 8. Когда вопрос, требующий ответа «да-нет», отличается от соответствующего утверждения интонационными различиями, дифференциальные интонационные признаки выявляются в конце предложения отчетливей, чем в начале.

Например, в английском общий вопрос отмечается повышением тона на последнем ударном слоге предложения, а соответствующее утверждение — понижением тона. Таким образом, интонация, присущая концу предложения, выступает как различительный признак для всех интонационных моделей.

Общий вопрос может также распознаваться по вопросительной частице или аффиксу. Некоторые языки

используют этот способ и интонацию как альтернативные. Позиция таких вопросительных показателей в предложении является закрепленной — или относительно какого-то определенного слова, чаще всего глагола или эмфатического вопросительного слова, или относительно предложения в целом. В языках «жесткого» подтипа типа III, конечно, невозможно отделить позицию после глагола от позиции конца предложения. В рассматриваемом списке языков мы находим 12 языков с такими начальными или конечными частицами. В соответствии с типологией основного порядка слов эти 12 примеров распределяются следующим образом¹¹.

Т а б л. 2

	I	II	III
Начальная частица	5	0	0
Конечная частица	0	2	5

Два примера с конечной частицей в типе II представлены языками с предлогами (тайский и йоруба). Таблица включает только те случаи, когда в языке имеется лишь одна такая частица или аффикс или же несколько, следующих одному и тому же правилу. В двух языках списка существует более, чем один такой элемент, и каждый следует своему правилу. Язык сапотек (I/Pг) имеет или одну начальную частицу, или эту же самую частицу в соединении с конечной частицей. Язык сонгаи (II/Ро) имеет три такие частицы, две из них начальные и одна конечная. Эти осложнения, так же как и тот факт, что по крайней мере один язык из списка, принадлежащий к типу II/Ро, а именно, литовский, имеет начальную частицу, вызывают следующее довольно осторожное утверждение:

Универсалия 9. Если вопросительные частицы или аффиксы закреплены в позиции относительно предложения в целом, то с вероятностью большей, чем случайная, начальные элементы обнаруживаются в языках с предлогами, а конечные — в языках с послелогами.

Там, где специфика предложения зависит от какого-то особого слова, частица почти всегда следует за ним.

Такие частицы обнаруживаются в 13 языках настоящего списка¹².

Примеры «жесткого» подтипа типа III включаются как в эту, так и в предыдущую категорию. Из этих 13 языков 12 суффиксированы. Они включают как языки с предлогами, так и языки с послелогоми, но не из группы I. Поэтому, возможно, имеет место следующее положение:

Универсалия 10. Вопросительные частицы или аффиксы, которые относятся к определенному слову в предложении, почти всегда следуют за этим словом. Такие частицы не встречаются в языках с доминирующим порядком VSO.

Другой основной вид вопросительных предложений содержит вопросительное слово и также имеет определенное отношение к типологии основного порядка слов. Во многих языках порядок слов в предложениях этого типа отличается от порядка в соответствующих повествовательных предложениях. Характерно при этом, что вопросительное слово стоит на первом месте (исключение составляет лишь стремление сохранить обычный порядок слов в пределах более мелких единиц, например словосочетаний). Этого правила придерживается, например, английский, где объект, представляющий собой вопросительное слово, стоит на первом месте в вопросительном предложении *What did he eat?* 'Что он ел?', в отличие от утверждения *He ate meat.* 'Он ел мясо'. Второе положение иллюстрируется вопросом *With whom did he go?* 'С кем он шел?' в противоположность *He went with Henry.* 'Он шел с Генри', где вопросительное сочетание находится на первом месте, но порядок внутри самого сочетания не нарушен. Многие языки, помещающие вопросительные местоимения на первое место, меняют также порядок глагола и субъекта (например, немецкий: *Wen sah er?* 'Кого он видел?'). Такие языки меняют иногда порядок и в общем вопросе, требующем ответа «да-нет» (например: *Kommt er?* 'Он пришел?'). Представляется, что только языки с вопросительным словом * всегда меняют порядок слов в начале предложения и только языки, которые меняют порядок в

* Так в тексте. По-видимому, автор имеет в виду: «только языки с вопросительным словом в начальной позиции». — *Прим. ред.*

вопросительных предложениях с вопросительным словом, меняют его и в общих вопросах¹³.

В приведенном списке 16 языков помещают вопросительное слово или сочетание на первое место. Они распределяются следующим образом:

	Т а б л. 3		
	I	II	III
Вопросительное слово на первом месте	6	10	0
Вопросительный и утвердительный порядок одинаковы	0	3	11
	P _r	P _o	
Вопросительное слово на первом месте	14	2	
Вопросительный и утвердительный порядок одинаковы	2	12	

Таким образом устанавливается определенное отношение, и мы получаем следующие универсалии:

Универсалия 11: Инверсия утвердительного порядка, состоящая в том, что глагол предшествует субъекту, встречается только в тех языках, где вопросительное слово или словосочетание стоят на первом месте. Та же самая инверсия встречается в общих вопросах, требующих ответа «да-нет», если только она встречается также и в вопросительных предложениях с вопросительным словом.

Универсалия 12. Если язык имеет доминирующий порядок VSO в повествовательных предложениях, то в вопросительных предложениях с вопросительными словами в этом языке вопросительные слова или словосочетания стоят на первом месте; если в повествовательных предложениях язык имеет доминирующий порядок SOV, то это правило обязательно.

Далее будут рассматриваться формы, подчиненные глаголу. Семантически понятия, учитываемые здесь, включают время, причину, цель и условие. Формально они могут быть выражены следующим образом: вводящие слова (то есть «союзы») и глагольные флексии, соответствующие личным формам, включающим категории лица и числа (например, формы сослагательного наклонения), или неличным, таким, как глагольные

имена, герундивы и т. д. Кажется вероятным, что союзы чаще встречаются в языках с предлогами, неличные глагольные формы — в языках с послелогоми, а личные глагольные формы представлены и в тех и в других, но это еще не доказано. В соответствии с общей направленностью статьи мы сосредоточили свое внимание на рассмотрении относительного порядка подчиненных и главных глагольных форм. Поскольку подчиненный глагол определяет главный глагол, мы должны ожидать, что он должен предшествовать главному глаголу во всех языках «жесткого» подтипа типа III. Так как этот подтип был определен только как характеризующийся постоянным предшествованием именного объекта, необходима эмпирическая проверка. Действительно, это оказывается верным для всех языков данного подтипа в нашем списке и в общем не вызывает сомнения¹⁴. В языках других типов выявляются некоторые характеристики индивидуальных конструкций. Нормальный порядок везде — протазис условных конструкций предшествует аподозису, то есть условие предшествует заключению. Это присуще всем 30 языкам списка. В языках «жесткого» подтипа типа III протазис никогда не следует за главной частью, но в других языках это изредка случается.

С другой стороны, в конструкциях цели и желания нормальный порядок состоит в следовании подчиненных частей за главным глаголом; исключения составляют лишь языки «жесткого» подтипа типа III. Таким образом, мы получаем следующие универсалии:

Универсалия 13. Если именной объект предшествует глаголу, то глагольные формы, подчиненные главному глаголу, также предшествуют ему.

Универсалия 14. В условных конструкциях условная часть предшествует заключению. Такой порядок является нормальным порядком слов для всех языков.

Универсалия 15. В конструкциях желания и цели подчиненная глагольная форма всегда следует за главным глаголом, и это нормальный порядок слов; исключения составляют лишь те языки, в которых именной объект всегда предшествует глаголу.

Другим видом связи двух глаголов является отношение спрягаемого вспомогательного глагола к главному.

Для наших целей такую конструкцию можно определить как конструкцию, в которой замкнутый класс глаголов (вспомогательные глаголы), изменяющихся по лицам и числам, сочетается с открытым классом глаголов, не изменяющихся по лицам и числам. Примером такой конструкции в английском является *is going*. Конечно, это определение исключает возможность подобной конструкции в тех языках, где глагол не имеет категории лица и числа (например, в японском языке). В списке 30-ти языков 19 имеют такие спрягаемые вспомогательные глаголы. Они распределяются по типам порядка слов, как показано в таблице 4¹⁵.

Т а б л. 4

	I	II	III
Вспомогательный глагол предшествует главному глаголу	3	7	0
Вспомогательный глагол следует за главным глаголом	0	1	8
	P _r	P _o	
Вспомогательный глагол предшествует главному глаголу	9	1	
Вспомогательный глагол следует за главным глаголом	0	9	

На этих данных основывается следующая универсалия:

Универсалия 16. В языках с доминирующим порядком VSO спрягаемый вспомогательный глагол всегда предшествует главному глаголу. В языках с доминирующим порядком SOV спрягаемый вспомогательный глагол всегда следует за главным глаголом.

Неспрягаемые вспомогательные глаголы будут рассмотрены в дальнейшем, в связи с глагольными флексиями.

В именных словосочетаниях позиция определительных прилагательных (A) по отношению к определяемому имени существительному (N) является ключевым фактором. Позиция качественного прилагательного имеет

определенное, хотя только статистически устанавливаемое отношение к двум другим основаниям типологии (порядка слов). Суммарно эти данные для языков списка представлены в таблице 5.

Т а б л. 5

	I	II	III
NA	6	8	5
AN	0	5	6
	Pг	Po	
NA	12	7	
AN	4	7	

В общем, тенденция такова, что прилагательные следуют за существительным в языках с предлогами и наиболее последовательно — в языках типа I, которые, как было отмечено, характеризуются наличием предлогов. Есть несколько редких исключений в языках типа I (не из данного списка языков) с прилагательным, стоящим перед именем. На основании этого мы устанавливаем следующую *неполную* универсалию (*near universal*):

Универсалия 17. С вероятностью, большей, чем случайная, можно ожидать, что в языках с доминирующим порядком VSO прилагательное стоит после существительного.

По данным табл. 5 также можно обнаружить, что существует 19 языков с прилагательным, следующим после существительного, в противоположность 11 языкам с прилагательным, стоящим перед существительным. Это — образец общей тенденции, которая почти одерживает верх над противоположным правилом, ожидаемым в языках типа III.

Позиция указательных местоимений и числительных в отдельных языках связана с позицией описательных прилагательных. Однако эти элементы показывают заметную тенденцию к предшествованию, даже когда описательное прилагательное следует за существительным. С другой стороны, когда описательное прилагательное предшествует существительному, то указательные местоимения и числительные фактически также

всегда предшествуют ему. Данные о языках списка следующие:

	Т а б л. 6	
	NA	AN
Указ. мест. — сущ.	12	7
Сущ. — указ. мест.	11	0
Числ. — сущ.	8	10
Сущ. — числ.	11	0

В одном из языков, языке гуарани, обозначения числа могут как предшествовать существительному, так и следовать за ним, и этот случай не включен в таблицу. В этом же языке, то есть в языке гуарани, прилагательное следует за существительным, как можно было ожидать. Что касается числительных, то нужно отметить, что для языков с классифицирующими нумеративами во внимание принималась именно позиция числительного по отношению к нумеративу¹⁶. Кажется, нет связи между позицией числительного и позицией указательного местоимения, кроме той, которую осуществляет позиция прилагательного. Языки, в которых прилагательное следует за существительным, могут иметь числительное, предшествующее существительному, а указательное местоимение — не предшествующее ему, или указательное местоимение — предшествующее, а числительное — не предшествующее существительному; в других случаях и местоимение и числительное могут предшествовать существительному или оба не предшествовать ему. Однако вне списка встречается небольшое число примеров (к ним относится язык эфик), в которых указательное местоимение следует за существительным, в то время как прилагательное предшествует существительному. Можно отметить, что количественные местоимения (например, «некоторый», «все»), вопросительные местоимения и притяжательные прилагательные проявляют ту же самую тенденцию предшествовать существительному, что наблюдается, например, в романских языках, но такие случаи не изучены. В связи с этим получаем следующие универсалии:

Универсалия 18. Когда описательное прилагательное предшествует существительному, указательное местоимение и числительное в подавляю-

щем большинстве случаев также предшествуют существительному.

Можно сделать дополнительное, связанное с этим замечание:

Универсалия 19. Общее правило, устанавливающее, что описательное прилагательное следует за существительным, может не распространяться на небольшое число прилагательных, которые обычно предшествуют существительному; но когда общее правило гласит, что описательные прилагательные предшествуют существительному, то это правило не имеет исключений.

Эта последняя универсалия иллюстрируется в нашем списке уэльским и итальянским языками.

Порядок внутри именного словосочетания определяется очень жесткими правилами. Когда какой-нибудь один или все три типа определителей предшествуют существительному, они всегда стоят в одном и том же порядке: указательное местоимение, числительное и прилагательное, как, например, в английском: *these five houses* 'эти пять домов'.

Когда какой-нибудь один или все определители следуют за существительным, то порядок слов обычно прямо противоположен: существительное, прилагательное, числительное, указательное местоимение. Менее распространенная альтернатива — это тот же самый порядок, данный для примеров, в которых указанные элементы предшествуют существительному. Последний встречается в кикуйу и языках банту (восточная Африка), где имеет место порядок слов: *houses these five large* 'дома эти пять большие' вместо более распространенного *houses large five these* 'дома большие пять эти'. Таким образом, мы получаем следующую универсалию:

Универсалия 20. Когда какой-нибудь один или все элементы (указательное местоимение, числительное и описательное прилагательное) предшествуют существительному, они всегда располагаются именно в указанном порядке. Если они следуют за существительным, порядок будет или тем же самым или прямо противоположным.

Теперь рассмотрим порядок наречий, определяющих прилагательные, относительно прилагательных. Этот порядок также находится в определенной связи с порядком, который существует между описательным прилагательным и существительным, как видно из следующей таблицы 7. В третьем ряду приведены случаи, в которых одни наречия предшествуют прилагательным, а другие — следуют за ними¹⁷.

Т а б л. 7

	AN	NA
Наречие — прилагательное	11	5
Прилагательное — наречие	0	8
Прилаг. — наречие и наречие — прилаг.	0	2

Как показывает табл. 7, наречие имеет тенденцию предшествовать прилагательному; оно может перемещаться лишь в некоторых случаях, когда прилагательное следует за существительным. Ситуация, таким образом, сходна с той, которая существует относительно указательных местоимений и числительных. Однако если мы будем продолжать свои наблюдения, то заметим, что все те языки, в которых некоторые или все наречия следуют за прилагательным, не только имеют существительное, за которым следует прилагательное, но принадлежат еще к языкам типов I и II. Таким образом, мы получаем универсалию:

Универсалия 21. Если в каком-то языке некоторые или все наречия следуют за прилагательным, которое они определяют, то тогда данный язык принадлежит к тем языкам, в которых определяющее прилагательное следует за существительным, а глагол предшествует своему именному объекту, и такой порядок является доминирующим.

Рассмотрим теперь еще один вопрос из сферы прилагательного, который касается степеней сравнения, особенно сравнительной степени, выраженной, как, например, в английском, предложениями типа «*X is larger than Y*» («*X* больше, чем *Y*»). Такая флективная сравнительная форма прилагательного представлена в относительно меньшем числе языков. Чаще форму прилагательного определяет какое-то отдельное слово, что так-

же имеет место в английском (*X is more beautiful than Y* 'X более прекрасен, чем Y'), но во многих языках это не является обязательным или не встречается вовсе. Кроме того, всегда существует какой-то элемент, который выражает сравнение как таковое, слово ли это или аффикс, соответствующий английскому *than*, а также, очевидно, существуют прилагательное и тот объект, с которым производится сравнение. Таким образом, мы имеем три элемента, порядок которых необходимо рассмотреть, например, в английском: *larg(er)*, *than*, *Y*. Данные элементы мы назовем: *прилагательное*, *показатель сравнения* и *образец сравнения*. При этом обычными порядками слов будут следующие: прилагательное, показатель сравнения, образец (как в английском) или же противоположный порядок — образец, показатель сравнения, прилагательное. Приведенные альтернативы связаны с типологией основного порядка слов, о чем свидетельствует следующая таблица¹⁸.

	Т а б л. 8		
	I	II	III
Прилагательное — показатель сравнения — образец	5	9	0
Образец — показатель сравнения — прилагательное	0	1	9
Оба типа порядка	0	1	0
	Pг	Pо	
Прилагательное — показатель сравнения — образец	13	1	
Образец — показатель сравнения — прилагательное	0	10	
Оба типа порядка	0	1	

Ряд языков не входит в эту таблицу, потому что они используют глагол с общим значением 'превосходить'. Особенно распространен этот способ в африканских языках (например, в йоруба): 'X большой, превосходит Y'. Не включен в таблицу также и лоритья (австралийский язык), который имеет конструкцию 'X большой, Y маленький'.

Универсалия 22. Если единственным порядком или одним из альтернативных типов порядка в сравнительной конструкции является порядок

«образец — показатель сравнения — прилагательное», то язык принадлежит к группе языков с послелогами. Если единственным типом порядка является порядок «прилагательное — показатель сравнения — образец», то с более чем случайной вероятностью язык относится к группе языков с предлогами.

Явная связь с типологией основного порядка также обнаруживается в конструкциях с именным приложением, особенно в тех, которые содержат нарицательное имя вместе с именем собственным. Сюда входит ряд семантических и формальных подтипов (например, обращения «Мг. X» в противоположность названиям «Avenue X»). Последний тип представляет собой в определенных случаях ассимиляцию генитивной конструкции и может поэтому иметь соответствующий порядок (например, city of Philadelphia 'город Филадельфия'). Английский язык использует оба типа, вероятно, в связи с порядком «прилагательное — существительное», как можно видеть из сочетаний 42nd Street '42-я улица' — Avenue A 'проспект А' или Long Lake 'Длинное озеро' — Lake Michigan 'Озеро Мичиган'. Большинство языков, однако, имеет один-единственный порядок (например, французский: Place Vendôme 'Площадь Вандомская', Lac Genève 'Озеро Женевское', Boulevard Michelet 'Бульвар Мишле' и т. д.). Мои данные далеко не полны, потому что в грамматиках этот вопрос часто не излагается, и я привлекал примеры только из текстов¹⁹.

	Т а б л. 9		
	I	II	III
Нарицательное имя существительное — имя существительное собственное	2	7	0
Имя существительное собственное — нарицательное имя существительное	0	2	6
	GN	NG	
Нарицательное имя существительное — имя существительное собственное	8	1	
Имя существительное собственное — нарицательное имя существительное	0	8	

В таблице 9, вопреки обычной практике, генитивная конструкция (G) используется вместо признака P_г/P_о, поскольку она дает более ясные результаты.

Универсалия 23. Если в приложении имя существительное собственное обычно предшествует нарицательному имени существительному, то язык принадлежит к числу тех, в которых управляющее существительное предшествует зависящему от него генитиву. Для подавляющего большинства языков если нарицательное имя обычно предшествует имени собственному, то зависимый генитив предшествует своему управляющему существительному*.

Для того чтобы закончить исследование именных конструкций, рассмотрим относительное предложение, которое определяет имя существительное (например, англ. I saw the man who came 'Я видел человека, который пришел', I saw the student who failed the examination 'Я видел студента, который провалился на экзамене'). Здесь снова можно отметить расхождение по разным языкам в формальных средствах. Нами будет рассмотрен лишь порядок для существительного и глагола в относительном предложении (например, «man» и «came» в первом предложении; см. выше). Дистрибуция возможных здесь случаев, как показывает таблица 10, обнаруживает явную связь с типологией основного порядка слов²⁰.

	Т а б л. 10		
	I	II	III
Относительное предложение предшествует существительному	0	0	7
Существительное предшествует относительному предложению	6	12	2
Обе конструкции	0	1	1
	P _г	P _о	
Относительное предложение предшествует существительному	0	7	
Существительное предшествует относительному предложению	16	4	
Обе конструкции	0	2	

* Исключение к этому утверждению представляют славянские языки. — *Прим. ред.*

Из табл. 10 вытекает, что если относительное предложение предшествует существительному как единственная конструкция или как альтернативная, то язык относится к типу языков с послелогоми. Однако вне списка существует по крайней мере одно исключение — китайский, который является препозитивным языком и в котором относительное предложение предшествует существительному. Правдоподобно объяснить это отклонение, связав его с тем фактом, что в китайском прилагательное предшествует существительному. Как и для порядка «прилагательное — существительное», здесь обнаруживается общая тенденция для относительного предложения — следовать за существительным, которое оно определяет. Эта тенденция иногда преодолевается, но только если 1) язык препозитивен или 2) если определяющее прилагательное предшествует существительному.

Универсалия 24. Если относительное предложение в каком-то языке предшествует имени существительному как единственная конструкция или как альтернативная, то в таком случае или этот язык является языком с послелогоми, или прилагательное в данном языке предшествует имени существительному, или и то и другое вместе.

До сих пор ничего не было сказано о местоимениях. В общем, местоимения неадекватны именам существительным в отношении порядка слов. Это и явилось причиной того, что мы говорили об именном субъекте и именном объекте при установлении закономерностей типологии основного порядка слов. Характерной особенностью в этом плане обладает французский язык, где мы имеем: *Je vois l'homme* 'Я вижу человека', но *Je le vois* 'Я его вижу', то есть местоименный объект предшествует глаголу, а именной объект следует за ним. Подобные примеры обнаруживаются в ряде языков списка. В итальянском, греческом, гуарани и суахили действует правило, согласно которому местоименный объект всегда предшествует глаголу, а именной объект следует за ним. В итальянском и греческом, однако, при императиве местоимение, так же как и именной объект, следует за глаголом. В берберском местоименные объекты, прямые или косвенные, предшествуют глаголу, когда он сопровождается отрицательной частицей или по-

казателем будущего времени. В языке лоритья местоименный объект может быть добавлен как энклитика к первому слову предложения. В нубийском имеет место обычный именной порядок SOV, но довольно часто встречается альтернативный порядок SVO. Что же касается местоименного объекта, то такая альтернатива никогда не встречается. Другими словами, местоименный объект всегда предшествует глаголу, тогда как именной объект может либо предшествовать, либо следовать за ним. В уэльском языке при альтернативном порядке с эмфазой на местоименном субъекте местоименный субъект ставится на первое место в предложении. В таких предложениях местоименный объект предшествует глаголу, а именной объект следует за ним. Наконец, в языке масаи, где нормальным порядком для именного объекта является порядок VSO, местоименный объект предшествует именному субъекту и непосредственно следует за глаголом.

В списке языков не встречается противоположных примеров, то есть случаев, когда местоименный объект регулярно следовал бы за глаголом, а именной объект предшествовал бы ему. Мы можем поэтому сформулировать следующую универсалию:

Универсалия 25. Если местоименный объект следует за глаголом, то за глаголом следует также и именной объект.

4. Морфология

Прежде чем перейти к вопросу о словоизменительных категориях, которые служат главным предметом рассмотрения в настоящем разделе, мы обсудим некоторые общие положения, относящиеся к морфологии. Морфемы в пределах слова условно делятся на корневые, словообразовательные и словоизменительные. И здесь, как и всюду в настоящей статье, попытки определения категорий предпринято не будет. Словообразовательные и словоизменительные элементы обычно группируются вместе как аффиксы. Они могут быть классифицированы на основе их местоположения относительно корня. Наиболее часто встречаются префиксы и суффиксы. Инфиксация, с помощью которой части корневой морфемы охватывают словообразова-

тельный или словоизменятельный элемент с двух сторон, может быть объединена с другим способом — прерывностью. Примером такого способа является вставка, что имеет место в семитских языках и что может быть названо *амбификсацией* (ambifixing). Амбификсация состоит в том, что аффикс имеет две части, одна из которых предшествует корню, а другая следует за ним. Все такие прерывные способы относительно редки, и некоторые языки ими не пользуются. Следующая универсалия поэтому, вероятно, вполне законна:

Универсалия 26. Если язык обладает прерывными аффиксами, то в нем всегда имеет место либо префиксация, либо суффиксация, либо и то и другое вместе.

Что касается отношений между префиксацией и суффиксацией, то здесь наблюдается общее преобладание суффиксации. Исключительно суффиксальные языки вполне обычны, а исключительно префиксальные языки чрезвычайно редки. В настоящем списке языков только тайский, кажется, исключительно префиксальный язык. Здесь снова обнаруживается связь с типологией основного порядка ²¹.

Т а б л. 11

	I	II	III
Только префиксация	0	1	0
Только суффиксация	0	2	10
Оба способа	6	10	1
	P _r	P _o	
Только префиксация	1	0	
Только суффиксация	0	12	
Оба способа	15	2	

Универсалия 27. Если язык исключительно суффиксальный, то это язык с послелогоми; если язык исключительно префиксальный, то это язык с предлогами.

Если в языке существуют и словообразовательные и словоизменятельные элементы, то словообразовательный элемент более тесно связан с корнем. Отсюда вытекает следующее обобщение:

Универсалия 28. Если словообразовательный элемент и словоизменяющий элемент следуют за корнем или оба предшествуют корню, то словообразовательный элемент всегда находится между корнем и словоизменяющим элементом.

Видимо, нет языков без словосложения, аффиксации или того и другого вместе. Другими словами, вероятно, нет чисто изолирующих языков. Встречается значительное число языков без словоизменяющих элементов, но, по-видимому, не существует языков без словосложения и словообразования. Вероятно, имеет место следующее:

Универсалия 29. Если язык имеет словоизменение, то он обязательно должен иметь и словообразование.

Обратимся теперь к категориям глагольного словоизменения; здесь мы можем утверждать: поскольку существуют языки без словоизменения, то, очевидно, существуют языки, в которых глагол не имеет словоизменяющих категорий. В большинстве случаев, когда глагол имеет словоизменяющие категории, между ними существует сложная иерархия.

Универсалия 30. Если глагол имеет категории лица и числа или если он имеет категорию рода, то он обязательно должен иметь и категории времени и наклонения.

Что категория рода связана в первую очередь не с глаголом, видно из следующего обобщения:

Универсалия 31. Если субъект или объект, выраженный именем существительным, согласуется в роде с глаголом, то обязательно согласуется в роде и прилагательное с существительным.

Согласование в роде между именем (обычно именным субъектом) и глаголом наблюдается менее часто, чем согласование в лице и числе; все же еще встречаются примеры первого без последнего (например, в некоторых дагестанских языках Кавказа). Однако там, где обнаруживаются подобные родовые категории, они всегда оказываются связанными также с категорией числа. Таким образом, мы имеем следующую универсалию:

Универсалия 32. В том случае, если глагол согласуется с именным субъектом или именным объектом в роде, он согласуется с ними и в числе.

Можно провести и дальнейшие наблюдения в этой области. Иногда такое согласование существительного и глагола в числе регулярно нарушается. Во всех таких случаях, если к этому имеет отношение порядок слов, очевидно, можно сформулировать следующую универсалию²²:

Универсалия 33. Если между существительным и глаголом нарушается согласование в числе и связь их основывается на порядке слов, то глагол предшествует существительному и стоит в форме единственного числа.

Такие явления, как нарушение согласования, аналогичны нейтрализации в фонологии. Категория, которая не проявляется в позиции нейтрализации, в данном случае — множественное число, может быть названа маркированной категорией (как в классической фонологической теории Пражской школы). Подобные явления будут рассмотрены в дальнейшем.

Три наиболее общие именные словоизменительные категории — это число, род и падеж. Внутри систем числа существует определенная иерархия, которая состоит в следующем:

Универсалия 34. Нет языка, который, имея тройственное число, не имел бы двойственного. Нет языка, который, имея двойственное число, не имел бы множественного.

Категории не-единственного числа являются маркированными категориями по отношению к единственному, как указывается в следующей универсалии:

Универсалия 35. Не существует языка, в котором форма множественного числа не имела бы каких-нибудь ненулевых алломорф, в то время как есть языки, в которых форма единственного числа выражена только нулевым показателем. Формы двойственного и тройственного числа почти никогда не бывают выражены только нулевым показателем.

Маркированный характер не-единственного числа в противоположность единственному может обнаруживаться также, когда в языке одновременно имеются категории рода и числа. Взаимоотношения этих двух рядов категорий устанавливаются в следующих универсалиях:

Универсалия 36. Если язык имеет категорию рода, он обязательно имеет и категорию числа.

Универсалия 37. В единственном числе язык всегда имеет большее количество родовых категорий, чем в любом не-единственном числе.

Последнее положение иллюстрирует язык хауса, в котором мужской и женский род различаются в единственном числе, но не различаются во множественном. Обратное, по моим сведениям, никогда не встречается.

Падежные системы могут существовать вместе с родовыми системами или без них, а также с категорией числа или без нее. Немаркированной категорией падежных систем является субъектный падеж в не-эргативных системах и падеж, выражающий субъект непереходных и объект переходных глаголов в эргативных системах.

Таким образом, мы получаем следующую универсалию:

Универсалия 38. При существовании падежной системы единственный падеж, имеющий только нулевые алломорфы, — это тот, который в число своих значений включает значение субъекта непереходного глагола.

Что касается числа и падежа, между которыми существует особая морфемная граница, то между ними почти всегда устанавливается следующее отношение:

Универсалия 39. Там, где присутствуют морфемы числа и падежа и обе они следуют за именной основой или обе предшествуют ей, морфема числа почти всегда находится между именной основой и морфемой падежа.

По поводу согласования между прилагательными и существительными может быть сделано следующее общее утверждение:

Универсалия 40. В тех случаях, когда прилагательное следует за существительным, оно выражает все словоизменительные категории существительного*. В этих случаях существительное может не иметь формального выражения одной или всех этих категорий.

Примером служит баскский язык, в котором прилагательное следует за существительным, и только последний член именной конструкции содержит формальное выражение категорий падежа и числа.

Падежные системы наиболее часты в языках с послелогоми, особенно в языках типа III. В нашем списке все языки этого типа имеют падежные системы. Есть несколько пограничных случаев или возможных исключений.

Универсалия 41. Если в языке глагол следует за именным субъектом и именным объектом и такой порядок слов является доминирующим, то язык почти всегда имеет падежную систему.

Наконец, коротко можно рассмотреть и местоименные категории. В основном, местоименные категории имеют тенденцию к большей дифференциации, чем те же категории существительного, но почти любое специальное утверждение по этому вопросу будет иметь некоторые исключения. В качестве общих утверждений можно сформулировать следующие универсалии.

Универсалия 42. Все языки имеют местоименные категории, включающие по крайней мере три лица и два числа**.

Универсалия 43. Если в языке категория рода свойственна существительному, то она свойственна и местоимению.

В местоимениях, как и следовало ожидать, категории рода имеют некоторое отношение к категориям лица.

* Данное положение не выполняется, по-видимому, в курдском языке. — *Прим. ред.*

** Исключением к этой универсалии (точнее, к постулату о том, что местоимения во всех языках имеют два числа) служит язык кави (древнеяванский), местоимения которого не различаются по числам. — *Прим. ред.*

Универсалия 44. Если язык имеет родовые различия в первом лице, он обязательно имеет родовые различия во втором или в третьем лице или в обоих вместе*.

Существует также соотношение между родовыми категориями и категориями числа.

Универсалия 45. Если во множественном числе местоимения выражены какие-либо родовые различия, то какие-то родовые различия имеются и в единственном числе.

5. Заключение: Некоторые общие принципы

Мы не пытаемся объяснить все универсалии, описанные в предыдущих разделах и повторенные в Приложении III. Мы предлагаем лишь некоторые общие принципы, на которых, по-видимому, и основываются различные универсалии и из которых эти универсалии могут быть выведены. В первую очередь необходимо обратить внимание на универсалии, наиболее тесно связанные с типологией основного порядка слов и с коррелирующим с ней порядком в генитивной конструкции. В работе установлены два основных принципа: преобладание определенного порядка над его альтернативой и наличие связи или ее отсутствие между различными правилами порядка слов. Этот последний принцип, несомненно, связан с психологическим понятием обобщения.

Данное утверждение мы можем проиллюстрировать ссылкой на универсалию 25, которая гласит, что если местоименный объект следует за глаголом, то именной объект ведет себя так же. Другими словами, в четырехклеточной таблице, состоящей из альтернативных возможностей, для всех комбинаций имеется одна-единственная пустая клетка: Поскольку именной объект может следовать за глаголом независимо от того, предшествует местоименный объект глаголу или следует за ним, но в то же время именной объект может предшествовать глаголу, только если местоимение предшествует ему, — постольку мы говорим, что порядок VO доминирует над порядком OV; в самом деле, OV встречается только при специфических условиях, а именно когда местоименный объект также предшествует глаголу, тогда

* Исключением является тайский язык. — *Прим. ред.*

как порядок VO не имеет таких ограничений. Кроме того, порядок «именной объект — глагол» гармонирует с порядком «местоименный объект — глагол», но не гармонирует с порядком «глагол — местоименный объект». Подобным же образом порядок «глагол — именной объект» гармонирует с порядком «глагол — местоименный объект» и не гармонирует с порядком «местоименный объект — глагол». Теперь мы можем переформулировать наше правило с учетом этих принципов следующим образом:

Доминирующий порядок возможен всегда, но его противоположность встречается только тогда, когда присутствует также гармонирующая с ним конструкция.

Заметим, что понятие доминирования (dominance) основывается не на более частой встречаемости, имеющей большую частоту, а на логическом факторе нуля (пустой клетки) в четырехклеточной таблице. Нетрудно сконструировать пример, в котором одна из рецессивных альтернатив будет иметь бóльшую частоту, чем доминирующая. Доминирование и отношения гармонирования могут быть установлены совершенно механически на основании такой таблицы с наличием одной незаполненной клетки. Нуль всегда означает рецессивную альтернативу для каждой конструкции, а для двух конструкций — отсутствие гармонии между ними.

Отношения гармонирования, как было замечено раньше, представляют собой примеры обобщения. В сходных конструкциях соответствующие члены имеют тенденцию находиться в одном и том же порядке. Основа соответствия в настоящем примере очевидна: местоимение и существительное являются оба объектами глагола, и другая пара «глагол — глагол» также тождественна. При выявлении отношений гармонирования довольно свободно используются трансформационные и другие связи между конструкциями, а не только появление незаполненной клетки в четырехклеточной таблице.

На той же основе рассмотрим теперь универсалию 3. Эта универсалия сводится к утверждению о том, что языков типа I с последлогами не существует. Поскольку во всех типах (I, II и III) субъект (S) предшествует объекту (O), это утверждение несущественно для насто-

ящего контекста, и мы можем сделать следующий вывод:

Предлоги доминируют над послелогоми, и порядок SV доминирует над порядком VS. Кроме того, предлоги гармонируют с порядком VS и не гармонируют с порядком SV, тогда как послелогои гармонируют с порядком SV и не гармонируют с порядком VS.

Тип II отличается от типа III тем, что в языках типа II объект следует за глаголом — характерная особенность, объединяющая его с типом I. С другой стороны, в языках типа III объект стоит перед глаголом. Из универсалии 4, которая констатирует, что для подавляющего большинства случаев порядок SOV связан с наличием послелогов, следует вывод, что порядок OV гармонирует с послелогоми, а порядок VO — с предлогами. Конструктивные аналогии, подтверждающие это положение, обсуждаются далее, в связи с генитивными конструкциями. Пока можно заметить, что отношения между типами I, II и III и противопоставлением P_r/P_o может быть обобщено следующим образом: языки типа I имеют порядок VS, который гармонирует с предлогами, и порядок SO, который также гармонирует с предлогами. Далее предлоги доминируют над послелогоми. В самом деле, все языки типа I характеризуются наличием предлогов. Языки типа II имеют порядок SV, который гармонирует с послелогоми, и порядок VO, гармонирующий с предлогами; при этом доминируют предлоги. Действительно, определенное большинство языков типа II имеют предлоги. Языки типа III имеют порядки SV и OV, каждый из них гармонирует с послелогоми. Однако доминируют в данном случае предлоги. На деле преобладающее большинство языков типа III имеет послелогои, хотя обнаружен ряд исключений.

Из преобладающей связи предлогов с порядком «управляющее существительное — генитив» и послелогов с порядком «генитив — управляющее существительное», хотя и имеется небольшое количество исключений в обоих типах, следует вывод, что предлоги гармонируют с порядком «существительное — генитив» (NG), а послелогои — с порядком «генитив — существительное» (GN).

Тесная связь между генитивным порядком и противопоставлением P_r/P_o является простым примером

обобщения. Отношение принадлежности соотносится с другими видами отношений, например с пространственными отношениями. В английском языке предлог *of*, который указывает на принадлежность, подчиняется тем же правилам порядка, что и предлоги *under* 'под', *above* 'над' и др. Кроме того, такие пространственные и временные отношения часто выражаются существительными или близкими им словами, например англ. *in back of* 'позади'. Во многих языках предлог 'за' = 'спина + генитив', отсюда: *X's back* = *in back of X* параллельно *X's house*; и *back of X* = *in back of X* параллельно *house of X*.

Связь между этими генитивами и аналогичными сочетаниями с предлогами и с послелогоми, с одной стороны, и конструкциями «субъект — глагол» и «объект — глагол», с другой, осуществляется путем так называемого субъектного и объектного генитива. Заметим, что в английском языке выражение *Brutus' killing of Caesar started a civil war*, букв. 'Брутово убийство Цезаря вызвало гражданскую войну' имеет то же самое значение, что и *The fact that Brutus' killed Caesar started a civil war* 'Тот факт, что Брут убил Цезаря, вызвал гражданскую войну'. Порядок элементов в этих фразах также сходен. Другими словами, в таких трансформациях именной субъект или объект соотносится с генитивом, а глагол — с управляющим именем. Действительно, существуют языки, в которых субъект или объект глагола стоит в форме генитива. Например, в берберском языке *argaz* 'человек' — это основная форма существительного, а *urgaz* — это либо зависимый генитив, либо субъект глагола, если только он следует непосредственно за ним. Таким образом, словосочетание *iffey urgaz* 'вышел человек' абсолютно параллельно сочетанию *aham urgaz* 'дом человека'. Надо сказать, что берберский относится к языкам типа I и в нем генитив следует за именем. Для него более характерны предлоги, чем послелогои.

Следующей связью, которую можно выявить внутри разновидностей типологии основного порядка, является связь между позицией генитива и позицией прилагательного. И генитив и определяющие прилагательные ограничивают значение имени существительного. Есть и другие факты, подтверждающие этот вывод. Существуют языки, например персидский, в которых функции

и прилагательного и генитива выражаются обычно одними и теми же формальными средствами. Если отношения принадлежности выражаются местоимением, то некоторые языки используют местоимение в генитиве там, где другие используют поризводное прилагательное. Встречаются и такие случаи, когда прилагательные употребляются в 1-м и во 2-м лице, а генитив — в 3-м лице (например, норвежский язык).

Мы можем суммировать эти выводы, утверждая, что все последующие отношения прямо или косвенно связаны одно с другим: предлоги, NG, VS, VO, NA. Мы имеем здесь общую тенденцию помещать определяемое перед определяющим, и наиболее крайний случай в этом отношении представляют языки типа I с сочетаниями NG и NA, составляющие значительную группу языков. Противоположный тип основан на гармоничных отношениях между послелогам и сочетаниями GN, SV, OV и AN. Это также весьма широко распространенный тип (примером его служит турецкий и другие языки данного списка). С другой стороны, общее преобладание порядка NA приводит к тому, что языки баскского типа (то есть III/P₀/NA с порядком GN) оказываются распространенными почти так же широко, как и языки типа турецкого. Нужно заметить, что, поскольку языки — это высокоорганизованные структуры, в ряде индивидуальных случаев существуют и другие факторы, не включенные в те пять факторов, которые мы рассмотрели. Об одном из них — относительном порядке существительного и указательного местоимения — уже говорилось.

Гораздо труднее объяснить отношения доминирования, а не гармонирования, например, объяснить, почему прилагательное имеет тенденцию следовать за существительным. Можно предположить, однако, что преобладание порядка «существительное — прилагательное» вызывается тем же самым фактором, который способствует тому, что доминирующим является порядок «субъект — глагол». По терминологии Хоккетта, существует общая тенденция, в силу которой толкование (comment) следует за предметом, о котором идет речь (topic). Некоторые данные показывают, что в этом смысле порядок «существительное — прилагательное» параллелен порядку «субъект — глагол». Во многих языках слова со значением прилагательного ведут себя как непереходные

глаголы. В таком случае в роли определяющего прилагательного выступает относительное предложение или причастие. Как мы видели, у относительных предложений тенденция следовать за существительным проявляется сильнее, чем у прилагательных. В некоторых языках, таких, как арапешский (Новая Гвинея), выражение *The good man came* 'Хороший человек пришел' буквально можно было бы перевести как *The man is-good that-one he came* 'Человек-хороший тот-который он пришел'. Порядок «прилагательное — существительное» отчасти двузначен, поскольку аналогии с другими конструкциями, включающими определения, показывают, что он косвенно гармонирует с порядком VS, тогда как вследствие фактора порядка «предмет — толкование» этот порядок становится аналогичным порядку SV.

Все это далеко от законченной теории. Тем не менее мы полагаем, что следует рассмотреть примеры, в которых, в противоположность правилам, действующим для большинства случаев, генитивная конструкция не гармонирует с противопоставлением Rг/Ро. Можно было бы объяснить это тем, что в таких случаях генитивная конструкция тяготеет к конструкции «прилагательное — существительное»; последняя, как видно, может быть обусловлена причинами, которые находятся до некоторой степени вне общей системы отношений гармонирования, связанных с порядком определяющего и определяемого. Например, если, вопреки общему правилу, мы обнаруживаем наряду с предлогами порядок «генитив — управляющее существительное», то причину этого можно было бы усмотреть в противоположном влиянии порядка «прилагательное — существительное», который гармонирует с порядком «генитив — управляющее существительное». Иначе говоря, генитивная конструкция не гармонирует с противопоставлением Rг/Ро, только если Rг/Ро не гармонирует с порядком «прилагательное — существительное». Сюда можно включить и такие случаи, когда в языке имеется два порядка для генитивной конструкции, что указывает на возможное изменение типа, поскольку один порядок должен быть, по всей вероятности, более ранним. Можно предположить далее, что, если и имеются исключения, то они будут встречаться в языках типа II, которые, имея оба порядка — SV и VO, — не гармонирующие между собой, могут при вы-

боре генитивной конструкции бросить якорь в том и другом случае.

Следует заметить, что универсалия 5, поскольку она относится к языкам с послелогоми типа III (в основном большинстве), представляет собой частный случай этой гипотезы, ибо она утверждает, что язык типа III, если он имеет порядок «существительное — генитив» (NG), будет также иметь и порядок «имя существительное — прилагательное» (NA). Если это язык с послелогоми, тогда порядок «существительное — генитив» (NG) не гармонирует с постпозицией, но гармонирует с порядком «имя существительное — прилагательное» (NA). Если мы включим в рассмотрение языки с двумя генитивными порядками, то обнаружатся по крайней мере шесть случаев, причем все шесть вполне возможны (то есть с порядком NA, доминирующим над порядком AN). Сюда относятся языки сомали и маба, которые имеют два генитивных порядка, и канури, галла, теда и шумерский, которые имеют порядок SOV, послелогои, NG и NA.

Эта гипотеза может вызвать, однако, некоторые дальнейшие предсказания. Для языков с предлогами типа III гипотеза будет заключаться в том, что при меняющейся позиции генитива или порядке «генитив — существительное», который не гармонирует с предлогами, в сочетании прилагательного с именем существительным порядок будет AN (прилагательное — существительное). Я знаю только два случая: язык тигринья с обоими типами порядка для генитива и амхарский с порядком «генитив — имя существительное». Оба языка в соответствии с нашей гипотезой имеют сочетание «прилагательное — существительное» (AN). К языкам типа II, которые имеют предлоги и имеют порядок «генитив — существительное» (GN) и должны поэтому иметь порядок «прилагательное — существительное» (AN), относятся языки датский, норвежский и шведский (возможно, единственный случай) и английский с двумя порядками для генитива. Эти языки соответствуют нашей гипотезе, поскольку имеют порядок «прилагательное — существительное» (AN). Среди постпозитивных языков типа II можно назвать группу мору-мади в Судане и состоящую с ней в весьма отдаленном родстве группу мангбету; обе они при противоположных типах генитивного порядка имеют ожидаемый порядок NA.

Единственными известными мне исключениями являются арауканский язык в Чили с обоими типами генитивного порядка и группа дагестанских языков Кавказа, включающая такие языки, как рутульский, с порядком NG, и другие, такие, как табасаранский, с обоими типами порядка для генитива. Видимо, все языки дагестанской группы, которые относятся к типу III, имеют только порядок GN, гармонирующий как с послелогом, так и с порядком AN. Если так, то это — важное подтверждение обоснованности нашей гипотезы. Наконец, поскольку для всех языков типа I характерны предлоги, то нам нужно рассмотреть только единственный случай, а именно — языки с предлогами с порядком GN. Я знаю только один пример — это диалект мильпа альта языка нахуатль, описанный Уорфом. Как мы и ожидали, он имеет порядок AN.

Другой тип отношений иллюстрируется универсалиями 20 и 39*. Эти отношения могут быть названы иерархиями близости. В этом случае действует правило, гласящее, что определенные элементы должны быть ближе к некоторому центральному элементу, чем другие. Центральным элементом может быть корневая морфема, или основа слова, или главное слово эндоцентрической конструкции. Такая иерархия близости скорее всего должна быть связана с импликационной иерархией, если речь идет о словоизменительных категориях. Поскольку категория числа почти всегда более тесно связана с основой, чем формы выражения падежа, постольку существует множество языков, имеющих категорию числа, но не имеющих категории падежа, и очень немногих языков с категорией падежа, но без категории числа. Так как, согласно иерархии близости, число ближе к основе, то оно чаще сливается с основой и выражается флексией. Эти иерархии, по-видимому, связываются со степенями логической и психологической удаленности от центра, но попытки анализировать их с этой точки зрения здесь не предпринимаются.

Эти явления связаны также с явлениями нейтрализации. Более близкая к центру категория, или имплицуемая категория, имеет тенденцию быть более слож-

* В оригинале вместо 39 ошибочно указано 29. — *Прим. ред.*

ной, а менее близкие или имплицитные категории имеют тенденцию нейтрализоваться в ее присутствии. Универсалии 36 и 37 связаны таким образом. Число является имплицитной категорией. Родовые категории часто нейтрализуются в маркированном числе (то есть не-единственном). Гораздо реже число нейтрализуется в каком-нибудь отдельном роде (например, в среднем роде в дравидских языках). Что касается числа и падежа, то число, как мы убедились, ближе к центру и в основном наличествует, когда выражен падеж, тогда как обратное отношение наблюдается гораздо реже. Это справедливо также и для некоторых падежных различий, которые также часто нейтрализуются в числе, тогда как противоположное явление, видимо, никогда не встречается*.

Из универсалии 34 выводится другой принцип. Не существует таких систем, в одной из которых имелась бы только отдельная грамматическая форма для тройственного числа, в то время как в другой содержались бы категории двойственного числа и всех чисел больше трех. Другими словами, разъединение или отсутствие последовательности в этом отношении не допускается.

Возможно, универсалии 14 и 15 иллюстрируют тот же принцип. Порядок элементов в языке параллелен порядку в практической деятельности или в процессе познания. Что касается условных предложений, то, хотя отношения к истине, выражаемые ими, являются вневременными, в логике всегда было принято изображать их в следующем порядке: сначала имплицитное, затем имплицитное, то есть точно так же, как в разговорном

* Утверждение автора о том, что различие по числу не нейтрализуется в падежных формах, не соответствует истине. Подобная нейтрализация имеет место в финском комитативе, во всех косвенных падежах неопределенного склонения в мордовских языках, так же как и в целом ряде форм притяжательного склонения в этих языках (а именно: во всех косвенных падежах при обладателе 1-го и 3-го лица ед. ч. и во всех вообще падежах при обладателе мн. ч. или 2-го лица — в мордовском-эрзя языке; во всех падежах, кроме именительного, родительного и дательного, при обладателе ед. ч. и во всех вообще падежах при обладателе мн. ч. — в мордовском-мокша языке).

Наконец, нейтрализация числовых различий происходит в прямых падежах в белуджском и курдском языках. — *Прим. ред.*

языке. Если взять в качестве доказательства *modus ropens*, то тогда пример из практики следует за ходом рассуждений. Никому не приходит в голову писать доказательство в обратном порядке («задом наперед»).

Универсалии 7, 8 и 40, хотя внешне весьма различные, представляются нам проявлениями одной и той же общей тенденции: конец единиц маркируется чаще, чем начало. Например, в «жестком» подтипе типа III глагол маркирует конец предложения. Когда флексии встречаются только в конечном члене именного словосочетания, они маркируют конец словосочетания. Это, вероятно, связано с тем фактом, что мы всегда можем узнать, когда некто начал говорить, но, как свидетельствует наш печальный опыт, без определенного показателя мы не сможем узнать, когда же говорящий кончит.

Существование «жесткого» подтипа типа III, ввиду того, что нет примеров «жесткого» подтипа типа I, вероятно, связано еще с одним фактором. Обычно начальная позиция эмфатична, и хотя существуют другие методы эмфазии (например, ударение), начальная позиция, по видимому, всегда остается свободной, и таким образом элемент, на который направлено внимание, может стать первым. Примером этому служит универсалия 12. Вероятно, во всех языках выражения времени и места могут занимать начальную позицию в предложении.

Разобщенность предиката, которая часто встречается в таких случаях, как, например, нем. *Gestern ist mein Vater nach Berlin gefahren* 'Вчера мой отец ездил в Берлин', иллюстрирует следующий принцип. В целом, чем выше положение конструкции в иерархии непосредственно составляющих, тем свободнее порядок составляющих элементов. Как можно было видеть, практически все языки обладают известной свободой в расположении субъекта и предиката в целом; переменным же порядком генитивных конструкций обладает незначительное меньшинство языков и почти всегда лишь в том случае, когда имеются еще и другие различия, а не только различия в порядке следования элементов. Наиболее жесткий порядок наблюдается внутри морфологических конструкций. В целом, поэтому, разобщенные составляющие встречаются гораздо реже, чем непрерывные.

Как отмечено в первом разделе настоящей статьи, принципы, описанные в этом разделе, должны рассма-

триваться только как предположительные. Есть надежда, что по крайней мере некоторые из них окажутся полезными для дальнейшего исследования.

* * *

Я очень признателен Фреду Хаусхолдеру и Чарльзу Ф. Хоккетту за полезные критические замечания, сделанные ими по поводу раннего варианта настоящей статьи.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ К стр. 114. Благодаря работе Романа Якобсона я обратил внимание на то, как важны импликационные универсалии.

² К стр. 114. См., например, замечания Р. В. Брайтвейта (R. V. Braithwaite, *Scientific explanation*, Cambridge, 1953) по поводу научных законов. «Единственное, с чем каждый соглашается, это то, что закон всегда включает обобщение, то есть утверждение об универсальной связи между свойствами» (стр. 9).

³ К стр. 115. То есть обусловлены эмпирически, а не логически. Все языки имеют характеристики, о которых идет речь. Нужно добавить, что универсалии в смысле недедуктивных характеристик обладают дополнительным логическим свойством обуславливать дедуктивные свойства, так же как быть обусловленными ими.

⁴ К стр. 117. Некоторые идеи, касающиеся типологии основного порядка, можно встретить в лингвистической литературе XIX в. Например, об отношении между позицией генитива и предложениями в противоположность послелогам и о гипотезе, состоящей в том, что некоторые языки предпочитают порядок «определение — определяемое», а другие — противоположный, уже упоминалось в предисловии Р. Лепсиуса к его «Нубийской грамматике» (R. Lepsius, *Nubische Grammatik*, Berlin, 1880).

Наиболее систематическая трактовка вопроса представлена у Шмидта (W. Schmidt) в работе «Die Sprachfamilien und Sprachkreise der Erde» (Heidelberg, 1926) и в некоторых других работах. Основные выводы Шмидта могут быть суммированы здесь: предлоги сочетаются с порядком «номинатив — генитив», а послелоги — с обратным порядком. Порядок «номинатив — генитив» имеет тенденцию встречаться с глаголом перед именным объектом, а порядок «генитив — номинатив» сочетается с порядком «объект — глагол». Шмидт ничего не говорит о порядке «субъект — глагол», так что типы I и II, как они трактуются в настоящей статье, у него не различаются. Далее, порядок «номинатив — генитив» соотносится с порядком «существительное — прилагательное», а «генитив — номинатив» — с порядком «прилагательное — существительное». Эта последняя корреляция, особенно вторая ее половина, намного слабее, чем другие. Шмидт приводит данные, основанные на языках мира, которые хорошо согласуются с результатами, полученными на основе списка из 30-ти языков, использованного в настоящей статье. Нужно добавить еще, что главный интерес Шмидта направлен на интерпретацию истории культуры. Его результаты в этом отношении на грани фантастики.

⁵ К стр. 118. Исключение составляют сиуслав и кус, которые являются языками группы пенути в штате Орегон, и кёр д'ален — салшской группы.

⁶ К стр. 119. См. данные относительно каждого языка в Приложении I.

⁷ К стр. 120. Подробнее см. Приложение II.

⁸ К стр. 120. Иракв (южнокушитская группа), кхамти (тайская группа), литературный персидский и амхарский язык.

⁹ К стр. 120. Единственным случаем, где этого не наблюдается, является, кажется, амхарский язык, который имеет сочетание SOV, GN и AN, но в то же время имеет предлоги.

¹⁰ К стр. 121. Однако Хаусхолдер сообщил мне, что в азербайджанском и в большинстве типов разговорного турецкого языка допускается одно определение после глагола, особенно именная конструкция с дательным или местным падежом.

¹¹ К стр. 123. Языки типа I: берберский, иврит, маори, масан и уэльский; типа II: тайский, йоруба; типа III: бирманский, бурушаски, японский, каннада, нубийский. Относительно языка йоруба см. далее, прим. 12.

¹² К стр. 124. В приведенных ниже языках аффикс или частица следуют за словом: тип II: финский, гуарани, малайский, майя, сербский; тип III: баскский, бирманский, японский, каннада, нубийский, турецкий, кечуа. В языке йоруба аффикс предшествует слову, но может и сопровождаться конечной частицей.

¹³ К стр. 125. Вопросительное слово стоит на первом месте в языках берберском, финском, фуль, греческом, гуарани, иврит, итальянском, малайском, маори, масан, майя, норвежском, сербском, уэльском, йоруба и сапотек.

¹⁴ К стр. 126. Согласно Хаусхолдеру, это имеет место только в литературном турецком языке; см. прим. 10.

¹⁵ К стр. 127. Вспомогательный глагол предшествует главному в финском, греческом, итальянском, масан, майя, норвежском, сербском, суахили, уэльском, сапотек. Вспомогательный глагол следует за главным в баскском, бурушаски, чибча, гуарани, хинди, каннада, нубийском, кечуа, турецком языках.

¹⁶ К стр. 129. Подробнее см. Приложение I.

¹⁷ К стр. 131. К языкам, имеющим порядок «прилагательное — существительное» и «наречие — прилагательное», относятся языки бурушаски, финский, греческий, хинди, японский, каннада, майя, норвежский, кечуа, сербский, турецкий. К языкам, имеющим порядок «существительное — прилагательное» и «наречие — прилагательное», относятся баскский, бирманский, чибча, итальянский, лоритья. Порядок «существительное — прилагательное» и «прилагательное — наречие» имеют языки фуль, гуарани, иврит, малайский, суахили, тайский, йоруба и сапотек. К языкам, соблюдающим порядок «существительное — прилагательное», в которых некоторые наречия предшествуют прилагательному, а некоторые следуют за ним, относятся маори и уэльский. По языкам берберскому, масан, нубийскому и сонгаи нет данных.

¹⁸ К стр. 132. К языкам с порядком типа «прилагательное — показатель сравнения — образец» относятся берберский, фуль, греческий, иврит, итальянский, малайский, маори, норвежский, сербский, сонгаи, суахили, тайский, уэльский, сапотек. К языкам, соблюдающим порядок «образец сравнения — показатель сравнения — прила-

гательное», принадлежат языки баскский, бирманский, бурушаски, чибча, гуарани, хинди, японский, каннада, нубийский, турецкий. Обе конструкции обнаруживаются в финском.

¹⁹ К стр. 133. Порядок «имя нарицательное — имя собственное» имеют языки греческий, гуарани, итальянский, малайский, сербский, суахили, тайский, уэльсский, сапотек, а порядок «имя собственное — имя нарицательное» — баскский, бирманский, бурушаски, финский, японский, норвежский, нубийский и турецкий.

²⁰ К стр. 134. Относительное предложение предшествует существительному в баскском, бирманском, бурушаски, чибча, японском, каннада, турецком языках. Существительное предшествует относительному предложению в берберском, фуль, греческом, гуарани, иврит, хинди, итальянском, малайском, маори, масаи, майя, норвежском, кечуа, сербском, сонгаи, суахили, тайском, уэльсском, йоруба, сапотек. Оба типа порядка обнаруживаются в финском и нубийском языках. В финском языке конструкция с относительным предложением, предшествующим существительному, возникла в подражание литературному шведскому языку (по свидетельству Роберта Аустерлица).

²¹ К стр. 137. Исключительно суффиксальными языками являются баскский, бирманский, чибча, финский, хинди, японский, каннада, лоритя, нубийский, кечуа, сонгаи, турецкий.

²² К стр. 139. Мы выделяем те случаи, где затронут порядок, потому что существуют случаи нейтрализации согласования в числе, к которым порядок-единиц не имеет отношения. Например, в классическом греческом средний род множественного числа употребляется с глаголом, стоящим в единственном числе независимо от порядка слов.

Дополнительное замечание. О некоторых фактах я узнал слишком поздно и не смог включить их в эту статью. Например, согласно информации Эйнара Хаугена, норвежский язык имеет оба генитивных порядка. Заметим, что норвежский был единственным исключением в списке при обобщении на стр. 64. В ходе дискуссии на Международном лингвистическом конгрессе в Кэмбридже в августе 1962 г. было указано, что папаго (юто-ацтекская группа) принадлежит к типу I/P_o. Следовательно, он представляет собой исключение к универсалии 3. По данным Масона, этот язык, видимо, нужно отнести к 7-му типу (см. Приложение II).

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О 30-ти ЯЗЫКАХ СПИСКА

	VSO	Pr	NA	ND *	NNum **
Баскский	III	—	x	x	—
Берберский	I	x	x	x	—
Бирманский	III	—	x ¹	—	— ²
Бурушаски	III	—	—	—	—
Чибча	III	—	x	—	x
Финский	II	—	—	—	—
Фуль	II	x	x	x	x
Греческий	II	x	—	—	—
Гуарани	II	—	x	—	0
Иврит	I	x	x	x	—
Хинди	III	—	—	—	—
Итальянский	II	x	x ³	—	—
Каннада	III	—	—	—	—
Японский	III	—	—	—	— ²
Лоритъя	III	—	x	x	x
Малайский	II	x	x	x	— ²
Маори	I	x	x	—	—
Масаи	I	x	x	—	x
Маяя	II	x	—	—	— ²
Норвежский	II	x	—	—	—
Нубийский	III	—	x	—	x
Кечуа	III	—	—	—	—
Сербский	II	x	—	—	—
Сонгаи	II	—	x	x	x
Суахили	II	x	x	x	x
Тайский	II	x	x	x	— ²
Турецкий	III	—	—	—	—
Уэльсский	I	x	x ³	x	—
Йоруба	II	x	x	x	x
Сапотек	I	x	x	x	—

* ND = существительное — указательное местоимение. — Прим. ред.

** NNum = существительное — числительное. — Прим. ред.

В первой колонке римская цифра I означает, что нормальным порядком слов является порядок «глагол — субъект — объект», цифра II означает 2-й тип порядка: «субъект — глагол — объект» и цифра III — 3-й тип: «субъект — объект — глагол». Во второй колонке (x) указывает на то, что язык имеет предлоги, а черточка (—) указывает на то, что язык имеет послелог. В третьей колонке (x) означает, что существительное предшествует определяющему его прилагательному, а черточка (—) означает, что существительное следует за прилагательным. В четвертой колонке (x) указывает на то, что существительное предшествует определяющему его указательному местоимению, а черточка (—) означает, что существительное следует за ним. В пятой колонке (x) означает, что существительное предшествует определяющему его числительному, а черточка (—) — что существительное следует за ним. Во всех колонках 0 показывает, что обнаружены оба порядка.

Примечания к приложению I

¹ Причастие, имеющее свойства прилагательного и глагола, однако, предшествует существительному и кажется столь же обычным в данном языке, как и прилагательное, следующее за существительным.

² Нумеративы (numeral classifiers) в каждом случае следуют за числительными. Конструкция «числительное + нумератив» предшествует существительному в бирманском и майя, следует за существительным в японском и тайском и либо предшествует существительному, либо следует за ним в малайском языке.

³ В уэльском и итальянском языках небольшое число прилагательных обычно предшествует существительному.

Приложение II

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ ОСНОВНОГО ПОРЯДКА

1. I/Pr/NG/NA: Кельтские языки; иврит, арамейский, арабский, древнеегипетский, берберский; нанди, масан, лотуко, туркана, дидинга*; полинезийские и, вероятно, другие австронезийские языки; чинук, цимшиан; сапотек, чинантек, мистек и, вероятно, другие языки группы ото-манг.

* Языки nilотской семьи. — Прим. ред.

2. I/Pr/NG/AN: тагабили и, вероятно, другие филиппинские австронезийские языки; квакиутл, килеут, хинка.

3. I/Pr/GN/AN: мильпа альта нахуатль.

4. I/Pr/GN/NA. Нет примеров.

5. I/Po/NG/NA. Нет примеров.

6. I/Po/NG/AN. Нет примеров.

7. I/Po/GN/AN. Нет примеров.

8. I/Po/GN/NA. Нет примеров.

9. II/Pr/NG/NA: романские языки, албанский, современный греческий; западно-атлантические языки, йоруба, языки группы эдо, большинство языков группы бенуэ-конго, включая все языки банту; шиллук, ачоли, бари, большинство языков чадской группы хамито-семитской семьи, но не язык хауса; новосирийский, кхаси, никобарский, кхмерский, вьетнамский, все тайские языки, кроме кхамти; многие австронезийские языки, включая малайский; субтнаба *.

10. II/Pr/NG/AN: немецкий, голландский, исландский, славянские, эфик, креш (Kredj) **, майя, папиаменто ***.

11. II/Pr/GN/AN: норвежский, шведский, датский.

12. II/Pr/GN/NA: арапешский (Новая Гвинея).

13. II/Po/NG/NA. Нет примеров.

14. II/Po/NG/AN: рутульский и другие дагестанские языки Кавказа.

15. II/Po/GN/AN: финский, эстонский, иджо, китайский, алгонкинский (вероятно), соке.

16. II/Po/GN/NA: большинство языков мандинго и Вольты, кру, тви, га (Gã) ****, гуанг, эве, нупе, сонгаи, тонкава, гуарани.

17. III/Pr/NG/NA: персидский, иракв (кушитская группа), кхамти (тайская группа), аккадский.

18. III/Pr/NG/AN. Нет примеров.

19. III/Pr/GN/AN: амхарский.

20. III/Pr/GN/NA. Нет примеров.

21. III/Po/NG/NA: шумерский, эламский, галла, канури, теда, камиларой и другие юго-восточные австралийские языки.

22. III/Po/NG/AN. Нет примеров.

23. III/Po/GN/AN: хинди, бенгали и другие индоевропейские языки Индии; современный армянский, финно-угорские, за исключением финской группы; алтайский, юкагирский, палеоазиатские, корейский, айну, японский, гафат, харари, сидамо, хамир, бедауйе, нама готтен-

* Язык группы тлапанек семьи хока. — *Прим. ред.*

** Суданский язык группы бонго. — *Прим. ред.*

*** Креольский язык негров кюрасао. — *Прим. ред.*

**** Известны два языка с названием gã (gap): язык группы Вольты и язык эбурнео-дагомейской группы, — *Прим. ред.*

тотский; хиналугский, абхазский и другие кавказские языки; буршаски, дравидские; невари и другие китайско-тибетские языки; маринд-аним, навахо, майду, кечуа.

24. III/PO/GN/NA: баскский, хурритский, урартский, нубийский, кунама, фур, сандаве, бирманский, лушен, классический тибетский, макасаи, бунакский (Тимор), кате (Новая Гвинея), большинство австралийских языков, хайда, тлингит, сунн, читимача, тунника, ленка, матагальпа, куна, чибча, варрау.

Языки с объектом перед субъектом:

кёр д'ален: VOS/Pr/NG/NA.

сиулав, кус: VOS и OVS. PO/GN/AN.

Языки с различными конструкциями:

Ге'эз, бонток игорот * 1, 2; тагалский 1, 2, 3, 4; санго 9, 10; английский 10, 11; литовский 11, 15 (предлоги более многочисленны); мангбету **, арауканский 12, 13; такелма 12, 16 (предлоги встречаются чаще); мору-мади 13, 16; табасарнский 14, 15; луисеньо *** 15, 16; тигре 17, 18, 19, 20; тигринья 18, 19; сомали, маба 21, 24; афар, экари 23, 24.

Приложение III

УНИВЕРСАЛИИ

1. В повествовательных предложениях с именными субъектом и объектом почти всегда преобладает такой порядок слов, при котором субъект предшествует объекту.

2. В языках с предлогами генитив почти всегда следует за управляющим существительным, а в языках с послелогом он почти всегда предшествует ему.

3. Языки с доминирующим порядком VSO (глагол — субъект — объект) характеризуются наличием предлогов.

4. С вероятностью, гораздо большей, чем случайная, языки с нормальным порядком SOV имеют послелог.

5. Если язык имеет доминирующий порядок SOV и генитив в этом языке следует за управляющим существительным, то прилагательное также должно следовать за существительным.

6. Все языки с доминирующим порядком VSO имеют порядок SVO как один из альтернативных или как единственно альтернативный основной порядок слов.

* Бонток (бондоч) игорот — язык индонезийской ветви. — *Прим. ред.*

** Суданский язык нило-конголезской группы. — *Прим. ред.*

*** Луисеньо (Luiseño) — язык нето-ацтекской семьи. — *Прим. ред.*

7. Если в языке с доминирующим порядком SOV нет альтернативного основного порядка или в качестве альтернативы встречается только порядок OSV, то все наречные определители глагола будут также предшествовать глаголу. (Это «жесткий» подтип типа III.)

8. Когда вопрос, требующий ответа «да — нет», отличается от соответствующего утверждения интонационными различиями, дифференциальные интонационные признаки выявляются в конце предложения отчетливей, чем в начале.

9. Когда вопросительные частицы или аффиксы закреплены в позиции относительно предложения в целом, то с вероятностью, большей, чем случайная, начальные элементы обнаруживаются в языках с предлогами, а конечные — в языках с послелогоми.

10. Вопросительные частицы или аффиксы, которые относятся к определенному слову в предложении, почти всегда следуют за этим словом. Такие частицы не встречаются в языках с доминирующим порядком VSO.

11. Инверсия утвердительного порядка, состоящая в том, что глагол предшествует субъекту, встречается только в тех языках, где вопросительное слово или словосочетание стоят на первом месте. Та же самая инверсия встречается в общих вопросах, требующих ответа «да — нет», если только она встречается также и в вопросительных предложениях с вопросительным словом.

12. Если язык имеет доминирующий порядок VSO в повествовательных предложениях, то в вопросительных предложениях с вопросительными словами в этом языке вопросительные слова или словосочетания всегда стоят на первом месте; если в повествовательных предложениях язык имеет доминирующий порядок SOV, то это правило необязательно.

13. Если именной объект предшествует глаголу, то глагольные формы, подчиненные главному глаголу, также предшествуют ему.

14. В условных конструкциях условная часть предшествует заключению; такой порядок является нормальным для всех языков.

15. В конструкциях, выражающих желание и цель, нормальным порядком является тот, при котором подчиненная глагольная форма следует за главным глаголом; исключения составляют лишь те языки, в которых именной объект всегда предшествует глаголу.

16. В языках с доминирующим порядком VSO спрягаемый вспомогательный глагол всегда предшествует главному глаголу. В языках с доминирующим порядком SOV спрягаемый вспомогательный глагол всегда следует за главным глаголом.

17. С вероятностью, большей, чем случайная, можно ожидать, что в языках с доминирующим порядком VSO прилагательное стоит после существительного.

18. Когда описательное прилагательное предшествует существительному, указательное местоимение и числительное в подавляющем большинстве случаев также предшествуют существительному.

19. Общее правило, устанавливающее, что описательное прилагательное следует за существительным, может не распространяться на небольшое число прилагательных, которые обычно предшествуют существительному; но когда общее правило гласит, что описательное прилагательное предшествует существительному, то это правило не имеет исключений.

20. Когда какой-нибудь один или все элементы — указательное местоимение, числительное и описательное прилагательное — предшествуют существительному, они всегда располагаются именно в указанном порядке. Если они следуют за существительным, порядок будет или тем же самым, или прямо противоположным.

21. Если в каком-то языке некоторые или все наречия следуют за прилагательным, которое они определяют, то это значит, что данный язык принадлежит к числу тех, в которых определяющее прилагательное следует за существительным, а глагол предшествует своему именному объекту, и этот порядок слов является доминирующим.

22. Если единственным порядком слов или одним из альтернативных типов порядка в сравнительной конструкции является порядок «образец — показатель сравнения — прилагательное», то язык принадлежит к группе языков с послелогоми. Если единственным типом порядка является порядок «прилагательное — показатель сравнения — образец», то с более чем случайной вероятностью язык относится к группе языков с предлогами.

23. Если в приложении имя существительное собственное предшествует нарицательному имени существительному, то язык принадлежит к числу тех, в которых управляющее существительное предшествует зависящему от него генитиву. Для подавляющего большинства языков — если имя нарицательное обычно предшествует имени собственному, то зависимый генитив предшествует своему управляющему существительному.

24. Если относительное предложение в каком-то языке предшествует существительному либо как единственная конструкция, либо как альтернативная, то в таком случае или этот язык является языком с послелогоми, или прилагательное в данном языке предшествует существительному, или и то и другое вместе.

25. Если местоименный объект следует за глаголом, то за глаголом следует также и именной объект.

26. Если язык обладает прерывными аффиксами, то в нем всегда представлена либо префиксация, либо суффиксация, либо то и другое вместе.

27. Если язык исключительно суффиксальный, то это язык с послелогами; если язык исключительно префиксальный, то это язык с предлогами.

28. Если словообразовательный элемент и словоизменяемый элемент следуют за корнем или оба предшествуют корню, то словообразовательный элемент всегда находится между корнем и словоизменяемым элементом.

29. Если язык имеет словоизменение, то он обязательно должен иметь и словообразование.

30. Если глагол имеет категории лица и числа или если он имеет категорию рода, то он обязательно должен иметь и категории времени и наклонения.

31. Если субъект или объект, выраженный именем существительным, согласуется в роде с глаголом, то обязательно согласуется в роде с существительным и прилагательное.

32. В том случае, если глагол согласуется с именным субъектом или именным объектом в роде, он обязательно согласуется с ними также и в числе.

33. Если между существительным и глаголом нарушается согласование в числе и связь их основывается на порядке слов, то глагол должен предшествовать существительному и стоять в форме единственного числа.

34. Нет языка, который, имея тройственное число, не имел бы двойственного. Нет языка, который, имея двойственное число, не имел бы множественного.

35. Не существует языка, в котором форма множественного числа не имела бы каких-нибудь ненулевых алломорф, тогда как есть языки, в которых форма единственного числа выражена только нулевым показателем. Формы двойственного и тройственного числа почти никогда не бывают выражены только нулевым показателем.

36. Если язык имеет категорию рода, он обязательно имеет и категорию числа.

37. В единственном числе язык всегда имеет большее количество родовых категорий, чем в любом не-единственном числе.

38. При существовании падежной системы единственный падеж, имеющий только нулевые алломорфы, это тот, который в число своих значений включает значение субъекта непереходного глагола.

39. Там, где присутствуют морфемы числа и падежа и обе они следуют за именной основой или обе предшествуют ей, морфема

числа почти всегда находится между именной основой и морфемой падежа.

40. Когда прилагательное следует за существительным, прилагательное выражает все словоизменительные категории существительного. В этих случаях существительное может не иметь формального выражения одной или всех этих категорий.

41. Если в языке глагол следует за именным субъектом и именным объектом и такой порядок слов является доминирующим, то язык почти всегда имеет падежную систему.

42. Все языки имеют местоименные категории, включающие по крайней мере три лица и два числа.

43. Если в языке категория рода свойственна имени существительному, то она свойственна и местоимению.

44. Если язык имеет родовые различия в первом лице, то он обязательно должен иметь родовые различия во втором или в третьем лице или в обоих вместе.

45. Если во множественном числе местоимения выражены какие-либо родовые различия, то какие-то родовые различия имеются и в единственном числе.

Теория речевых актов и ее приложения

ЧТО ТАКОЕ РЕЧЕВОЙ АКТ?

1. ВВЕДЕНИЕ

В типичной речевой ситуации, включающей говорящего, слушающего и высказывание говорящего, с высказыванием связаны самые разнообразные виды актов. При высказывании говорящий приводит в движение речевой аппарат, произносит звуки. В то же время он совершает другие акты: информирует слушающих либо вызывает у них раздражение или скуку. Он также осуществляет акты, состоящие в упоминании тех или иных лиц, мест и т. п. Кроме того, он высказывает утверждение или задает вопрос, отдает команду или докладывает, поздравляет или предупреждает, то есть совершает акт из числа тех, которые Остин (см. Austin 1962) назвал иллокутивными. Именно этот вид актов рассматривается в данной работе, и ее можно было бы назвать «Что такое иллокутивный акт?». Я не пытаюсь дать определение термина «иллокутивный акт», но, если мне удастся дать правильный анализ отдельного иллокутивного акта, этот анализ может лечь в основу такого определения. Примерами английских глаголов и глагольных словосочетаний, связанных с иллокутивными актами, являются: state 'излагать', констатировать, утверждать', assert 'утверждать, заявлять', describe 'описывать', warn 'предупреждать', remark 'замечать', comment 'комментировать', command 'командовать', order 'приказывать', request 'просить', criticize 'критиковать', apologize 'извиняться', censure 'порицать', approve 'одобрять', welcome 'приветствовать', promise 'обещать', express approval 'выражать одобрение' и express regret 'выражать сожаление'. Остин утверждал, что в английском языке таких выражений более тысячи.

В порядке введения, вероятно, есть смысл объяснить, почему я думаю, что изучение речевых актов (или, как их иногда называют, языковых, или лингвистических, актов) представляет интерес и имеет важное значение для философии языка. Я думаю, что существенной чертой любого вида языкового общения яв-

John R. Searle. What is a speech act? — In: «Philosophy in America», ed. Max Black, London, Allen and Unwin, 1965, p. 221—239.

ляется то, что оно включает в себя языковой акт. Вопреки пространенному мнению основной единицей языкового общения является не символ, не слово, не предложение и даже не конкретный экземпляр символа, слова или предложения, а *производство** этого конкретного экземпляра в ходе совершения речевого акта. Точнее говоря, производство конкретного предложения в определенных условиях есть иллокутивный акт, а иллокутивный акт есть минимальная единица языкового общения.

Я не знаю, как *доказать*, что акты составляют существо языкового общения, но я могу привести аргументы, с помощью которых можно попытаться убедить тех, кто настроен скептически. В качестве первого аргумента следует привлечь внимание скептика к тому факту, что если он воспринимает некоторый звук или значок на бумаге как проявление языкового общения (как сообщение), то один из факторов, обуславливающих такое его восприятие, заключается в том, что он должен рассматривать этот звук или значок как результат деятельности существа, имеющего определенные намерения. Он не может рассматривать его просто как явление природы — вроде камня, водопада или дерева. Чтобы рассматривать его как проявление языкового общения, надо предположить, что его производство есть то, что я называю речевым актом. Так, например, логической предпосылкой предпринимаемых ныне попыток дешифровать некроглифы майя является гипотеза о том, что значки, которые мы видим на камнях, были произведены существами, более или менее похожими на нас, и произведены с определенными намерениями. Если бы мы были уверены, что эти значки появились вследствие эрозии, то никто бы не подумал заниматься их дешифровкой или даже называть их некроглифами. Подведение их под категорию языкового общения с необходимостью влечет понимание их производства как совершения речевых актов.

Совершение иллокутивного акта относится к тем формам поведения, которые регулируются правилами. Я постараюсь показать, что такие действия, как задавание вопросов или высказывание утверждений, регулируются правилами точно так же, как подчиняются правилам, например, базовый удар в бейсболе или ход конем в шахматах. Я хочу, следовательно, эксплицировать понятие иллокутивного акта, задав множество необходимых и достаточных условий для совершения некоторого конкретного вида иллокутивного акта и выявив из него множество семантических правил для употребления того выражения (или синтаксического средства), которое маркирует высказывание как иллоку-

* Английскому production соответствуют также русские термины «построение», «создание», «созидание», «синтез», «говорение», а с учетом более современной перспективы — «вербализация замысла». — *Прим. ред.*

тивный акт именно данного вида. Если я смогу сформулировать такие условия и соответствующие им правила хотя бы для одного вида иллокутивных актов, то в нашем распоряжении будет модель для анализа других видов актов и, следовательно, для экспликации данного понятия вообще. Но, чтобы подготовить почву для формулирования таких условий и извлечения из них правил совершения иллокутивного акта, я должен обсудить еще три исходных понятия: *правила, суждения и значение*. Я ограничу обсуждение этих понятий теми аспектами, которые существенны для целей настоящего исследования, и все же, для того чтобы хоть сколько-нибудь полно изложить все, что мне хотелось бы сказать о каждом из этих понятий, потребовались бы три отдельные работы. Однако иногда стоит пожертвовать глубиной ради широты, и потому я буду очень краток.

II. ПРАВИЛА

В последние годы в философии языка неоднократно обсуждалось понятие правил употребления выражений. Некоторые философы даже говорили, что знание значения слова есть просто знание правил его употребления или использования. Настораживает в таких дискуссиях то, что ни один философ, насколько мне известно, ни разу не предложил ничего похожего на адекватную формулировку правил употребления хотя бы одного выражения. Если значение сводится к правилам употребления, то мы должны уметь формулировать правила употребления выражений так, чтобы эксплицировалось значение этих выражений. Другие философы, возможно, напуганные неспособностью своих коллег предложить какие-либо правила, отвергли модную точку зрения, согласно которой значение сводится к правилам, и заявили, что подобных семантических правил вообще не существует. Я склонен думать, что их скептицизм преждевременен и что его источник кроется в неспособности разграничить разные виды правил. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду.

Я провожу различие между двумя видами правил. Одни правила регулируют формы поведения, которые существовали до них; например, правила этикета регулируют межличностные отношения, но эти отношения существуют независимо от правил этикета. Другие же правила не просто регулируют, но создают или определяют новые формы поведения. Футбольные правила, например, не просто регулируют игру в футбол, но, так сказать, создают саму возможность такой деятельности или определяют ее. Деятельность, называемая игрой в футбол, состоит в осуществлении действий в соответствии с этими правилами; футбола вне этих правил не существует. Назовем правила второго типа

конститутивными, а первого типа регулятивными. Регулятивные правила регулируют деятельность, существовавшую до них, — деятельность, существование которой логически независимо от существования правил. Конститутивные правила создают (а также регулируют) деятельность, существование которой логически зависит от этих правил¹.

Регулятивные правила обычно имеют форму императива или имеют императивную перифразу, например, “Пользуясь ножом во время еды, держи его в правой руке” или “На обеде официеры должны быть в галстуках”. Некоторые конститутивные правила принимают совершенно иную форму, например, королю дан мат, если он атакован таким образом; что никакой ход не может вывести его из-под удара; гол при игре в регби засчитывается, когда игрок во время игры пересекает голевую линию противника с мячом в руках. Если образцом правил для нас будут императивные регулятивные правила, то неимперативные конститутивные правила такого рода, вероятно, покажутся в высшей степени странными и даже мало похожими на правила вообще. Заметьте, что по характеру своему они почти тавтологичны, ибо такое «правило», как кажется, уже дает частичное определение «мата» или «гола». Но разумеется, квазитавтологический характер есть неизбежное следствие их как конститутивных правил: правила, касающиеся голов, должны определять понятие «гол» точно так же, как правила, касающиеся футбола, определяют «футбол». То, что, например, в регби гол может засчитываться при таких-то и таких-то условиях и оценивается в шесть очков, в одних случаях может выступать как правило, в других — как аналитическая истина; и эта возможность истолковать правило как тавтологию является признаком, по которому данное правило может быть отнесено к конститутивным. Регулятивные правила обычно имеют форму «Делай X» или «Если Y, то делай X». Некоторые представители класса конститутивных правил имеют такую же форму, но наряду с этим есть и такие, которые имеют форму «X считается Y-ом»².

Непонимание этого имеет важные последствия для философии. Так, например, некоторые философы задают вопрос: «Как обещание может породить обязательство?» Аналогичным был бы вопрос: «Как гол может породить шесть очков?» Ответить на оба эти вопроса можно только формулированием правила вида «X считается Y-ом».

Я склонен думать, что неумение одних философов формулировать правила употребления выражений и скептическое отношение других философов к самой возможности существования таких правил проистекает, по крайней мере частично, из неумения проводить различие между конститутивными и регулятивными правилами. Моделью, или образцом, правила для большинства

философов является регулятивное правило, но, если мы будем искать в семантике чисто регулятивные правила, мы вряд ли найдем что-либо интересное с точки зрения логического анализа. Несомненно, существуют правила общения (social rules) вида «Не следует говорить непристойности на официальных собраниях», но едва ли таким правилам принадлежит решающая роль в экспликации семантики языка. Гипотеза, на которой основывается данная работа, состоит в том, что семантику языка можно рассматривать как ряд систем конститутивных правил и что иллокутивные акты суть акты, совершаемые в соответствии с этими наборами конститутивных правил. Одна из целей этой работы — сформулировать множество конститутивных правил для одного вида речевых актов. И если то, что я сказал о конститутивных правилах, верно, мы не должны удивляться, что не все эти правила примут форму императива. В самом деле, мы увидим, что эти правила распадаются на несколько разных категорий, ни одна из которых не совпадает полностью с правилами этикета. Попытка сформулировать правила для иллокутивного акта может рассматриваться также как своего рода проверка гипотезы, согласно которой в основе речевых актов лежат конститутивные правила. Если мы не сможем дать удовлетворительных формулировок правил, наша неудача может быть истолкована как свидетельство против гипотезы, частичное ее опровержение.

III. СУЖДЕНИЯ

Разные иллокутивные акты часто имеют между собой нечто общее. Рассмотрим произнесение следующих предложений:

- (1) “Джон выйдет из комнаты?”
- (2) “Джон выйдет из комнаты”.
- (3) “Джон, выйди из комнаты!”
- (4) “Вышел бы Джон из комнаты”.
- (5) “Если Джон выйдет из комнаты, я тоже выйду”.

Произнося каждое из этих предложений в определенной ситуации, мы обычно совершаем разные иллокутивные акты. Первое обычно будет вопросом, второе — утверждением о будущем, то есть предсказанием, третье — просьбой или приказом, четвертое — выражением желания, а пятое — гипотетическим выражением намерения. Однако при совершении каждого акта говорящий обычно совершает некоторые дополнительные акты, которые будут общими для всех пяти иллокутивных актов. При произнесении каждого предложения говорящий *осуществляет референцию** к

* Английский глагол refer(to) может иметь и такие переводы, как ‘упоминать’, ‘соотносить с’, ‘обозначать’, ‘говорить о’. Перевод ‘осуществлять референцию к’ связан с трактовкой референции как речевого акта (см. сборник «Новое

конкретному лицу — Джону — и *преддицирует* этому лицу действие выхода из комнаты. Ни в одном случае этим не исчерпывается то, что он делает, но во всех случаях это составляет часть того, что он делает. Я буду говорить, следовательно, что в каждом из этих случаев при различии иллокутивных актов по меньшей мере некоторые из неиллокутивных актов референции и предикации совпадают.

Референция к некоему Джону и предикация одного и того же действия этому лицу в каждом из рассматриваемых иллокутивных актов позволяет мне сказать, что эти акты связывает некоторое общее *содержание*. То, что может, видимо, быть выражено придаточным предложением “что Джон выйдет из комнаты”, есть общее свойство всех предложений. Не боясь слишком исказить эти предложения, мы можем записать их так, чтобы выделить это их общее свойство: “Я утверждаю, что Джон выйдет из комнаты”, “Я спрашиваю, выйдет ли Джон из комнаты” и т. д.

За именем более подходящего слова я предлагаю называть это общее содержание *суждением*, или *пропозицией* (*proposition*), и я буду описывать эту черту данных иллокутивных актов, говоря, что при произнесении предложений (1) — (5) говорящий выражает суждение, что Джон выйдет из комнаты. Заметьте: я не говорю, что суждение выражается соответствующим предложением; я не знаю, как предложения могли бы осуществлять акты этого типа. Но я буду говорить, что при произнесении предложения говорящий выражает суждение. Заметьте также, что я провожу разграничение между суждением и утверждением (*assertion*) или констатацией (*statement*) этого суждения. Суждение, что Джон выйдет из комнаты, выражается при произнесении всех предложений (1) — (5), но только в (2) это суждение утверждается. Утверждение — иллокутивный акт, а суждение вообще не акт, хотя акт выражения суждения есть часть совершения определенных иллокутивных актов.

Резюмируя описанную концепцию, я мог бы сказать, что разграничиваю иллокутивный акт и пропозициональное* содержание иллокутивного акта. Конечно, не все высказывания имеют пропозициональное содержание, например, не имеют его восклицания “Ура!” или “Ой!”. В том или ином варианте это разграничение известно давно и так или иначе отмечалось такими разными авторами, как Фреге, Шеффер, Льюис, Рейхенбах, Хэар.

С семантической точки зрения мы можем различать в предложении пропозициональный показатель (*indicator*) и показа-

в зарубежной лингвистике», вып. XIII. М., «Радуга», 1982). О более традиционных аспектах референции см. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., «Прогресс», 1978, разд. 9.4. — *Прим. ред.*

* Это прилагательное означает связь с суждением, пропозицией. — *Прим. ред.*

тель иллокутивной функции. То есть о большом классе предложений, используемых для совершения иллокутивных актов, можно сказать в целях нашего анализа, что предложение имеет две (не обязательно отдельные) части — элемент, служащий показателем суждения, и средство, служащее показателем функции³. Показатель функции позволяет судить, как надо воспринимать данное суждение, или, иными словами, какую иллокутивную силу должно иметь высказывание, то есть какой иллокутивный акт совершает говорящий, произнося данное предложение. К показателям функции в английском языке относятся порядок слов, ударение, интонационный контур, пунктуация, наклонение глагола и, наконец, множество так называемых перформативных глаголов: я могу указать на тип совершаемого мной иллокутивного акта, начав предложение с "Я прошу прощения", "Я предупреждаю", "Я утверждаю" и т. д. Часто в реальных речевых ситуациях иллокутивную функцию высказывания проясняет контекст, и необходимость в соответствующем показателе функции отпадает.

Если это семантическое разграничение действительно существенно, то весьма вероятно, что оно должно иметь какой-то синтаксический аналог, и некоторые из последних достижений в трансформационной грамматике служат подтверждением того, что это так. В структуре составляющих, лежащей в основе предложения, есть различие между теми элементами, которые соответствуют показателю функции, и теми, которые соответствуют пропозициональному содержанию.

Разграничение между показателем функции и показателем суждения очень поможет нам при анализе иллокутивного акта. Поскольку одно и то же суждение может быть общим для всех типов иллокутивных актов, мы можем отделить анализ суждения от анализа видов иллокутивных актов. Я думаю, что существуют правила для выражения суждений, правила для таких вещей, как референция и предикация, но эти правила могут обсуждаться независимо от правил указания функции. В этой работе я не буду обсуждать пропозициональные правила, но сосредоточусь на правилах употребления некоторых видов показателей функции.

IV. ЗНАЧЕНИЕ

Речевые акты обычно производятся при произнесении звуков или написании значков. Какова разница между *просто* произнесением звуков или написанием значков и совершением речевого акта? Одно из различий состоит в том, что о звуках или значках, делающих возможным совершение речевого акта, обычно говорят, что они *имеют значение* (meaning). Второе различие,

связанное с первым, состоит в том, что о человеке обычно говорят, что он *что-то имел в виду* (meant), употребляя эти звуки или знаки. Как правило, мы что-то имеем в виду под тем, что говорим, и то, что мы говорим (то есть производимая нами цепочка морфем), имеет значение. В этом пункте, между прочим, опять нарушается аналогия между совершением речевого акта и игрой. О фигурах в игре, подобной шахматам, не принято говорить, что они имеют значение, и, более того, когда делается ход, не принято говорить, что под этим ходом нечто имеется в виду.

Но что значит «мы что-то имеем в виду под сказанным» и что значит «нечто имеет значение»? Для ответа на первый вопрос я предполагаю позаимствовать и пересмотреть некоторые идеи Пола Грайса. В статье под названием «Значение» (См. Grice 1957) Грайс дает следующий анализ одного из осмыслений понятия meaning*. Сказать, что *A* что-то имел в виду под *x* (*A* meant something by *x*) — значит сказать, что “*A* намеревался, употребив выражение *x*, этим своим употреблением оказать определенное воздействие на слушающих посредством того, что слушающие опознают это намерение”. Мне кажется, что это плодотворный подход к анализу субъективного значения, прежде всего потому, что он показывает тесную связь между понятием значения и понятием намерения, а также потому, что он улавливает то, что, как мне думается, является существенным для употребления языка. Говоря на каком-либо языке, я пытаюсь сообщить что-то моему слушателю посредством подведения его к опознанию моего намерения сообщить именно то, что я имел в виду. Например, когда я делаю утверждение, я пытаюсь сообщить моему слушателю об истинности определенного суждения и убедить его в ней; а средством достижения этой цели является произнесение мной определенных звуков с намерением произвести на него желаемое воздействие посредством того, что он опознает мое намерение произнести именно такое воздействие. Приведу пример. Я мог бы, с одной стороны, пытаться убедить вас в том, что я француз, все время говоря по-французски, одеваясь на французский манер, выказывая неумеренный энтузиазм в отношении де Голля и стараясь поддерживать знакомство с французами. Но, с другой сто-

* То осмысление понятия meaning, о котором здесь идет речь, не имеет соответствия среди значений русского слова «значение». Английское слово meaning в этом значении является дериватом от глагола mean в тех его употреблениях, которые переводятся на русский язык как ‘иметь в виду, хотеть сказать’. Поскольку в русском языке субстантивные дериваты указанных выражений отсутствуют, то для выражения указанного значения английского meaning будем использовать условный термин «субъективное значение». Итак, переводя термин mean как ‘иметь в виду’, мы переводим его дериват meaning как ‘субъективное значение’, пытаясь таким искусственным способом сохранить внешнее сходство двух выражений, соответствующих двум разным значениям английского слова meaning: ‘объективное значение’ и ‘субъективное значение’. — *Прим. перев.*

роны, я мог бы пытаться убедить вас в том, что я — француз, просто сказав вам, что я — француз. Какова же разница между этими двумя способами воздействия? Коренное различие заключается в том, что во втором случае я пытаюсь убедить вас в том, что я — француз, делая так, чтобы вы узнали, что убедить вас в этом и есть мое подлинное намерение. Это входит в качестве одного из моментов в адресуемое вам сообщение о том, что я — француз. Но, конечно, если я стараюсь убедить вас в том, что я — француз, разгрывая вышеописанный спектакль, то средством, которое я использую, уже не будет узнавание вами моего намерения. В этом случае вы, я думаю, как раз заподозрили бы неладное, если бы распознали мое намерение.

Несмотря на большие достоинства этого анализа субъективного значения, он представляется мне в некоторых отношениях недостаточно точным. Во-первых, он не разграничивает разные виды воздействий, которые мы можем хотеть оказать на слушающих, — перлокутивные в отличие от иллюкутивных, и, кроме того, он не показывает, как эти разные виды воздействий связаны с понятием субъективного значения. Второй недостаток этого анализа состоит в том, что он не учитывает той роли, которую играют в субъективном значении правила, или конвенции. То есть это описание субъективного значения не показывает связи между тем, что имеет в виду говорящий, и тем, что его высказывание действительно значит с точки зрения языка. В целях иллюстрации данного положения я приведу контрпример для этого анализа субъективного значения. Смысл контрпримера состоит в иллюстрации связи между тем, что имеет в виду говорящий, и тем, что значат слова, которые он произносит.

Допустим, я — американский солдат, которого во время второй мировой войны взяли в плен итальянские войска. Допустим также, что я хочу сделать так, чтобы они приняли меня за немецкого офицера и освободили. Лучше всего было бы сказать им по-немецки или по-итальянски, что я — немецкий офицер. Но предположим, что я не настолько хорошо знаю немецкий и итальянский, чтобы сделать это. Поэтому я, так сказать, пытаюсь сделать вид, что говорю им, что я немецкий офицер, на самом деле произнося по-немецки то немногое, что я знаю, в надежде, что они не настолько хорошо знают немецкий, чтобы разгадать мой план. Предположим, что я знаю по-немецки только одну строчку из стихотворения, которое учил наизусть на уроках немецкого в средней школе. Итак, я, пленный американец, обращаюсь к взявшим меня в плен итальянцам со следующей фразой: "Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?" Теперь опишем эту ситуацию в терминах Грайса. Я намерен оказать на них определенное воздействие, а именно убедить их, что я немецкий офицер; и я намерен достичь этого результата благодаря опознанию ими моего

намерения. Согласно моему замыслу, они должны думать, что я пытаюсь сказать им, что я немецкий офицер. Но следует ли из этого описания, что, когда я говорю "Kennst du das Land...", я имею в виду 'Я немецкий офицер'? Нет, не следует. Более того, в данном случае кажется явно ложным, что, когда я произношу это немецкое предложение, я имею в виду 'Я немецкий офицер' или даже 'Ich bin ein deutscher Offizier', потому что эти слова означают не что иное, как 'Знаешь ли ты страну, где цветут лимонные деревья'? Конечно, я хочу обманом заставить тех, кто взял меня в плен, думать, что я имею в виду 'Я немецкий офицер', но чтобы этот обман удался, я должен заставить их думать, что именно это означают произносимые мною слова в немецком языке. В одном месте в «Философских исследованиях» Витгенштейн говорит: «Скажите "здесь холодно", имея в виду, "здесь тепло"» (см. Wittgenstein 1953, § 510). Причина, по которой этого сделать нельзя, заключается в важной закономерности: то, что мы можем иметь в виду, является функцией того, что мы говорим. Субъективное значение обусловлено не только намерением, но и конвенцией.

Описание Грайса может быть уточнено с учетом контрпримеров этого типа. В данном случае я стараюсь достичь определенного результата благодаря распознаванию моего намерения достичь этого результата, но я использую для достижения этого результата средство, которое, согласно конвенции, то есть правилам пользования этим средством, используется для достижения совсем иных иллокутивных результатов. Следовательно, мы должны переформулировать Грайсово описание субъективного значения таким образом, чтобы стало ясно, что связь между тем, что мы имеем в виду, когда говорим, и тем, что означает предложение в языке, на котором мы говорим, отнюдь не случайна. В нашем анализе иллокутивных актов мы должны уловить как интенциональный, так и конвенциональный аспект, и в особенности соотношение между ними. Совершая иллокутивный акт, говорящий намерен получить определенный результат, заставив слушающего опознать свое намерение получить этот результат, и далее, если он употребляет слова в буквальном смысле, он хочет, чтобы это опознание было осуществлено благодаря тому факту, что правила употребления произносимых им выражений связывают эти выражения с получением данного результата. Именно такое сочетание элементов нам и нужно будет отразить в нашем анализе иллокутивного акта.

V. КАК ОБЕЩАТЬ

Попытаемся теперь проанализировать иллокутивный акт обещания. Для этого зададимся вопросом: какие условия необходимы

и достаточны для того, чтобы произнесение данного предложения было совершением акта обещания? Я попытаюсь ответить на поставленный вопрос, представив эти условия в виде множества суждений, таких, что конъюнкция членов этого множества влечет суждение, что говорящий дал обещание, а суждение, что говорящий дал обещание, влечет эту конъюнкцию. Таким образом, каждое условие будет необходимым условием для совершения акта обещания, а все множество условий в совокупности будет достаточным условием для совершения этого акта.

Если мы получим такое множество условий, мы сможем извлечь из него множество правил употребления показателя данной функции. Наш метод аналогичен выяснению правил игры в шахматы путем поиска ответа на вопрос о том, каковы необходимые и достаточные условия, при которых ход конем, или рокировка, или мат и т. п. считаются сделанными правильно. Мы находимся в положении человека, который научился играть в шахматы, не будучи знаком с формулировкой правил, и который хочет получить такую формулировку. Мы научились играть в игру иллокутивных актов, но, как правило, мы обходились без эксплицитной формулировки правил, и первым шагом на пути к такой формулировке является изложение условий совершения некоторого конкретного иллокутивного акта. Наше исследование поэтому послужит двойной философской цели. Сформулировав множество условий для совершения конкретного иллокутивного акта, мы дадим частичную экспликацию этого понятия и одновременно подготовим почву для второго шага — формулирования соответствующих правил.

Формулирование условий представляется мне очень трудным делом, и я не вполне удовлетворен тем списком, который собираюсь представить. Одним из источников затруднений является то, что понятие обещания, как и большинство понятий обыденного языка, не связано с абсолютно строгими правилами. Существует масса странных, необычных и пограничных случаев обещания, и против моего анализа могут быть выдвинуты в большей или меньшей степени причудливые контрпримеры. Я склонен думать, что мы не сможем получить множество необходимых и достаточных условий, которое на сто процентов верно отражало бы обыденное употребление слова *promise* 'обещать'. Поэтому я ограничусь в своем обсуждении центральной частью понятия обещания, игнорируя пограничные, периферийные и недостаточно типичные случаи. К тому же я буду обсуждать только полные эксплицитные обещания, оставляя в стороне обещания, даваемые в форме эллиптических оборотов, намеков, метафор и т. п.

Другая трудность вытекает из моего желания избежать порочного круга при формулировании условий. Список условий, при которых совершается определенный иллокутивный акт, должен

быть составлен таким образом, чтобы в них самих не содержалось ссылок на совершение каких бы то ни было иллокутивных актов. Только тогда я смогу предложить экспликацию понятия иллокутивного акта вообще, иначе я бы просто показывал связи между разными иллокутивными актами. Однако, хотя на иллокутивные акты ссылок не будет, некоторые иллокутивные понятия встретятся как в анализирующих, так и в анализируемых выражениях; и, думаю, такая форма кругообразности неизбежна, что следует из природы конститутивных правил.

Излагая условия, я сначала рассмотрю случай искреннего обещания, а затем покажу, как изменить условия с тем, чтобы охватить и неискренние обещания. Так как наше исследование носит скорее семантический, чем синтаксический характер, существование грамматически правильно оформленных предложений будет принято нами как исходное допущение.

Пусть говорящий *S* произнесит предложение *T* в присутствии слушающего *H*. Тогда при произнесении* *T* *S* искренне (и корректно) обещает *H*, что *p*, если, и только если:

(1) *Соблюдены условия нормального входа и выхода*

S помощью терминов «вход» и «выход» я обозначаю большой и не имеющий четких границ класс условий, которые обеспечивают возможность любого серьезного языкового общения. «Выход» покрывает условия для вразумительного говорения, а «вход» — условия для понимания. В совокупности они включают в себя то, что говорящий и слушающий оба владеют данным языком; то, что оба действуют сознательно; то, что говорящий действует не по принуждению и не под угрозой; то, что у них нет физических препятствий для общения, таких, как глухота, афазия или ларингит; то, что они не исполняют роль в спектакле и не говорят в шутку и т. п.

(2) *S* при произнесении *T* выражает мысль, что *p*

Это условие отделяет пропозициональное содержание от прочих составляющих речевого акта и позволяет нам сосредоточиться в дальнейшем на особенностях обещания.

(3) *Выражая мысль, что p, S предсказывает будущий акт говорящему S*

В случае обещания показатель данной функции — это выражение, требующее наличия у суждения определенных свойств. При обещании должен предсказываться некоторый акт говорящему, и этот акт не может относиться к прошлому. Я не могу обещать, что я уже нечто сделал, равно как и не могу обещать, что кто-то другой нечто сделает. (Хотя я могу обещать, что позабочусь о том, чтобы он сделал это.) Понятие акта, которое я

* Английское *in the utterance of T* могло бы переводиться также 'в ходе произнесения *T*', 'произнося *T*'.

здесь использую, включает воздержание от актов, совершение ряда актов; оно также может включать в себя состояния и обстоятельства (conditions): я могу обещать не делать что-то, обещать регулярно делать что-то, а также обещать быть или оставаться в определенном состоянии или в определенных обстоятельствах. Назовем условия (2) и (3) *условиями пропозиционального содержания*.

(4) *Н предпочел бы совершение говорящим S акта А несовершению говорящим S акта А, и S убежден, что Н предпочел бы совершение им А несовершению им А*

Коренное различие между обещаниями, с одной стороны, и угрозами — с другой, состоит в том, что обещание есть обязательство что-то сделать для вас (for you), а не в ущерб вам (to you), тогда как угроза есть обязательство что-то сделать в ущерб вам, а не для вас. Обещание некорректно (defective), если обещают сделать то, чего не хочет адресат обещания; оно тем более некорректно, если обещающий не убежден, что адресат обещания хочет, чтобы это было сделано, поскольку корректное обещание должно быть задумано как обещание, а не как угроза или предупреждение. Думаю, что обе половины этого двойного условия необходимы, если мы хотим избежать довольно очевидных контр-примеров.

Однако может показаться, что есть примеры, которые не подчиняются этому условию в такой его формулировке. Допустим, я говорю нерадивому студенту: If you don't hand in your paper on time I promise you I will give you a failing grade in the course. 'Если вы не сдадите вашу работу в срок, я обещаю поставить вам неудовлетворительную оценку за этот курс'. Является ли это высказывание обещанием? Я склонен считать, что нет. Но почему же тогда в подобном случае можно употреблять выражение I promise 'я обещаю'? Думаю, что мы употребляем его здесь потому, что I promise 'я обещаю' и I hereby promise 'сим я обещаю' принадлежат к числу самых сильных показателей функции для принятия *обязательства*, которыми располагает английский язык. По этой причине мы часто употребляем эти выражения при совершении речевых актов, которые, строго говоря, не являются обещаниями, но в которых мы желаем подчеркнуть принятие на себя обязательства. Чтобы проиллюстрировать это положение, рассмотрим другой пример, который тоже может показаться противоречащим нашему анализу, хотя и иным образом. Иногда, причем, я думаю, чаще в США, чем в Англии, можно услышать, как, делая эмфатическое утверждение, говорят I promise. Допустим, я обвиняю вас в том, что вы украли деньги. Я говорю You stole that money, didn't you? 'Вы украли эти деньги, не так ли?' Вы отвечаете: No, I didn't. I promise you I didn't. 'Нет, я не крал. Клянусь (букв.: обещаю), что не крал'. Дали ли вы в этом слу-

чае обещание? Я считаю, что было бы крайне неестественно описывать ваше высказывание как обещание. Это высказывание скорее можно охарактеризовать как эмфатическое отрицание, а данное употребление показателя функции I promise 'Я обещаю' можно трактовать как производное от настоящих обещаний и как выражение, служащее здесь для усиления отрицания.

В целом суть условия (4) состоит в том, что для обеспечения корректности обещания обещающее должно быть чем-то, чего слушающий хочет, в чем он заинтересован или что он считает предпочтительным и т. п.; а говорящий должен сознавать, полагать или знать и т. п., что это так. Для более изящной и точной формулировки этого условия, я думаю, придется вводить специальную терминологию.

(5) *Как для S, так и для H не очевидно, что S совершит A при нормальном ходе событий*

Это условие — частный случай общего условия для самых разных видов иллокутивных актов, состоящего в том, что данный иллокутивный акт должен иметь мотив. Например, если я прошу кого-нибудь сделать то, что он уже явно делает или вот-вот сделает, то моя просьба не мотивирована и в силу этого некорректна. В реальной речевой ситуации слушающие, знающие правила совершения иллокутивных актов, будут предполагать, что это условие соблюдается. Допустим для примера, что во время публичного выступления я говорю одному из слушателей: "Смит, слушайте меня внимательно". Чтобы понять это высказывание, присутствующие должны будут предположить, что Смит слушал невнимательно или по крайней мере его внимание не проявлялось достаточно явно; так или иначе — его внимательность поставлена под сомнение. Это происходит потому, что условием обращения с просьбой является неочевидность того, что адресат в момент речи делает или вот-вот сделает то, о чем его просят.

То же с обещаниями. С моей стороны будет неправильно обещать сделать то, что я со всей очевидностью должен сделать в любом случае. Если же все-таки создается впечатление, что я даю такое обещание, то мое высказывание слушатели могут считать осмысленным только тогда, когда будут исходить из предположения, что я сам твердо не уверен в своем намерении совершить акт, о котором идет речь в обещании. Так, женившийся по любви мужчина, обещающий жене, что не покинет ее на следующей неделе, скорее поселит в ее душе тревогу, чем покой.

Кстати, я думаю, что это условие является частным случаем тех явлений, которые охватываются законом Ципфа. Я думаю, что в нашем языке, как в большинстве других форм человеческого поведения, действует принцип наименьшего усилия, в данном случае принцип максимума иллокутивных результатов при минимуме фонетических усилий: я думаю, что условие (5) — одно из его проявлений.

Назовем условия типа (4) и (5) *подготовительными условиями*. Они *sine quibus* по успешного обещания, но не они воплощают самый существенный его признак.

(6) *S намерен совершить A*

Самое важное различие между искренними и неискренними обещаниями состоит в том, что в случае искреннего обещания говорящий намерен осуществить обещанный акт, а в случае неискреннего обещания — не намерен осуществлять этот акт. Кроме того, при искреннем обещании говорящий убежден, что он имеет возможность совершить данный акт (или воздержаться от его совершения), но, я думаю, из того, что он намерен его совершить, следует, что он уверен в наличии соответствующей возможности, и поэтому я не формулирую это как отдельное условие. Данное условие назовем *условием искренности*.

(7) *S намерен с помощью высказывания T связать себя обязательством совершить A*

Существенный признак обещания состоит в том, что оно является принятием обязательства совершить определенный акт. Я думаю, это условие отличает обещания (и близкие к ним явления, например клятвы) от других видов речевых актов. Заметьте, что в формулировке условия мы только определяем намерение говорящего; дальнейшие условия прояснят, как это намерение реализуется. Ясно, однако, что наличие такого намерения является необходимым условием для обещания, так как если говорящий может показать, что у него не было этого намерения в данном высказывании, то он может доказать, что это высказывание не было обещанием. Мы знаем, например, что мистер Пиквик не обещал женщине жениться на ней, потому что мы знаем, что он не имел соответствующего намерения*.

Назовем это *существенным условием*.

(8) *S намерен вызвать у H посредством произнесения T убеждение в том, что условия (6) и (7) имеют место благодаря опознанию им намерения создать это убеждение, и он рассчитывает, что это опознание будет следствием знания того, что данное предложение принято употреблять для создания таких убеждений*

Здесь учтена наша поправка к сделанному Грайсом анализу субъективного значения применительно к акту обещания. Говорящий намерен вызвать определенный иллюкутивный эффект посредством подведения слушающего к опознанию его намерения вызвать этот эффект, и при этом он намерен обеспечить такое опознание благодаря существованию конвенциональной связи

* Имеется в виду ситуация, описанная в Главе XII «Посмертных записок Пиквикского клуба» Ч. Диккенса. — *Прим. перев.*

между лексическими и синтаксическими свойствами произносимой им единицы, с одной стороны, и производством этого эффекта — с другой.

Строго говоря, это условие можно было бы включить в качестве составной части в формулировку условия (1), но оно представляет самостоятельный интерес для философа. Оно беспокоит меня по следующей причине. Если мое возражение Грайсу действительно справедливо, то, конечно, можно сказать, что все эти нагромождения намерений излишни: необходимо только одно — чтобы говорящий, произнося предложение, делал это всерьез. Производство всех этих эффектов есть простое следствие того, что слушающий знает, что означает данное предложение. Последнее в свою очередь является следствием знания им языка, какое предполагается говорящим с самого начала. Думаю, что на это возражение следует отвечать так: условие (8) объясняет, что это значит, что говорящий произносит предложение «всерьез», то есть произносит нечто и имеет это в виду, но я не вполне уверен в весомости этого ответа, как, впрочем, и в весомости самого возражения.

(9) *Семантические правила того диалекта, на котором говорят S и H, таковы, что T является употребленным правильно и искренне, если, и только если, условия (1)–(8) соблюдены*

Это условие имеет целью пояснить, что произнесенное предложение является одним из тех, которые по семантическим правилам данного языка используются как раз для того, чтобы давать обещания. Вкупе с условием (8) оно элиминирует контрпримеры типа примера с пленным, рассмотренного выше. Какова точная формулировка этих правил, мы скоро увидим.

До сих пор мы рассматривали только случай искреннего обещания. Но неискренние обещания — это тем не менее обещания, и мы теперь должны показать, как модифицировать наши условия с тем, чтобы охватить и этот случай. Давая неискреннее обещание, говорящий не имеет всех тех намерений и убеждений, которые имеются у него в случае искреннего обещания. Однако он ведет себя так, будто они у него есть. Именно из-за того, что он демонстрирует намерения и убеждения, которых не имеет, мы и описываем его поступок как неискренний. Поэтому, чтобы охватить неискренние обещания, мы должны только заменить содержащееся в наших условиях утверждение о том, что говорящий имеет те или иные убеждения или намерения, на утверждение о том, что он принимает на себя ответственность за то, что они у него есть. Показателем того, что говорящий в самом деле принимает на себя такую ответственность, является абсурдность таких высказываний, как, например, *I promise to do A, but I do not intend to do A* 'Я обещаю сделать A, но я не намерен делать A'. Сказать *I promise to do A* 'Я обещаю сделать A' — значит принять

на себя ответственность за намерение сделать A , и это условие справедливо независимо от того, искренним или неискренним было высказывание. Чтобы учесть возможность неискренного обещания, мы должны, следовательно, так изменить условие (6), чтобы оно констатировало не намерение говорящего сделать A , а принятие им ответственности за намерение сделать A . Дабы избежать порочного круга, я сформулирую это так:

(6*) *S намерен посредством произнесения T возложить на себя ответственность за намерение совершить A*

С такой поправкой и с устранением слова «искренне» из формулировки объекта анализа и из условия (9) наш анализ становится нейтральным по отношению к искренности или неискренности обещания.

Наша следующая задача — извлечь из множества условий множество правил употребления показателя данной функции. Ясно, что не все наши условия в равной степени релевантны с точки зрения этой задачи. Условие (1) и условия вида (8) и (9) одинаково применимы ко всем нормальным иллокутивным актам и не специфичны для обещания. Правила для показателя функции обещания будут соответствовать условиям (2)–(7).

Семантические правила употребления показателя функции P для обещания таковы:

Правило 1. P должен произноситься только в контексте предложения или большего речевого отрезка, произнесение которого предпонуирует некоторое будущее действие A говорящему S . Назовем это *правилом пропозиционального содержания*. Оно выводится из условий пропозиционального содержания (2) и (3).

Правило 2. P должен произноситься, только если слушающий H предпочел бы совершение субъектом S акта A несовершенно им A и S убежден, что H предпочел бы совершение субъектом S акта A несовершенно им A .

Правило 3. P следует произносить, только если ни для S , ни для H не очевидно, что S совершит A при нормальном ходе событий.

Назовем правила (2) и (3) *подготовительными правилами*. Они выводятся из подготовительных условий (4) и (5).

Правило 4. P следует произносить, только если S намерен совершить A .

Назовем это *правилом искренности*. Оно выводится из условия искренности (6).

Правило 5. Произнесение P считается принятием обязательства совершить A .

Назовем это *существенным правилом*.

Правила упорядочены: правила 2–5 применяются, только если соблюдено правило 1, а правило 5 применяется, только если соблюдены также правила 2 и 3.

Заметьте, что в то время, как правила 1—4 имеют форму квазимперативов — “произноси *P*, только если *X*”, правило 5 имеет другую форму — “произнесение *P* считается *Y*-ом”. Тем самым правило 5 относится к виду, специфичному для систем конститутивных правил, которые рассматривались в разделе II.

Отметим также, что пресловутая аналогия с играми здесь отлично выдерживается. Если мы спросим себя, при каких условиях ход конем можно назвать правильным, мы обнаружим подготовительные условия типа того, что ход должен быть сделан в свою очередь, а наряду с этим и существенное условие, определяющее те конкретные позиции, куда конь может быть передвинут. Думаю, что в соревновательных играх существует даже правило искренности, требующее, чтобы каждая из сторон стремилась играть на выигрыш. Я предполагаю, что поведение намеренно проигрывающей команды представляет близкую аналогию поведению говорящего, который лжет или дает лживые обещания. Разумеется, у игр обычно не бывает правил пропозиционального содержания, так как игры по большей части не отображают положений дел.

Если этот анализ представляет интерес не только для случая обещания, то следует ожидать, что проведенные разграничения могут быть перенесены на другие типы речевых актов. В этом, я думаю, можно убедиться без особого труда. Рассмотрим, например, акт приказания. К подготовительным условиям относится такое положение говорящего, при котором слушающий находится в его власти, условие искренности состоит в том, что говорящий желает, чтобы требуемое действие было совершено, а существенное условие должно отражать тот факт, что произнесение высказывания является попыткой побудить слушающего совершить это действие. В случае утверждений к подготовительным условиям относится наличие у говорящего некоторого основания для того, чтобы считать утверждаемое суждение истинным, условие искренности состоит в том, что он должен быть убежден в его истинности, а существенное условие отражает тот факт, что произнесение высказывания является попыткой проинформировать слушающего и убедить его в истинности суждения. Приветствия гораздо более простой вид речевого акта, но даже здесь часть разграничений применима. В высказывании Hello! ‘Привет!’ нет пропозиционального содержания, и оно не связано условием искренности. Подготовительное условие состоит в том, что непосредственно перед началом говорения должна произойти встреча говорящего со слушающим, а существенное условие состоит в том, что произнесение данного высказывания свидетельствует об учтивом признании слушающего говорящим.

В ходе дальнейших исследований предстоит проанализировать сходным образом другие типы речевых актов. Это дало бы нам

не только анализ понятий, представляющих самостоятельный интерес. Сравнение результатов разных анализов углубило бы наше понимание предмета в целом и, между прочим, послужило бы основой для разработки более серьезной таксономии, чем любая из тех, что опираются на весьма поспешные обобщения в терминах таких категорий, как «оценочный/описательный», или «когнитивный/эмотивный».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Это разграничение встречается в Rawls 1955 и Searle 1964.

² Формулировку «*X* считается (counts as) *Y*-ом» мне подсказал Макс Блэк.

³ В предложении "Я обещаю, что я приду" показатель функции отделен от пропозиционального компонента. В предложении "Я обещаю прийти", имеющем то же значение, что и первое предложение, и получаемом из него с помощью определенных трансформаций, один компонент не отделен от другого.

ЛИТЕРАТУРА

Austin 1962 — Austin J. L. How to do things with words. Oxford University Press, New York, 1962/2nd print Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1975 (русс. перевод: Остин Дж.Л. Слово как действие. — «Новое в зарубежной лингвистике», XVII, с. 22—129).

Grice 1957 — Grice H. P. Meaning. — «Philosophical Review», 1957, 66, 377—388.

Rawls 1955 — Rawls J. Two concepts of rules. — «Philosophical Review», 1955, 64.

Searle 1964 — Searle J. R. How to derive «Ought» from «Is». — «Philosophical Review», 1964, 73.

Wittgenstein 1953 — Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford, 1953.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЛЛОКУТИВНЫХ АКТОВ

Существует не менее двенадцати лингвистически значимых параметров, по которым могут различаться иллокутивные акты. Из них наиболее существенными являются: иллокутивная цель (illocutionary point), направление приспособления (direction of fit) и выраженное психологическое состояние. Эти три понятия образуют основу для таксономии главных классов иллокутивных актов. Базисными видами иллокутивных актов являются следующие пять: репрезентативы (или ассертивы), директивы, комиссивы, экспрессивы и декларации. Каждое из этих понятий получает свое определение в данной статье. Предшествующая попытка построения таксономии, предпринятая Остином, несовершенна по ряду причин, главная из которых — отсутствие четких критериев для отграничения одного вида иллокутивной силы (illocutionary force) от других. Перформативные глаголы, составляющие своего рода парадигму в каждом из названных пяти классов, обладают разными синтаксическими свойствами (в статье эти свойства получают объяснение). (Ключевые слова: Речевые акты, таксономия Остина, функции речи, выводы для этнографии и этнологии, английский язык.)

1. ВВЕДЕНИЕ

При изучении функционирования языка в обществе одним из самых главных вопросов является следующий: «Сколько существует способов использования языка?» Большинство попыток ответить на этот вопрос неудовлетворительны прежде всего из-за отсутствия ясного определения самого понятия «способ использования языка». Если же принять, как предлагается в данной работе, что основной единицей языкового общения между людьми является иллокутивный акт, то наиболее важной формой постановки нашего исходного вопроса будет такая: «Сколько существует категорий иллокутивных актов?» Настоящая статья и представляет собой попытку ответить на этот вопрос.

Главная цель данной работы поэтому состоит в том, чтобы получить обоснованную классификацию иллокутивных актов, сводящую всё их многообразие к базисным категориям, или типам. Поскольку каждая такая попытка должна учитывать результаты

John R. Searle. A classification of illocutionary acts. — «Language in Society», 1976, № 5, p. 1—23.

© Cambridge University Press, London, 1976.

Остина, расклассифицировавшего иллокутивные акты на пять категорий (вердиктивы, экспозитивы, экзерситивы, бехабитивы и комиссивы), то второй целью данной работы является демонстрация того, в каких отношениях классификация Остина адекватна, а в каких — нет. Ну, а поскольку базисные семантические различия обычно сказываются на синтаксических свойствах, третья цель данной работы — показать, как эти различные базисные иллокутивные типы реализуются в синтаксисе такого естественного языка, как английский.

В дальнейшем изложении будет предполагаться знакомство читателя с общей схемой анализа иллокутивных актов, предложенной в таких работах, как Austin 1962; Searle 1969; Searle 1968. В частности, я исхожу из разграничения иллокутивной силы высказывания и его пропозиционального содержания, что символизируется следующим образом: F (*p*). Тогда задача данной работы — в том, чтобы получить классификацию различных типов F.

II. РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ИЛЛОКУТИВНЫХ АКТОВ

Любая попытка получить такого рода таксономию предполагает наличие критериев отличия одного (вида) иллокутивного акта от другого. По каким же критериям можно было бы определить, что из трех заданных реальных высказываний одно представляет собой сообщение, другое — предсказание, а третье — обещание? Для того чтобы устанавливать классы более высокого, родового порядка, мы должны сначала знать, как отличаются друг от друга виды — *обещание*, *предсказание*, *сообщение* и т. п. Пытаясь найти ответ на этот вопрос, мы сталкиваемся с тем, что существует несколько совершенно различных принципов разграничения; то есть имеются несколько видов различий, позволяющих констатировать нетождественность сил двух высказываний. Поэтому метафора «сила» в выражении «иллокутивная сила» может ввести в заблуждение: ее можно понять так, будто различные иллокутивные силы занимают различные места на одной и той же непрерывной шкале силы. Между тем как в действительности мы имеем дело с несколькими различными пересекающимися континуумами.

Другой источник заблуждений связан с нашей склонностью путать иллокутивные глаголы с типами иллокутивных актов. Например, когда имеется два несинонимичных иллокутивных глагола, мы склонны считать, будто они непременно должны указывать на два различных вида иллокутивных актов. В дальнейшем я буду стараться придерживаться строгого разграничения иллоку-

тивных глаголов и иллокутивных актов. Иллокуции — это часть языка вообще (а не конкретного языка). Иллокутивные глаголы — это всегда часть некоторого конкретного языка — французского, немецкого, английского и т. д. Различия между иллокутивными глаголами — хороший индикатор, но ни в коем случае не надежный индикатор различий между иллокутивными актами.

По моему мнению, имеется (по меньшей мере) двенадцать значимых измерений, в которых происходит варьирование иллокутивных актов. Пройдемся бегло по этим измерениям.

(1) *Различия в цели данного (типа) акта*

Так, смысл (point), или цель (purpose), приказа может быть охарактеризован как попытка добиться того, чтобы слушающий нечто сделал. Смысл, или цель, описания — в том, чтобы представить (правильно или неправильно, точно или неточно) некоторое положение вещей. Смысл, или цель, обещания — в том, чтобы взять на себя обязательство совершить нечто. Эти различия соответствуют «существенным условиям» в моем анализе иллокутивных актов (см. Seagle 1969, гл. 3). В конечном итоге, как я полагаю, существенные условия будут наилучшей основой для таксономии, — это я и попытаюсь показать. Важно иметь в виду, что термины типа «смысл» и «цель» не должны приводить к выводу о том, что каждый иллокутивный акт обладает некоторым перлокутивным намерением, закрепленным за этим актом по определению: наше употребление этих терминов не основывается на таком взгляде. У многих, — а возможно, и у большинства, — из главных иллокутивных актов нет никакого существенного перлокутивного намерения, ассоциированного с соответствующим глаголом в силу его словарного определения; так, утверждения и обещания не являются, по определению, попытками осуществить перлокутивное воздействие на слушающих.

Смысл, или цель, конкретного типа иллокуции я буду называть *иллокутивной целью* этого типа. Иллокутивная цель — это только часть иллокутивной силы. Так, например, иллокутивная цель просьб — та же, что и у приказаний: и те, и другие представляют собой попытку побудить слушающего нечто сделать. Но иллокутивные силы — это явно нечто другое. Вообще говоря, понятие иллокутивной силы производно от нескольких элементов, из которых иллокутивная цель — только один, хотя, видимо, наиболее важный элемент.

(2) *Различия в направлении приспособления между словами и миром*

Некоторые иллокуции в качестве части своей иллокутивной цели имеют стремление сделать так, чтобы слова (а точнее — пропозициональное содержание речи) соответствовали миру; другие иллокуции связаны с целью сделать так, чтобы мир соответствовал словам. Утверждения попадают в первую катего-

рию, обещания и просьбы — во вторую. Наилучшей иллюстрацией этого разграничения является, видимо, то, которое предложено в работе Anscombe 1957. Предположим, что некий человек идет в универсам со списком, составленным его женой, где указано, что он должен купить; в этом списке содержатся слова: «бобы, масло, бекон, хлеб». Предположим, далее, что по пятам за ним, все время, пока он ходит с тележкой по магазину и выбирает указанные товары, следует сыщик, который записывает все, что он берет. При выходе из магазина у покупателя и у сыщика будут идентичные списки. Но функции этих двух списков будут совершенно различны. Цель того списка, который находится у покупателя, состоит в том, чтобы, так сказать, «приспособить» мир к словам; этот человек должен согласовывать свои действия со списком. Цель списка, находящегося у сыщика, — в том, чтобы «приспособить» слова к миру: сыщик должен согласовывать список с действиями покупателя. Это, в частности, сказывается на различной роли «ошибок» в этих двух случаях. Если сыщик, придя домой, неожиданно осознает, что тот человек купил свиные отбивные вместо бекона, то он сможет просто зачеркнуть слово «бекон» и записать «свиные отбивные». А вот если покупатель придет домой, и его жена укажет ему, что он купил свиные отбивные, хотя ему нужно было купить бекон, то он не сможет исправить свою ошибку, зачеркнув «бекон» и записав вместо этого «свиные отбивные».

В этих примерах список содержит пропозициональное содержание иллокуции, а иллокутивная сила определяет то, как это содержание должно соотноситься с миром. Я предлагаю назвать этот аспект различием по *направлению приспособления*. Список сыщика характеризуется направлением приспособления «слова к миру» (как в случае констатаций, описаний, утверждений и объяснений); список же покупателя обладает направлением приспособления «мира к словам» (как в случае требований, приказаний, клятв, обещаний). Будем обозначать направление приспособления «слова — реальность» с помощью стрелки, направленной вниз (\downarrow), а направленность приспособления «реальность — слова» — с помощью стрелки, направленной вверх (\uparrow). Направление приспособления всегда является следствием иллокутивной цели. Было бы очень элегантно построить всю нашу таксономию целиком на основе этого различия по направлению приспособления, — но я не в состоянии положить это понятие в основу всех моих разграничений (при том что направление приспособления будет широко применяться в последующей таксономии).

(3) *Различия в выраженных психологических состояниях*

Человек, констатирующий, утверждающий, объясняющий или заявляющий, что *p*, выражает убеждение, что *p*; человек, который обещает, клянется, угрожает или ручается, что сделает *a*, выра-

жает намерение сделать *a*; человек, который приказывает, командует, просит, чтобы слушающий *H* сделал *A*, выражает желание (пожелание, потребность), чтобы *H* сделал *A*; человек, приносящий извинения за совершение *A*, выражает сожаление по поводу совершения *A*, и т. д. В общем случае, производя любой иллокутивный акт с некоторым пропозициональным содержанием, говорящий выражает некоторое свое отношение, состояние и т. п., касающееся этого пропозиционального содержания. Заметим, что это имеет место, даже если говорящий неискренен, даже если он не имеет в действительности того убеждения, желания, намерения, не испытывает того сожаления или удовольствия, которое он выражает, — тем не менее в ходе совершения своего речевого акта он выражает некоторое убеждение, желание, намерение, сожаление или удовольствие. Это обстоятельство находит свое языковое выражение в том, что с точки зрения языка непринемлемым (хотя логически и не противоречивым) будет соединение эксплицитного перформативного глагола с отрицанием выражаемого им психологического состояния. Так, нельзя сказать: «Я утверждаю, что *p*, но не думаю, что *p*», «Я обещаю, что *p*, но не намереваюсь *p*», и т. п. Отметим, что сказанное справедливо только для перформативного употребления глагола в первом лице настоящего времени. Ведь можно сказать: «Он утверждал, что *p*, но на самом деле не считал, что *p*», «Я обещал, что *p*, но на самом деле не намеревался совершить это» и т. д. Психологическое состояние, выраженное при совершении иллокутивного акта, — это *условие искренности* акта, в смысле моих «Речевых актов» (Searle 1969, гл. 3).

Если попытаться расклассифицировать иллокутивные акты, основываясь исключительно на выражаемых психологических состояниях (на различиях по характеру условия искренности), то придется проделать очень большую работу. Так, *убеждение* объединяет не только утверждения, констатации, замечания и объяснения, но также постулирование, декларации, логическую дедукцию и аргументацию. *Намерение* объединяет обещания, клятвы, угрозы и ручательства. *Желание* или *потребность* охватывает просьбы, приказы, команды, мольбы, ходатайства, прошения и упрощивания. *Удовольствие* же не объединяет так много иллокутивных актов: поздравления, пожелания удачи, приветствия и несколько других.

В дальнейшем выражаемые психологические состояния будут обозначаться через заглавную начальную букву соответствующего глагола: *V* для убеждения, *W* для желания, *I* для намерения и т. д.

Эти три «измерения» речевого акта — иллокутивная цель, направление приспособления и условие искренности — мне представляются наиболее важными, и моя таксономия будет, в основ-

ном, построена на них; однако есть и несколько других факторов, заслуживающих упоминания.

(4) *Различия в энергичности, или в силе, с которой подается иллокутивная цель*

Предложения “Я предлагаю пойти в кино” и “Я настаиваю на том, чтобы мы пошли в кино” оба обладают одинаковой иллокутивной целью, но подаваемой с различной степенью энергичности (strength). То же самое относится и к паре предложений “Я торжественно клянусь, что это Билл украл деньги” и “Я думаю, деньги украл Билл”. В рамках одной и той же иллокутивной цели, как мы видим, могут быть различные степени энергичности или ответственности.

(5) *Различия в статусе или положении говорящего и слушающего в той мере, в какой это связано с иллокутивной силой высказывания*

Если генерал просит рядового убраться в комнате, — это, конечно, команда или приказ. Если же рядовой просит генерала убраться в комнате, то это может быть советом, предложением или просьбой, — но не приказом или командой. Этот признак соответствует одному из подготовительных условий в концепции «Речевых актов» (Searle 1969, гл. 3).

(6) *Различия в том способе, которым высказывание соотносено с интересами говорящего и слушающего*

Рассмотрим, например, различия между похвалой и жалобами, между поздравлениями и выражением сочувствия. В этих двух парах видно различие между тем, что в интересах, и тем, что не в интересах говорящего или слушающего, соответственно. Этот признак представляет собой еще один тип подготовительного условия (в рамках концепций моих «Речевых актов»).

(7) *Различия в соотношении с остальной частью дискурса*

Некоторые перформативные выражения служат для соотнесения высказывания с остальной частью дискурса (а также с непосредственным контекстом). Рассмотрим, к примеру, фразы: “(Я) отвечаю”, “(Я) вывожу”, “Я заключаю” и “Я возражаю”. Эти выражения служат для того, чтобы соотнести одни высказывания с другими высказываниями и с непосредственным контекстом. Признаки, выражаемые им, обычно вовлекают высказывания в класс утверждений. В дополнение к простому утверждению некоторого суждения, можно делать это утверждение в порядке возражения по поводу того, что было кем-то ранее сказано, в порядке ответа на ранее высказанное положение, в порядке вывода этого утверждения из некоторых очевидных предпосылок и т. п. Выражения “тем не менее”, “более того”, “таким образом” также выполняют указанные функции соотнесения с дискурсом.

(8) *Различия в пропозициональном содержании, определяемые на основании показателей иллокутивной силы*

Различие, скажем, между сообщением и предсказанием связано с тем обстоятельством, что предсказание должно делаться о будущем, а сообщение может быть о прошедшем или настоящем. Эти различия соответствуют расхождениям в рамках условий пропозиционального содержания (в концепции моих «Речевых актов»).

(9) *Различия между теми актами, которые всегда должны быть речевыми актами, и теми, которые могут осуществляться как речевыми, так и неречевыми средствами*

Например, можно расклассифицировать объекты, сказав “Я отношу это к классу А, а это — к классу В”. Но вовсе не обязательно что-либо говорить, классифицируя предметы: можно просто сложить все предметы типа А в коробку для А и все предметы типа В в коробку для В. Аналогично — в случае оценки, диагноза и заключения. Я могу оценить нечто, сделать диагноз и вывод, сказав “Я оцениваю”, “Я ставлю диагноз” и “Я делаю заключение”, — но для того, чтобы оценить, поставить диагноз или сделать заключение, не обязательно что-либо говорить вообще. Я могу просто стоять перед зданием и оценивать его высоту, молча поставить вам диагноз «крайняя степень шизофрении» или сделать заключение, что человек, сидящий рядом со мной, совершенно пьян. В этих случаях нет необходимости в речевых актах, — даже во внутренних речевых актах.

(10) *Различия между теми актами, которые требуют для своего осуществления внеязыковых установлений, и теми, которые их не требуют*

Есть большое количество иллокутивных актов, требующих существования некоторого внеязыкового установления (institution), а также, вообще говоря, некоторого специального положения говорящего и слушающего в рамках этого установления, — для того чтобы можно было осуществить данный речевой акт. Так, для того, чтобы благословить, отлучить (от церкви), окрестить, объявить виновным, объявить игрока вне игры, объявить игру «без козыря» (в картах) или объявить войну, — для всего этого недостаточно, чтобы произвольный говорящий сказал произвольному слушающему фразу “Благославляю”, “Отлучаю” и т. п. Нужно еще, чтобы человек занимал некоторое положение в рамках некоторого установления внеязыкового порядка. Остин иногда высказывается так, как если бы он считал, будто все иллокутивные акты обладают этим свойством, — однако, это не так. Для того чтобы сообщить, что идет дождь, или пообещать навестить вас, мне достаточно только соблюдать правила языка. Никаких внеязыковых установлений не требуется. Это свойство некоторых речевых актов — необходимость привязки к внеязыковым установлениям — следует отличать от свойства (5) — связи определенных иллокутивных актов с определенным статусом говорящего, а возможно, и слуша-

ющего. Внеязыковые установления часто действительно предписывают распределение статусов, существенных для иллокутивной силы, — однако не все различия в статусе являются следствием конкретных установлений. Так, вооруженный грабитель — в силу того, что у него есть оружие, — может *приказывать*, а не просить, не упрашивать, не умолять своих жертв поднять руки вверх. Но его статус в данном случае следует не из его положения в рамках какого-либо установления, а из факта наличия у него оружия.

(11) *Различия между теми актами, в которых соответствующий иллокутивный глагол употреблен перформативно, и теми, в которых перформативное употребление глагола отсутствует*

Большинство иллокутивных глаголов может быть употреблено перформативно — например, “утверждать”, “обещать”, “приказывать”, “заключать”. Но нельзя совершить актов, скажем, похвалы бы или угрозы, сказав “Обязавшим я хвалюсь” или “Настоящим я угрожаю”. Не все иллокутивные глаголы являются перформативными.

(12) *Различия в стиле осуществления иллокутивных актов*

Некоторые иллокутивные глаголы служат для того, чтобы указать на то, что можно назвать специальным стилем осуществления иллокутивного акта. Так, различия между оглашением и сообщением по секрету не обязательно связано с каким-либо различием в иллокутивной цели или в пропозициональном содержании, — а только в *стиле* осуществления иллокутивного акта.

III. СЛАБЫЕ МЕСТА В ТАКСОНОМИИ ОСТИНА

Остин предлагает свои пять категорий весьма гипотетично — скорее как основу для дальнейшего обсуждения, чем как сводку окончательных результатов. Он сам пишет (см. с. 120): «Я не считаю свою классификацию... окончательной». Мне кажется, эти категории дают прекрасный отправной пункт для обсуждения, но указанная таксономия должна быть серьезным образом пересмотрена, поскольку в некоторых отношениях она несовершенна*. <...>

Бросается в глаза, что списки Остина являются классификацией не иллокутивных актов, а английских иллокутивных глаголов. Видимо, Остин полагает, что классификация различных глаголов уже сама по себе является классификацией видов иллокутивных актов, то есть любые два синонимичных глагола должны описывать два различных иллокутивных акта. Но нет оснований считать, что это действительно так. Как мы увидим далее, некоторые глаголы, например, указывают на способ или образ осуществле-

* Далее следует краткое перечисление классов перформативных глаголов по Остину. — *Прим. перев.*

ния иллокутивного акта, например, глагол “объявлять”. Можно объявлять приказы, обещания и сообщения, но акт объявления не совпадает с актами приказа, обещания, сообщения. Забегая несколько вперед, можно сказать, что объявление — это не имя некоторого типа иллокутивного акта, а название способа, которым осуществлён некоторый иллокутивный акт. Объявление не бывает никогда просто объявлением: оно должно быть одновременно утверждением, приказом и т. д.

Даже если принять, что названные списки дают просто иллокутивные глаголы, а не иллокутивные акты, представляется, что против них можно выдвинуть следующие критические замечания.

(а) Начнем с менее существенного, но достойного упоминания. Не все глаголы в этих списках могут быть даже названы иллокутивными. Например, *sympathize* ‘симпатизировать’, *regard as* ‘рассматривать как’, *mean to* ‘иметь в виду’, *intend* ‘намереваться’ и *shall* ‘должен’ (вспомогательный глагол для образования форм будущего времени). Так, возьмем глагол “намереваться”: он явно неперформативный. Сказать “Я намереваюсь” не значит намереваться. В третьем лице этот глагол также не называет какой-либо иллокутивный акт: фраза “Он намеревался...” не сообщает о речевом акте. Разумеется, существует иллокутивный акт *выражения намерения* — но соответствующее глагольное сочетание иллокутивного характера будет “выразить намерение”, а не “намереваться”. Намерение никогда не бывает речевым актом; выражение же намерения обычно им бывает, но не всегда.

(б) Наиболее существенным недостатком этой таксономии является то, что она не построена на каком-либо ясном или последовательном принципе или множестве принципов. Только в случае комиссивов Остин использует ясное и недвусмысленным образом понятие иллокутивной цели в качестве базиса для определения этой категории. Экспозитивы — в той степени, в какой их характеристика доступна для понимания, — у Остина скорее определяются в терминах дискурсных отношений (мой признак (7)). Экзерситивы, по крайней мере частично, определяются, видимо, через понятие “употреблять власть”. В их определении просматриваются и фактор статуса (у меня — признак (5), и фактор установления (у меня — признак (10)). Бехабитивы же не устанавливаются сколько-нибудь определенно (думаю, в этом Остин со мной согласился бы), но их характеристика, видимо, опирается на понятие того, что хорошо или плохо для говорящего и слушающего (мой признак (6)), а также на выражения личностных отношений (у меня — признак (3)).

(с) Поскольку нет никакого чётко сформулированного принципа классификации, а также поскольку в этой концепции постоянно смешиваются иллокутивные акты и иллокутивные глаголы, то выделяемые категории в значительной степени пересекаются, а

внутренний их состав часто неоднороден. Проблема даже не в том, что имеются пограничные случаи, — любая таксономия, имеющая дело с реальным миром, как правило, сталкивается с пограничными случаями, — и даже не в том, что в нескольких (достаточно неординарных) случаях приходится объект характеризовать как относящийся одновременно к нескольким категориям. Дело же заключается в том, что огромное число глаголов попадает в ядро двух разных категорий из-за несистематичности принципов классификации. Возьмем, например, глагол *describe* 'описывать', очень важный для любого варианта теории речевых актов. Остин относит его одновременно к вердиктивам и к экспозитивам. Исходя из его определений, это объяснимо: «описывание» может быть одновременно сообщением о результатах изысканий и актом изложения. Но тогда любой «акт экспонирования, включающий в себя изложение взглядов» мог бы быть, в остиновском специфическом понимании, «передачей результатов изысканий, официальной или неофициальной, опирающейся на подтверждающие данные или доводы». И действительно, взглянув на его список экспозитивов (см. наст. изд., с. 126—128), мы сразу же обнаружим, что большинство из глаголов в нем подпадает и под определение вердиктивов наряду с глаголом «описывать». Таковы глаголы *affirm* 'подтверждать', *deny* 'отрицать', *state* 'утверждать', *class* 'характеризовать', *identify* 'отождествлять', *conclude* 'заключать' и *deduce* 'выводить'. Все они отнесены к рубрике экспозитивов, хотя могли бы быть с тем же основанием отнесены к классу вердиктивов. Несколько случаев явных невердиктивов — это те глаголы, значение которых связано исключительно с отношениями внутри дискурса, например, *begin by* 'начать с', *turn to* 'перейти к', — или когда речь идет не о свидетельствах или доводах, как в случае *postulate* 'постулировать', *neglect* 'пренебречь', *call* 'назвать' и *define* 'определить (как)'. Но тогда имеющийся состав класса недостаточен для того, чтобы выделить особую категорию, особенно если учесть, что многие из названных глаголов (например, «начать с», «перейти к» и «пренебречь») не называют вообще никакого иллокутивного акта.

(d) Кроме чрезмерного пересечения категорий, имеет место внутренняя разнородность постулируемых классов глаголов. Так, Остин зачисляет *rage* 'вызывать (на бой)', *defy* 'вызывать (на спор)' и *challenge* 'вызывать (на дуэль, на соревнование)' и т. п., наряду с *thank* 'благодарить', *apologize* 'приносить извинения', *deplore* 'сожалеть, находить предосудительным' и *welcome* 'приветствовать', в разряд бегахитивов. А ведь первые три связаны с последующими действиями слушающего и могут быть объединены — как я постараюсь показать далее — с *order* 'приказывать', *command* 'командовать', *forbid* 'запрещать', как на синтаксических, так и на семантических основаниях. Но вот взглянем на семейство глаголов *order*, *command* и *urge* 'понуждать, убеждать'. Здесь они

характеризуются как экзерснтивы наряду с *veto* 'накладывать veto', *hire* 'нанимать' и *demote* 'разжаловать'. А они опять-таки, как я постараюсь показать ниже, относятся к двум различным категориям.

(е) Ещё одно затруднение связано с предыдущими: не всегда глаголы, отнесённые к тому или иному классу, удовлетворяют определению, даваемому этому классу, — если даже брать эти определения в их приблизительном и незавершенном виде, как они даны у Остина. Так, *appoint* 'назначать' и *excommunicate* 'отлучать' не являются «принятием решения в пользу или против некоторого хода действий», — в еще меньшей степени они «оправдывают» этот ход событий. Скорее это, как выразился бы сам Остин, осуществление таких действий, не *оправдание* чего-либо. Иначе говоря, в том смысле, какой мы вкладываем в «оправдание» какого-то действия — как при приказе, команде и настоянии (с чем мы можем согласиться), — в этом смысле нельзя согласиться, что назначение на должность и просто назначение — это тоже оправдание. Когда я назначаю вас председателем, я не оправдываю ту точку зрения, что вы должны быть или стать председателем, — я *делаю* вас председателем.

Итак, остиновская таксономия приводит по меньшей мере к шести взаимосвязанным затруднениям, а именно (по возрастанию важности) к следующим: здесь постоянно смешиваются глаголы и акты; не все глаголы на самом деле являются иллокутивными; слишком велики пересечения между категориями; слишком неоднородны категории; многие из глаголов, отнесенных к тем или иным категориям, не удовлетворяют определению этих категорий; наконец — самое главное — отсутствует какой-либо до конца выдержанный принцип классификации.

Возможно, я не полностью обосновал все эти шесть обвинений: я этого и не буду делать в рамках данной работы: у нее другие цели. Но я полагаю, что мои сомнения относительно таксономии Остина получают большую ясность после того, как я представлю альтернативное решение. В качестве основания для классификации я предлагаю избрать иллокутивную цель и вытекающие из нее понятия: направление приспособления и выражаемые условия искренности. В такой классификации остальные свойства — роль авторитета, дискурсивные отношения и т. п. — займут соответствующее место.

IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТАКСОНОМИЯ

В этом разделе дается предлагаемый мною список базисных категорий иллокутивных актов. При этом я кратко останавлиюсь на том, как моя классификация связана с остиновской.

Репрезентативы. Смысл, или цель, членов класса репрезентативов — в том, чтобы зафиксировать (в различной степени) ответственность говорящего за сообщение о некотором положении дел, за истинность выражаемого суждения. Все элементы класса репрезентативов могут оцениваться по шкале, включающей *истину* и *ложь*. Используя знак Фреге для утверждения, чтобы показать иллокутивную цель, общую для всех этих элементов, а также символы, введенные выше, данный класс можно обозначить так:

$$\vdash \downarrow B(p)$$

Направление приспособления здесь — «слова — реальность»; выражаемое психологическое состояние — убеждение (что *p*). Важно подчеркнуть, что слова типа «убеждение» и «ответственность» (commitment) здесь используются для того, чтобы указать на соответствующие измерения; они скорее, так сказать, определимые параметры, чем определенные величины. Так, между *предложением*, что *p*, или *высказыванием в качестве гипотезы*, что *p*, с одной стороны, и *настаиванием*, что *p*, или торжественной *клятвой*, что *p*, с другой, имеется различие. Степень убеждения и ответственности может приближаться к нулю или даже быть ему равна; но ясно (или станет потом ясно), что *гипотетическое утверждение*, что *p*, и простая констатация, что *p*, *находятся* в одной и той же плоскости, в которую не входят, скажем, просьбы.

Признав, что репрезентативы образуют совершенно отдельный класс, основанный на понятии иллокутивной цели, мы легко объясним существование огромного числа перформативных глаголов, обозначающих иллокуции, таких, которые укладываются в противопоставление «истинно — ложно», но при этом не являются просто «утверждениями»: они будут толковаться как глаголы, указывающие на такие признаки иллокутивной силы, которые являются дополнительными к свойству иллокутивной цели.

Например, рассмотрим boast 'хвалиться' и complain 'жаловаться'. Оба они обозначают репрезентативы с тем дополнительным признаком, что они соотносены в какой-то степени с интересами говорящего (условие (6), см. выше). Conclude 'заключать' и deduce 'выводить' — тоже репрезентативы с дополнительным признаком: они указывают на некоторые отношения между иллокутивным актом «репрезентатива» и остальной частью дискурса, или контекстом высказывания (см. выше условие (7)). Этот класс содержит большую часть остиновских экспозитивов и многие из его вердиктивов — все по той же причине, что, как я пытался показать, они обладают одной и той же иллокутивной целью, а различаются по другим признакам иллокутивной силы.

Самый простой тест для репрезентативов — следующий; можете ли вы буквально оценить высказывание (кроме прочего) как истинное или ложное. Сразу же добавлю, что это — ни необходи-

мое, ни достаточное условие, — что будет видно, когда дойдем до пятого класса.

Сказанное относительно репрезентативов станет, надеюсь, более очевидным, когда мы рассмотрим второй класс, который — с некоторыми колебаниями — я бы назвал:

Директивы. Иллокутивная направленность их состоит в том, что они представляют собой попытки (в различной степени, а поэтому точнее было бы сказать, что они суть конкретные значения параметра, определяемые действием “пытаться”) со стороны говорящего добиться того, чтобы слушающий нечто совершил. Директивы могут быть и весьма скромными «попытками», как в случае, когда я приглашаю вас сделать нечто или предлагаю вам это ненавязчивым образом; но они могут представлять собой и весьма агрессивные попытки, если я, например, настаиваю на том, чтобы вы совершили это. Используя для обозначения иллокутивной цели данного класса восклицательный знак, имеем:

! † W (Н делает А).

Направление приспособления — «реальность — слова»; условие искренности — желание (или пожелание, или потребность). Пропозициональное содержание всегда состоит в том, что слушающий совершит некоторое будущее действие А. Глаголы, обозначающие акты этого класса — “спрашивать”, “приказывать”, “командовать”, “запрашивать”, “просить”, “молить”, “умолять”, “заклинать”, а также “приглашать”, “позволять” и “советовать”. Думаю также, что и “вызывать (на бой)”, и “вызывать (на спор)”, и “вызывать (на дуэль)”, отнесенные Остином к разряду бехабитивов, очевидным образом попадут в класс директивов. Многие из остиновских экзерситивов также относятся сюда.

Комиссивы. Остиновское определение комиссивов мне представляется приемлемым, я просто перейму его в том же виде — с оговоркой, что некоторые из глаголов, им сюда помещаемых в качестве комиссивных глаголов, к таковым отнесены быть не могут, — как shall ‘должен (буду)’, intend ‘намереваться’, favor ‘относиться благосклонно’ и др. Итак, комиссивы — это те иллокутивные акты, цель которых — в том, чтобы возложить на говорящего обязательство (опять-таки в определенной степени) совершить некоторое будущее действие или следовать определенной линии поведения. Используя С в качестве имени для членов этого класса, имеем в общем случае:

С † I (S совершает А).

¹ Вопросы представляют собой частный случай директивов, поскольку это — попытки со стороны говорящего сделать так, чтобы Н ответил, — то есть произвел некоторый речевой акт. — *Прим. автора.*

Направление приспособления здесь — «реальность — слова», а условие искренности — I (намерение, интенция). Пропозициональное содержание всегда при этом — в том, что говорящий S выполнит некоторое будущее действие A. Поскольку направление приспособления для комиссивов то же, что и для директивов, можно было бы получить более простую таксономию, если мы смогли показать, что они действительно являются членами одной и той же категории. Однако сделать это я не могу: в то время как цель обещания — возложить на говорящего обязательство совершить некоторое действие (и при этом не обязательно, чтобы он пытался заставить себя совершить это действие), у просьбы иллокутивная цель — попытаться заставить слушающего совершить нечто (и при этом требуется возлагать на него обязательство сделать это). Для того чтобы подвести обе категории под одну рубрику, нужно было бы показать, что обещания на самом деле представляют собой просьбы к самому себе (таково решение, предложенное мне Джулианом Бойдом), или же попытаться показать, что просьбы налагают обязательства на слушающего (это — предложение Вилльяма Элстона и Джона Кернза). Мне не удалось осуществить ни одного из этих предложений, — так что мы остаемся при этом неэлегантном решении, в котором две различные категории обладают одним и тем же направлением приспособления.

Четвертую категорию я называю

Экспрессивы. Иллокутивная цель этого класса — в том, чтобы выразить психологическое состояние, задаваемое условием искренности относительно положения вещей, определенного в рамках пропозиционального содержания. Образцовыми глаголами для экспрессивов являются: thank 'благодарить', congratulate 'поздравлять', apologize 'извиняться', condole 'сочувствовать', deplore 'сожалеть', welcome 'приветствовать'. Отметим, что экспрессивы не обладают каким-либо направлением приспособления. Производя экспрессивный акт, говорящий не пытается «приспособить» ни реальность к словам, ни слова к реальности, скорее при этом предполагается истинность выражаемого суждения. Так, например, когда я извиняюсь за то, что наступил вам на ногу, в мою цель не входит ни сообщить о том, что я наступил вам на ногу, ни сделать так, чтобы на вашу ногу наступили. Это обстоятельство находит свое четкое отражение в синтаксисе (английского языка): указанные образцовые экспрессивные глаголы в своем перформативном употреблении не допускают при себе придаточных с союзным словом that 'что', а требуют, чтобы произошла трансформация герундивной номинализации (или чтобы при них было какое-либо другое имя). Нельзя сказать *I apologize that I stepped on your toe, но можно сказать I apologize for stepping on your toe 'Прошу прощения за (букв.) наступление на вашу ногу (букв. на палец вашей ноги)'. Аналогично, нельзя сказать *I congratulate you that you

won the race 'Я поздравляю, что вы выиграли на скачках' или *I thank you that you paid me the money 'Я благодарю вас, что вы выплатили мне деньги', — допустимым было бы:

I congratulate you on winning the race (congratulations on winning the race);

I thank you for paying me the money (thanks for paying me the money).

Эти синтаксические факты, как я полагаю, являются следствием того, что экспрессивы не обладают направлением приспособления. Истинность суждения, выраженного экспрессивом, входит в его пресуппозицию. Этот класс может поэтому быть символически представлен так:

$E \emptyset (P) (S/H + \text{свойство}),$

где E — иллокутивная цель, общая для всех экспрессивов, \emptyset — нулевой символ, указывающий на отсутствие направления приспособления, P — переменная, область определения которой — различные психологические состояния, выражаемые в ходе осуществления иллокутивных актов данного класса, а пропозициональное содержание приписывает некоторое свойство (не обязательно действие) либо говорящему, либо слушающему. Так, я могу поздравить вас не только с победой на скачках, но и с тем, что вы хорошо выглядите. Но при этом определяемое в пропозициональном содержании экспрессива свойство должно быть соотнесено либо с говорящим, либо со слушающим. Так, я не могу (без каких-либо оговорок специальных допущений) поздравить вас с открытием ньютоновского первого закона движения.

Было бы очень экономно, если бы мы могли включить все иллокутивные акты в рамки этих четырех классов; кроме того, это было бы дополнительной поддержкой для того общего направления анализа, который выдвинут в моих «Речевых актах», — тем не менее, наша классификация пока что не полна. В ней еще отсутствует один важный класс случаев, когда положение вещей, представленное в пропозициональном содержании, реализует или получает свое существование посредством конкретного показателя иллокутивной силы. Это — случаи, когда некоторое положение дел получает существование в результате объявления об этом существовании, случаи, когда, так сказать «говорение конституирует факт». Примеры таких случаев: I resign 'Ухожу в отставку', You're fired 'Вы уволены', I excommunicate you 'Отлучаю вас', I christen this ship, the battleship Missouri 'Именую этот корабль «Линкор Миссури»', I appoint you chairman 'Назначаю вас председателем' и War is hereby declared 'Объявляю военное положение'. Эти случаи в ранних работах использовались в качестве эталонных образцов перформативов, — но мне они предоставляются все еще недостаточно адекватно описанными в литературе, а их связь

с остальными видами иллокутивных актов обычно, по-моему, неправильно понимается. Назовем этот класс

Декларации. Определяющим свойством этого класса является именно то, что осуществление какого-либо акта из этого класса устанавливает соответствие между пропозициональным содержанием и реальностью; успешное осуществление акта гарантирует действительное соответствие пропозиционального содержания реальности: если я успешно осуществляю акт назначения вас председателем, то вы становитесь председателем; если я успешно осуществляю акт выдвижения вас кандидатом, то вы становитесь кандидатом; если я успешно произвожу акт объявления состояния войны, то начинается война; если я успешно осуществляю акт бракосочетания с вами, то вы связаны брачными узами.

Поверхностно-синтаксическая структура многих предложений, используемых для осуществления деклараций, скрывает от нас эту их цель, поскольку в таких предложениях нет поверхностно-синтаксических различий между пропозициональным содержанием и иллокутивной силой. Так, “Вы уволены” и “ухожу в отставку”, очевидно, не позволяют провести различие между иллокутивной силой и пропозициональным содержанием; однако, я думаю, когда они употребляются для осуществления деклараций, их семантическая структура такова:

“Я заявляю: ваш трудовой договор (настоящим) расторгается”.

“Я заявляю: мой пост (настоящим) объявляется свободным”.

Декларации вносят изменения в статус или условие указываемых объектов уже в силу самого того факта, что декларирование было осуществлено успешно. Это свойство деклараций отличает их от остальных классов. В истории споров по поводу различий между перформативами и констативами, начиная с остиновского введения указанного различия, это свойство деклараций не получило правильного освещения. Первоначально предложенное различие между констативами и перформативами, как считали, было различием между высказываниями двух типов: одни представляли собой простое «говорение» (констативы, констатации, утверждения и т. д.), другие — «совершение действия» (обещания, заключение пари, предупреждения и т. д.). То, что я называю декларациями, включено в класс перформативов. Основной мотив остиновской книги — в том, что это различие нельзя провести до конца последовательно. Точно так же, как высказывание определенных слов конституирует бракосочетание (перформатив), а высказывание других слов составляет обещание (еще один перформатив), — так и произнесение определенных слов конституирует совершение утверждения (предположительно — констатив). Остин считал эту параллель точной, а многие философы до сих пор отказываются принять это положение. Совершение утверждения — в той же степени осуществление иллокутивного акта, как и соверше-

ние обещания, заключения пари, предостережения и т. п. Любое высказывание состоит в осуществлении одного или нескольких иллокутивных актов.

Показатель иллокутивной силы в предложении действует над пропозициональным содержанием и указывает, кроме прочего, направление приспособления между этим пропозициональным содержанием и реальностью. В случае репрезентативов направление приспособления — «слова — реальность»; в случае директивов и коммиссивов — «реальность — слова»; в случае экспрессивов нет вообще никакого направления приспособления, осуществляемого данной иллокутивной силой, поскольку существование соответствия уже входит в презумпцию. Высказывание вообще не осуществляется без такого соответствия. Но вот мы наталкиваемся на необычный вид отношений в случае деклараций. Осуществление декларации устанавливает ответственность самим уже фактом успешного проведения акта декларации. Как это происходит?

Заметим, что все до сих пор рассмотренные примеры связаны с некоторым внеязыковым установлением, — с системой конституирующих правил, в дополнение к конституирующим правилам языка, что обеспечивает успешное осуществление декларации. Владения теми правилами, которые составляют языковую компетенцию говорящего и слушающего, еще недостаточно, вообще говоря, для осуществления акта декларирования. Дополнительно к этому должно существовать внеязыковое установление, в котором говорящий и слушающий должны занимать соответствующие социальные положения. Именно при наличии таких установлений, как церковь, закон, частная собственность, государство, и конкретного положения говорящего и слушающего в их рамках, можно, соответственно, отлучать от церкви, назначать на пост, передавать и завещать имущество, объявлять войну. Единственное исключение из этого принципа составляют те случаи декларирования, которые затрагивают сам язык, — например, когда говорят: «Я определяю, сокращенно обозначаю, называю, именую, даю прозвище». Остин иногда выражается в том духе, будто все перформативы (а в общей теории, все иллокутивные акты) требуют некоторого внеязыкового установления, — но это, очевидно, неверно. Декларации представляют собой очень специфическую категорию речевых актов. Структуру деклараций можно обозначить так:

$$D \updownarrow \emptyset (p),$$

где D — обозначение декларационной иллокутивной цели; направление приспособления — одновременно и «слова — реальность», и «реальность — слова» (в силу необычного характера деклараций); условие искренности отсутствует, поэтому в позиции условия искренности стоит символ нуля; p — обычный символ пропозициональной переменной.

Причиной для указания вообще направления приспособления в данной формуле является то, что декларации на самом деле пытаются «приспособить» язык к реальности. Но делают они это, не пытаясь описать некоторое существующее положение дел (как в случае репрезентативов), а также не пытаясь сделать так, чтобы кто-либо в будущем создал такое-то положение вещей (как в случае директивов и комиссивов).

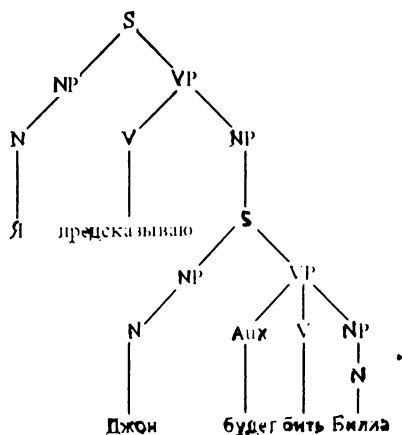
Некоторые элементы класса деклараций являются одновременно и членами класса репрезентативов. Это происходит оттого, что в определенных ситуациях в рамках некоторых установлений для того, чтобы удостоверить факты, необходимо наличие авторитета, который решил бы, каковы факты на самом деле (после того как проведена процедура обнаружения фактов). Так, спор когда-то должен быть завершен и привести к решению, — вот почему существуют судьи и арбитры. И судьи, и арбитры делают утверждения о фактах типа: «Вы вне игры», «Вы виновны». Такие утверждения явно лежат в плоскости соотношения слова и реальности. Был ли игрок в действительности осален мячом вне базы (в бейсболе)? Действительно ли человек совершил преступление? Оба вопроса относятся к измерению «слова — реальность». Но в то же время оба высказывания обладают силой деклараций. Если спортивный арбитр объявляет вас вне игры (и отклоняет апелляцию), то в рамках игры в бейсбол вы — вне игры, вне зависимости от фактического положения дел; и если судья объявляет вас виновным (после апелляции), то в рамках юридических установлений вы виновны. В этом нет ничего таинственного. Социальные установления обладают тем свойством, что обычно требуют, чтобы были совершены определенные иллокутивные акты (со стороны авторитетов различного рода) и чтобы эти акты обладали силой деклараций. Некоторые установления требуют, чтобы были сделаны заявления-репрезентативы, имеющие силу декларации: тогда только спор относительно какого-либо вопроса завершается на определенном этапе обсуждения, после чего могут быть осуществлены следующие институционные действия (которые были бы невозможны до решения вопросов, связанных с фактической стороной дела). И тогда обвиняемый освобождается или препровождается за решетку, боковой игрок направляется на скамью штрафников, гол засчитывается. Такие случаи можно назвать «репрезентативами-декларациями». В отличие от остальных видов деклараций, они обладают общим с репрезентативами условием искренности. Судья, жюри и арбитр, вообще говоря, могут и лгать, но человек, объявляющий войну или назначающий на какую-либо должность, не может лгать в процессе совершения этого своего иллокутивного акта. Для этого класса репрезентативов-деклараций имеем следующее символическое представление:

$$Dr \downarrow \uparrow B(p),$$

где D_r обозначает иллокутивную цель при совершении акта репрезентатива, обладающего силой декларации; первая стрелка указывает на направление приспособления как у репрезентатива, вторая — как у декларации; условие искренности — убеждение; p — пропозициональное содержание.

V. НЕКОТОРЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ

До сих пор я занимался классификацией иллокутивных актов, а факты относительно глаголов использовал как доводы и пояснения. В данном разделе речь пойдет об эксплицировании некоторых синтаксических свойств английского языка. Если различия, рассмотренные в разделе IV, обладают какой-либо действительной значимостью, то они должны влечь за собой определенные синтаксические факты; поэтому здесь мы попытаемся рассмотреть глубинную структуру явно перформативных предложений в рамках каждой из пяти категорий, то есть мы попытаемся рассмотреть синтаксическую структуру предложений, содержащих соответствующие иллокутивные глаголы для каждого из пяти классов, в перформативной функции. Поскольку все рассматриваемые предложения содержат перформативный глагол в главном предложении, а также в придаточном, то обычные древесные структуры непосредственно составляющих будут даваться в сокращенном виде: например, предложение "Я предсказываю, (что) Джон будет бить Билла" имеет глубинную структуру, указанную на схеме. Эта схема получает следующее сокращенное обозначение: "Я пред-



сказываю+Джон будет бить Билла”. Скобки будут использоваться для выделения факультативных элементов или для элементов, являющихся обязательными только в случае конкретного ограниченного класса глаголов. Когда из двух элементов можно свободно выбрать любой, используется косая черта, например: “Я/ты”.

Репрезентативы. Глубинная структура таких образцово репрезентативных предложений, как “Я констатирую, что идет дождь” и “Я предсказываю, (что) он придет”, имеет вид: “Я глагол (что)+Предложение”. Этот класс как целое не накладывает никаких дополнительных ограничений на структуру предложения; но некоторые конкретные глаголы могут определенным образом ограничивать структуру вложенного придаточного предложения. Например, глагол “предсказывать” требует, чтобы составляющая *be* (вспомогательного глагола) была представлена категорией будущего, но ни в коем случае не прошедшего времени. Такие репрезентативные глаголы, как “описывать”, “называть”, “классифицировать (как)” и “идентифицировать”, входят в синтаксическую структуру, скорее сходную с той, которая бывает при глаголах декларации, — на них мы остановимся ниже.

Директивы. Предложения типа “Я приказываю тебе уйти” и “Я команду тебе стать по стойке смирно” имеют следующую глубинную структуру: “Я глагол тебе+ты Будущее глагол (NP)”. Так, предложение “Я приказываю тебе уйти” представляет собой поверхностную реализацию для структуры: “Я приказываю тебе+ты будешь уходить”; эта структура требует удаления одной из идентичных именных составляющих — ты. Заметим, что дополнительным синтаксическим доводом для включения *defy* ‘вызывать (на бой)’, *defy* ‘вызывать (на спор)’ и *challenge* ‘вызывать (на дуэль)’ в список директивных глаголов и против объединения их с глаголами “извиниться”, “благодарить”, “поздравлять” и т. п. (то есть вопреки точке зрения Остина) было то, что они обладают той же синтаксической формой, что и образцово директивные глаголы “приказывать”, “командовать” и “затребовать”. Аналогичным образом глаголы “приглашать” и “советовать” (в одном из своих смыслов) обладают синтаксисом директивов. “Позволять” также синтаксически — директив, хотя дать разрешение, строго говоря, не значит пытаться сделать так, чтобы кто-то нечто совершил, — скорее этот акт состоит в том, чтобы убрать существующие до сих пор помехи для совершения чего-то.

Комиссивы. Такие предложения, как “Я обещаю заплатить тебе деньги” и “Я присягаю на верность флагу” или “Я клянусь отомстить”, имеют глубинную структуру: “Я глагол (тебе)+Я будущее Волитивный глагол (NP) (Наречие)”, <...>*

* Опускаются неформальные соображения в пользу этой структуры. — *Прим. перев.*

Экспрессивы. Как было указано выше, экспрессивы обычно требуют герундивной трансформации над глаголом вложенного придаточного предложения. <...>* Глубинная структура таких предложений следующая: “Я глагол тебе + Я/ты VP → Герундиальное имя”. <...> Но не все из допустимых при этом номинализаций герундиальны: важно, чтобы в результате не получалось придаточных с союзом “что” или инфинитивных конструкций. Так, допустимо I apologize for behaving badly (*букв.*) “Я извиняюсь за ведение (себя) плохо” или I apologize for my bad behavior “Я извиняюсь за свое плохое поведение”, — но нельзя сказать: *I apologize that I behaved badly или *I apologize to behave badly (в том же значении).

Перед тем, как перейти к декларациям, вернемся сначала к тем репрезентативным глаголам, которые отклоняются от своей основной парадигмы. Эта основная парадигма, как было указано выше, — “Я глагол (что) + Предложение”. Но если рассмотреть глаголы типа “диагностировать”, “называть” и “описывать”, а также такие глаголы, как class ‘относить к классу’, classify ‘классифицировать’ и identify ‘идентифицировать’, то окажется, что они не укладываются в эти же рамки. Первые три обладают синтаксической структурой вида “Я V NP₁ + NP₁ быть предикатив” в предложениях “Я называю его лжецом”, “Я диагностирую его болезнь как аппендицит” и “Я описываю Джона как фашиста”. Но нельзя сказать “*Я называю, что он лжец”, “*Я диагностирую, что его болезнь — аппендицит” (впрочем, странным образом некоторые из моих студентов допускают эту форму), “*Я описываю, что Джон — фашист”.

Имеются, таким образом, по-видимому, очень строгие ограничения на один из типов репрезентативных глаголов, отсутствующие в случае других типов. Значит ли это, что необходимо принять, что эти глаголы были ошибочно помещены в рубрику репрезентативов наряду с глаголами типа “констатировать”, “утверждать”, “заявлять” и “предсказывать” и что необходимо выделить их в отдельный класс? Ведь можно было бы сказать, что существование этих глаголов подтверждает точку зрения Остина о необходимости выделения класса вердиктивов, отличного от экспозитивов. Но такой вывод был бы, несомненно, странным, поскольку Остин многие из названных выше глаголов относит к категории экспозитивов. Он расценивает “описывать”, “классифицировать”, “идентифицировать” и “называть” как экспозитивы, а “диагностировать” и “описывать” как вердиктивы. Обычный синтаксис многих вердиктивов и экспозитивов вряд ли подтверждает выделение вердиктивов в отдельный класс. Однако, отвлекаясь от таксономии Остина, вопрос можно поставить так: нужна ли отдельная семантиче-

* Опускается буквальное повторение авторских примеров. — *Прим. перев.*

ская категория для объяснения этих синтаксических фактов? Думаю, что не нужна. Для дистрибуции этих глаголов имеется гораздо более простое объяснение. Часто в рамках дискурса репрезентативного характера мы сосредоточиваем наше внимание на некотором предмете обсуждения. Тогда вопрос не в том, что за пропозициональное содержание мы высказываем в качестве утверждения, а в том, что же именно мы говорим об объекте (или объектах), указываемых в этом пропозициональном содержании: не в том, что же мы утверждаем, заявляем, даем в качестве характеристики, а в том, как мы описываем, называем, диагностируем или идентифицируем эту названную ранее тему обсуждения. Так, в случае диагностирования или описания всегда речь идет о признаках какого-либо лица или его болезни, об описании пейзажа или вечеринки, или человека, и т. п. Эти репрезентативные иллокутивные глаголы являются средством для того, чтобы отделить сами объекты обсуждения от того, что именно говорится об этих объектах. Но это вполне серьезное синтаксическое различие не дает нам оснований для констатации достаточно значительного семантического различия, которое привело бы к образованию отдельной категории. Так, в пользу моей точки зрения говорит то, что реальные предложения, в рамках которых осуществляется описывание, диагностирование и т. п., редко бывают эксплицитно перформативного типа: чаще это стандартные индикативные формы, столь характерные для класса репрезентативов.

Высказывания типа "Он — лжец", "У него — аппендицит", "Он — фашист" — это типичные утверждения, высказывая которые, мы называем что-либо, диагностируем и описываем, а также можем обвинять, идентифицировать и характеризовать. Итак, имеются две синтаксические формы для иллокутивных глаголов репрезентативного типа: одна из них сосредоточена на пропозициональном содержании, другая же — на объекте (или объектах), указываемых в этом пропозициональном содержании; однако обе формы семантически являются репрезентативами.

Декларации. В качестве главной синтаксической формы предлагается следующая: "Я глагол $NP_1 + NP_2$ связка "быть" предикат", — такое представление защищает нас от возражения против выделения особой семантической категории для деклараций, а кроме того, многие глаголы декларации принимают именно этот вид. На самом деле, имеется несколько различных синтаксических форм для эксплицитных перформативов декларации. Из них наиболее важные — следующие:

- (1) "Я нахожу вас виновным в предьявленном обвинении"
"Я объявляю вас мужем и женой"
"Я назначаю вас председателем"
- (2) "Настоящим объявляется война"
"Объявляю собрание прерванным"

- (3) “Вы уволены”
“Я уйду в отставку”
“Я вас отлучаю от церкви”

Глубинная синтаксическая структура для этих трех типов, соответственно имеет вид:

(1) “Я глагол $NP_1 + NP_2$ связка “быть” предикат”. Так, мы имеем для этой группы примеров: “Я нахожу вас+вы быть виновен по обвинению”, “Я объявляю вас+вы быть муж и жена”. “Я назначаю вас+вы быть председателем”.

- (2) “Я объявляю+Предложение”

Так, имеем: “Я/мы (настоящим) объявляю+состояние войны существует”, “Я объявляю+собрание быть прерванным”.

Эта форма — наиболее чистый вид декларации: говорящий, облеченный властью, вводит положение дел, описываемое пропозициональным содержанием, сказав на самом деле всего лишь: “Я объявляю состояние дел существующим”. С семантической точки зрения, таковы все декларации, хотя в классе (1) фокусировка на топике приводит к синтаксическим перестройкам, — так что получается форма та же, что и в случае репрезентативных глаголов типа “описывать”, “характеризовать”, “называть” и “диагностировать”. А вот в классе (3) синтаксическая форма еще больше скрывает семантическую. Эта форма наиболее обманчива, это — попросту:

- (3) “Я глагол (NP)”

как в примерах “Я увольняюсь”, “Я уйду в отставку”, “Я вас отлучаю от церкви”. Однако семантическая структура у них, как я считаю, та же, что и у класса (2). “Вы уволены”, будучи произнесено как произведение акта увольнения кого-либо, а не как сообщение, значит:

“Я объявляю+Ваша работа прекращена”.

Аналогично, “Я уйду в отставку” значит “Я настоящим заявляю+Моя работа прекращена”. А “Я отлучаю вас от церкви” значит “Я объявляю+Ваша принадлежность к церкви прекращена”. Такая удивительно простая синтаксическая структура всех трех предложений объясняется, по-моему, тем, что некоторые глаголы в своем перформативном употреблении одновременно выражают (как бы в единой капсуле) и силу декларации, и пропозициональное содержание.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь мы можем сделать некоторые выводы.

1. Многие из глаголов, называемых нами иллокутивными, являются показателями не иллокутивной цели, а некоторого другого признака иллокутивного акта. Например, “настаивать” и “пред-

лагать" (suggest). Я могу *настаивать* на том, чтобы мы пошли в кино, или я могу *предложить*, чтобы мы пошли в кино; однако я также могу настаивать на том, что ответ находится на с. 16, но могу и предлагать найти его на с. 16. Первая пара — директивы, вторая — репрезентативы. Значит ли это, что настаивание и высказывание предложения сделать что-то — иллокутивные акты, отличные от репрезентативов и директивов, — или же что они одновременно являются и репрезентативами и директивами? Я думаю, ответ на оба вопроса отрицательный. Как "настаивать", так и "предлагать" употребляются для указания на степень интенсивности, с которой подается иллокутивная цель. Они вовсе не указывают на различные иллокутивные цели. Аналогично, глаголы "объявлять", "представлять" и "доверить (по секрету)" не указывают на различные иллокутивные цели, а скорее, на стиль или манеру осуществления иллокутивного акта. Как ни парадоксально, такие глаголы являются иллокутивными, но не являются именами для видов иллокутивных актов. Именно по этой причине, среди прочих, должны мы тщательно различать таксономию иллокутивных актов и таксономию иллокутивных глаголов.

2. В разделе IV я попытался расклассифицировать иллокутивные акты, а в разделе V — исследовать некоторые синтаксические признаки глаголов, обозначающих элементы каждой из категорий. Но я не пытался при этом получить классификацию иллокутивных глаголов. Если попытаться это сделать, то получится следующая картина.

а) Во-первых, некоторые глаголы, — как только что мы заметили, — указывают вовсе не на иллокутивную цель, а на некоторое другое свойство, — как глаголы "настаивать", "предлагать", "объявлять", "сообщать по секрету", "бросить реплику", "ответить", "воскликнуть", "отметить", "выкрикнуть", "вставлять замечание".

б) Многие глаголы указывают на иллокутивную направленность в сочетании с некоторым другим свойством, например, "хвататься", "жаловаться", "угрожать", "критиковать", "обвинять" и "предупреждать", — все эти глаголы добавляют признак "хорошо" или "плохо" к первичной иллокутивной цели.

с) Несколько глаголов указывают на более чем одну иллокутивную цель, например: "протестовать" связано одновременно с выражением неодобрения и с ходатайством об изменении.

"Обнародование закона" обладает одновременно статусом декларации (когда пропозициональное содержание становится законом) и статусом директива (закон — это, по замыслу своему, директив). Глаголы репрезентативной декларации попадают в этот класс.

д) Некоторые глаголы могут выступать в разных случаях с раз-

ной иллокутивной целью. Напр. “предупреждать” и “уведомлять” обладают синтаксисом директивов и репрезентативов. Так, имем: “Предупреждаю: отстань от моей жены!” (директив), “Предупреждаю, что бык вот-вот бросится” (репрезентатив); “Уведомляю тебя: нужно уйти” (директив) и “Пассажиры уведомляются о том, что поезд опаздывает” (репрезентатив). Соответственно, мне кажется, предупреждение и уведомление могут быть как сообщением о том, что нечто имеет место (обладающее релевантностью для интересов адресата), так и сообщением о том, что адресат *должен* нечто сделать (потому что это лежит или не лежит в его интересах). Эти глаголы могут совмещать, а могут и не совмещать обе функции.

3. Наиболее важный вывод: множество языковых игр, или способов использования языка (вопреки тому, как считал Витгенштейн, в некоторых трактовках его концепции, а также многие другие) не бесконечно и не неопределенно. Иллюзия неограниченности употребления языка порождена большой неясностью в отношении того, что составляет критерии разграничения для различных языковых игр или для различных употреблений языка. Если принять, что иллокутивная цель — это базисное понятие, вокруг которого группируются различные способы использования языка, то окажется, что число различных действий, которые мы производим с помощью языка, довольно ограничено: мы сообщаем другим, каково положение вещей; мы пытаемся заставить других совершить нечто; мы берем на себя обязательство совершить нечто; мы выражаем свои чувства и отношения; наконец, мы с помощью высказываний вносим изменения в существующий мир. Зачастую в одном и том же высказывании мы совершаем сразу несколько действий из этого списка.

ЛИТЕРАТУРА

Austin 1962 — Austin J. L. How to do things with words. Oxford University Press, New York, 1962/2nd print Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1975 (русск. перевод: Остин Дж.Л. Слово как действие. — «Новое в зарубежной лингвистике», XVII, с. 22—129).

Searle 1968 — Searle J.R. Austin on locutionary and illocutionary acts. — «Philosophical Review», 1968, 77, 405—424.

Searle 1969 — Searle J.R. Speech acts: an essay in the philosophy of language. University Press, Cambridge, 1969.

СЕМЬ ГРЕХОВ ПРАГМАТИКИ: ТЕЗИСЫ О ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ, АНАЛИЗЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ, ЛИНГВИСТИКЕ И РИТОРИКЕ

Прежде всего в статье выдвигаются некоторые аргументы, нацеленные на то, чтобы показать, почему теория речевых актов недостаточна в качестве базисного концептуального аппарата для построения прагматической теории вербального общения. Далее, выяснив, чем теория речевых актов *не является*, я выскажу некоторые соображения о том, чем она *может быть*, а именно, какую роль категории теории речевых актов могли бы играть в эмпирической теории языка и общения. В конце статьи я обращусь к старому понятию «риторики» и покажу, что воскрешение этого понятия может оказаться плодотворным и что необходимо подвергнуть детальному обсуждению разделение труда между грамматикой и риторикой. Будут намечены контуры (и даны некоторые примеры) того, чем могла бы быть риторика речевого общения*.

Теория речевых актов, по мере ее приложения к эмпирическим данным речевого взаимодействия, обнаружила следующие недостатки¹:

(1) Приписывание ярлыков, выработанных теорией речевых актов, сегментам речевого поведения представляется весьма произвольным с разных точек зрения. Первой проблемой является сегментация потока речи на единицы, соответствующие речевым актам. Если такой единицей считать самостоятельное предложение, то одновременно придется утверждать, что речевые акты, выделяемые при подобной сегментации, являются наиболее релевантными элементами на уровне анализа (взаимо)действия, что часто противоречит интуиции. Дело в том, что интуитивно более релевантные речевые акты зачастую осуществляются посредством нескольких предложений или посредством отдельных частей предложения. Но даже если оставить в стороне проблему сегментации,

Dorothea Frank. Seven sins of pragmatics: theses about speech act theory, conversational analysis, linguistics and rhetoric. — In: «Possibilities and limitations of pragmatics», Amsterdam, John Benjamins B. V., 1981, p. 225—236.

© John Benjamins B. V., 1981

* Слову conversation 'разговор, беседа' в русском научном обиходе соответствуют термины *речевое общение, диалог*. Они, по преимуществу, и употребляются в тексте перевода. — *Прим. ред.*

остаётся в силе более фундаментальная проблема, связанная с необходимостью всякое высказывание (за исключением косвенных речевых актов) соотносить с одним и только одним типом речевого акта из фиксированного и конечного набора таких типов. Это противоречит интуитивному представлению о том, что даже в самой тривиальной беседе с помощью одного и того же высказывания говорящие часто совершают целое множество действий одновременно. Я здесь не имею в виду другие уровни анализа, которые в теории речевых актов также называются актами — такие как «локутивные акты», «акты референции» или «акты предикации»; речь, скорее, идет о различных категориях теории взаимодействия, которые различаются контекстными признаками, учитываемыми с помощью соответствующих ярлыков.

(II) Проблему выбора между всеми возможными категоризациями фрагментов вербального общения теория речевых актов решает также весьма произвольно. Инвентарь ярлыков теории речевых актов, взятых по большей части из инвентаря перформативных выражений, сужает диапазон условий, которым должно отвечать высказывание и которые оно может задавать. В особенности теория речевых актов пренебрегает теми «актами», которые связаны с «организационными» аспектами взаимодействия, а именно с условиями, которые релевантны в основном локально, в момент появления данного высказывания в диалоге. Возьмем, например, тривиальный и очень частый случай так называемых «минимальных реплик», то есть коротких высказываний слушающего коммуниканта, которые не прерывают речь говорящего и которые не только выражают интерес или готовность продолжать слушание, но и выполняют множество других локально релевантных задач; и эти задачи никоим образом нельзя учесть, интерпретируя такие высказывания просто как речевые акты типа «подтверждение согласия».

(III) Вышеизложенные замечания касаются тех свойств теории речевых актов, которые связаны с наиболее фундаментальными ее допущениями, делающими ее несовместимой с подходом, который мы именуем «анализом речевого общения». Даже если мы предположим, что теория речевых актов рационально воспроизводит некоторые важнейшие типы вербальных актов, это еще не дает права считать ее адекватной теорией взаимодействия. Человеческое общение является взаимодействием в более фундаментальном смысле, нежели это представлено в теории речевых актов, согласно которой двое или более собеседников поочередно адресуют друг другу некоторые речевые акты, определяемые исключительно в терминах намерений говорящего. Анализ общения в реальной жизни показывает — даже если исключить случаи непонимания или частичного непонимания; — что значение реплик, касающееся управления взаимодействием, до некоторой степени за-

висит от взаимной договоренности. Значительный уровень недоопределенности и расплывчатости обеспечивает возможность дальнейшего уточнения интерпретаций, а также сосуществования различных интерпретаций. Упомянутую недоопределенность нельзя рассматривать просто как несовершенство естественного общения; чаще она оказывается существенной предпосылкой гладкого взаимодействия. Недоопределенность необходима для соблюдения правил такта и вежливости, для всей той «облицовочной» деятельности, выполняемой при общении, которая в действительности представляет собой не побочный, а универсальный и решающий аспект практически всякого естественного речевого общения. Недоопределенность технически необходима и для решения более скрытых организационных задач, как показано, например, в исследованиях, посвященных устройству вводных и заключительных частей диалога².

Практически невозможно провести четкую грань между недоопределенностью, существующей только для не участвующего в коммуникации наблюдателя (из-за отсутствия у него доступа к общим для коммуникантов знаниям и допущениям), и недоопределенностью, с которой имеют дело сами участники общения. Но это и не столь серьезная проблема, как может показаться; разница здесь лишь количественная. Трудности, связанные с классификацией высказываний в реальных диалогах по обычным типам речевых актов, являются, с одной стороны, результатом того, что эти типы могут не покрывать всех важнейших коммуникативных функций данного высказывания или покрывать лишь какие-то их части; с другой стороны, названные трудности являются следствием априорного характера той четкости, с которой постулируются типы речевых актов. Эта четкость подталкивает исследователя как к излишней, так и к недостаточной определенности при интерпретации высказывания: к излишней определенности — потому что он обязан заполнить позиции, касающиеся условий речевых актов, не установленных (или еще не установленных) с полной определенностью; к недостаточной определенности — потому что он вынужден пренебрегать столь многими другими аспектами значения, которые не покрываются навязываемым типом речевого акта. Если попытаться применить ярлыки теории речевых актов к естественному речевому общению, то скоро станет очевидным, что выполнение типовых речевых актов, охарактеризованных в теории как просьбы, разрешения, приглашения, принятия предложений и т. д., является результатом совместной и тонко организованной деятельности нескольких собеседников. Деликатная подготовка «рискованных» шагов взаимодействия возможна только благодаря вышесубъектной неопределенности и не может быть адекватно описана с помощью понятия косвенного речевого акта. Рассмотрим следующий тривиальный пример (на самом деле почти

любой фрагмент естественного диалога может послужить иллюстрацией утверждений, сделанных выше)³:

(1) A: Bischt du zuhaus heut? 'Ты сегодня дома?'

B: Mhm ich bin zuhause ja 'Хм... Я дома, да.'

A: Ich hab überlegt ob ich einmal gausfahren soll 'Я думал, не выбраться ли мне из города'.

B: Ja komm doch mal gaus 'Да, почему бы тебе не выбраться сюда'. [*Немецкий разг.*].

(Инициатором этого телефонного разговора является А. Данная последовательность высказываний следует за развернутым фрагментом, открывающим разговор, то есть имеет место в момент, когда ожидается введение инициатором диалога «темы причины звонка».) Для интерпретации gaus — префикса глагола gausfahren, обозначающего направление, — необходимо знать, что А живет в городе, а В в близлежащей деревне. Неопределенность gaus в реплике А труднопереводима: фрагмент с gaus может быть понят двояко: как 'выехать из города к тебе в пригород' или просто как 'выехать из города'. В реплике В gaus может быть понято только как 'ко мне'. Еле заметный сдвиг в интерпретации gaus — лишь одно из ряда разнообразных средств, с помощью которых собеседники совместно продуцируют приглашение; это приглашение, будучи правильно локализовано в пространстве диалога, может быть принято, и при продолжении диалога, скорее всего, будет принято. Учитывая более широкий контекст, в особенности сопутствующие звонку обстоятельства, а именно то, что это первый звонок после возвращения А из путешествия, а также характер взаимоотношений между А и В, уже в момент первого высказывания А или даже до него может быть вполне ясно, что А хочет получить приглашение. Но квалифицировать первое и/или второе высказывание А как косвенную просьбу о приглашении (хотя это и будет отражать некоторые интуитивные ощущения относительно функций этих высказываний в процессе взаимодействия) означало бы дать лишь грубую и неинформативную схему сложной организации семантических аспектов диалога. Это значило бы изобразить в виде окаменевшего, застывшего результата то, что является скорее текущим процессом совместного конструирования смысла, не отдать должное тонким механизмам и творческой природе межличностного взаимодействия (творческой — значит, связанной с решением возникающих задач). Из-за установления слишком прямолинейного соответствия между формой и значением речевого акта многие аспекты высказываний, их связность и ситуативная обусловленность не получают объяснения, в то время как другие аспекты интерпретируются более жестко и определенно, нежели это делают сами собеседники в процессе общения.

С этим общим недостатком теории речевых актов — ее неадекватностью в качестве теории взаимодействия как по базовой

ориентации, так и по описательной силе ее более технических компонентов — органически связаны все дальнейшие критические замечания; поэтому в последующих пунктах я буду очень краткой.

(IV) Точка зрения теории речевых актов статична — она игнорирует динамическую и стратегическую природу естественного речевого общения. Членя фрагмент диалога на типовые речевые акты, мы не учитываем в достаточной степени (если вообще учитываем) внутреннюю «логику» в развитии диалога, а именно, использование участниками диалога стратегий регулирования и прогнозирования этого развития. Выделение речевых актов основано на жесткой точке зрения (перспективе), задаваемой постфактум, а не на постоянно «движущейся» точке зрения коммуникантов, направленной на развёртывание коммуникативных структур. Единицы общения в момент их интерпретации ещё не являются *faits accomplis* (завершёнными сущностями), а находятся в процессе конструирования. Кроме того, необходимо учитывать, что значимой для взаимодействия является не одна-единственная перспектива, а столько перспектив, сколько имеется коммуникантов.

(V) Эта односторонность перспективы связана с теми базовыми понятиями (*primitives*), которые теория речевых актов использует при экспликации результатов, а именно, с условиями успешности речевых актов. Эти условия формулируются в терминах обязательств и эпистемических состояний сознания (знание, убеждения и т. п.) говорящего и слушающего. Если мы хотим не упустить «динамический» характер речевых актов (то есть «высказываний в действии»), мы должны иметь в виду конкретные («локальные») состояния диалога до и после рассматриваемого высказывания. Иначе говоря, высказывание должно рассматриваться в двух аспектах: а) в каком отношении оно находится к предшествующему высказыванию; б) как оно изменяет контекст последующего высказывания. Если в качестве единиц анализа используются «чередующиеся реплики», то необходимо выяснить, какого рода реакцию вызывает предшествующее высказывание и какой набор допустимых (связных, соответствующих наметившимся предпочтениям) продолжений предлагается автору последующей реплики.

(VI) Эти замечания подводят нас к следующему выводу, связанному с критикой трактовки контекста в теории речевых актов. Для этой теории данное понятие является второстепенным и дополняет в основном функцию спасительного средства. С одной стороны, теория речевых актов претендует на то, что она дает нечто большее, нежели просто семантический анализ языковых форм; она изучает, какие действия совершаются с помощью этих форм в процессе общения. Но если мы подпишемся под подобной исследовательской задачей, мы не можем до такой степени ограничивать роль контекста, чтобы привлекать это понятие лишь в тех случаях,

когда оказывается недостаточным содержание самого высказывания (как, например, в случаях неоднозначности или косвенных речевых актов). Для анализа, удовлетворительного с точки зрения лингвистики и теории взаимодействия, понятие контекста должно быть разделено на два понятия соответственно двум различным типам случаев, в которых контекст используется и в которых его роль ощущается говорящими/слушающими:

а) независимо задаваемый контекст, который присутствует в сознании коммуникантов и существование которого может предполагаться без каких-либо отсылок к словесному его выражению; структуры «локального» контекста в диалоге — в той степени, в какой они представляются ясными — подпадают главным образом под эту категорию;

б) аспекты контекста, которые становятся релевантными и начинают учитываться только благодаря имплицитным или эксплицитным показателям, содержащимся в данном высказывании; это значит, что их релевантность может быть установлена лишь после того, как высказывание произнесено.

Поскольку каждое высказывание должно интерпретироваться и всегда интерпретируется в свете заданного контекста и строится всегда в соответствии с этой установкой, то высказывания в естественном диалоге оказываются высоко «эллиптичными», — «эллиптичными» по сравнению с вербальной эксплицитностью, которая, конечно, не может рассматриваться как норма, а самое большее, как средство задания ориентирующих позиций, в которые должна вставляться контекстная информация (если мы хотим дать парафразу высказывания с восстановленными контекстными опущениями). Но зависимость от контекста — в отношении его влияния на значение высказывания в процессе взаимодействия — у «эллиптичных» высказываний лишь более очевидна, но не более существенна по сравнению с «полными» предложениями.

Тот факт, что контекстные параметры учитывать необходимо, не отрицался в теории речевых актов никакими программными заявлениями, но в реальном анализе их роль оказывалась весьма незначительной. Непосредственный контекст (ср. (а)) почти полностью игнорируется, поскольку рассматриваются в основном модельные примеры в виде изолированных и исключительно эксплицитных речевых актов. К тому же, когда контекст все же привлекается, исследование попадает в порочный круг. Неясно, следует ли признавать, что данное высказывание выражает речевой акт типа X на том основании, что — среди прочего — (контекстное) условие Y выполнено и о его выполнении известно, или же следует независимо квалифицировать речевой акт как принадлежащий к типу X, а из этого уже следует, что условие Y должно выполняться, то есть что говорящий считает его выполняющимся. Этим различием нельзя пренебрегать, поскольку речь идет в основном

об условиях «внутренних», касающихся допущений и намерений говорящего и/или слушающего. Так как теория речевых актов не занимается проблемами интерпретации (анализа) и основывает идентификацию речевых актов главным образом на намерениях говорящего, независимо от их распознаваемости, то и не возникает необходимости ни принимать во внимание различия между перспективами говорящего и слушающего (а также иногда и наблюдателя), ни описывать привлечение контекста и его взаимодействие с вербальным сообщением.

(VII) Отсутствие дифференцированного рассмотрения проблемы зависимости от контекста довольно сложным образом связано с другим весьма фундаментальным вопросом: лингвистическая теория, особенно теория семантики, на которой теория речевых актов — скорее имплицитно, чем эксплицитно, — основана, является моделью, построенной по образцу логической семантики. Конечно, теория речевых актов показала, что пропозициональное (истинностно-функциональное) значение не является единственным видом значения, выражаемым на естественном языке. Но, с одной стороны, остался в значительной степени непроясненным вопрос о том, как сочетаются пропозициональное и иллокутивное значения. С другой стороны, не были подвергнуты пересмотру некоторые положения обсуждаемой модели семантики, хотя они с трудом совместимы с прагматически-ориентированной теорией общения. Языковое значение по-прежнему рассматривается если не как указательное, то как эксплицитно-описательное значение. В то же время, *указательность* (indexicality) признается только в тех случаях, когда её невозможно отрицать: в дейктических выражениях. Затруднительные случаи *расплывчатости* (vagueness) выражений естественного языка считались либо проявлением общего дефекта естественного языка, либо оптическим обманом, который может быть преодолен благодаря изобретательности лингвистов. Анализ естественного использования языка в целях взаимодействия диктует необходимость детального пересмотра господствующей модели языковой семантики. При этом расплывчатость оказывается существенным свойством языковых выражений, а указательность — правилом, а не исключением в естественном языке. Конечно, расплывчатость как намеренная недоопределенность на уровне употребления должна ограничиваться, теоретически говоря, от расплывчатости в смысле общей гибкости значения языковых выражений как таковых, обеспечивающей типовую согласованность с контекстом и специфическими требованиями каждой конкретной речевой ситуации. Лингвист должен объяснять свойства указательности и расплывчатости, а не ограничиваться их констатацией. В том широком понимании указательности, которое принимается здесь, это понятие совпадает в значительной степени с понятием расплывчатости и чувствительности к контексту. К сожалению,

здесь не может быть дано ни более полное объяснение этих понятий, ни очерк семантической теории, совместимой с прагматико-эмпирической теорией общения.

Изложив аргументы, свидетельствующие о недостаточности теории речевых актов в качестве *готового* концептуального аппарата эмпирической лингвистической теории прагматики (я не утверждаю, что создатели теории речевых актов когда-либо выражали такие притязания!), я добавлю несколько замечаний о том, каким образом теория речевых актов или ее части *могут* принести пользу в лингвистическом анализе.

Во-первых, надо подчеркнуть сугубую неслучайность того факта, что и философы, и лингвисты выбирали в качестве представителей основных вербальных актов именно следующие понятия: «утверждение», «вопрос», «просьба», «обещание», «наречение» и т. д. С одной стороны, существуют грамматические категории, соответствующие, согласно нашей интуиции, некоторым типам речевых актов: «императив», «вопросительность», «повествовательное предложение» и т. д.; другие категории соответствуют понятиям, довольно часто используемым при метакоммуникативных уточнениях и в перформативных высказываниях, что надежно обеспечивает принадлежность этих понятий к числу осознанных представлений говорящих об общении. Все упомянутые категории нередко реализуются в естественно-языковых пересказах прошлых эпизодов общения. Очевидно, что названные понятия собирают в пучки те признаки коммуникативных событий, которые очень часто ощущаются носителями языка как наиболее существенные. Таким образом, осознанно или неосознанно эти понятия могут также играть роль в процессе интерпретации, осуществляемой лингвистом или специалистом по анализу речевого общения, поскольку они пользуются в целом тем же материалом, что и говорящие. Но представления говорящего о том, как он использует язык, — как они ни интересны по ряду причин — нельзя смешивать с эмпирическим описанием коммуникативной практики говорящих на языке. Если же использовать понятия теории речевых актов обдуманно, в качестве «категорий мышления рядовых говорящих», то они могут оказаться безвредными или даже полезными при установлении набора коммуникативных функций. Но прежде этот методологически важный вопрос нуждается в более тщательном обсуждении.

Наконец, я хочу пролить некоторый свет на таинственную связь *риторики* со всеми высказанными соображениями. Но сначала позвольте мне сформулировать тот тезис относительно риторики, который я собираюсь защищать. Я хочу выдвинуть предположение, что воскрешение риторики — второй половины (наряду с грамматикой) запаса знаний, касающихся общения, — могло бы, по крайней мере отчасти, помочь лингвистической прагматике выйти из мысленного тупика. Разумеется, необходимо серьезно пере-

смотреть и переработать весь аппарат риторики. Наиболее существенный аспект этого пересмотра — приспособление системы понятий, ориентированной на монолог, к более базисной форме общения — диалогу (с двумя или большим числом участников). Более того, сказанное о теории речевых актов касается в еще большей степени риторики: нежелателен новый *gage taxonomique** (пользуясь термином Ролана Барта). "Риторика", скорее, стремится выработать репертуар стратегий, коммуникативных принципов и формальных моделей употребления, применяемых говорящими и слушающими, когда они стремятся эффективным и адекватным образом взаимодействовать между собой и достигать своих коммуникативных целей (в разнообразных контекстах и обстоятельствах). Различные слои значения высказываний в контексте (и взаимосвязи между этими слоями) могут быть выявлены только в том случае, если более конкретным и контекстно-обусловленным стратегиям и формальным моделям и фигурам будут сопутствовать самые общие принципы — такие, как принцип кооперации, управляющий приоритетами и сочетанием более специфических норм и стратегий. Сходство между грайсовскими Принципом Кооперации и Коммуникативными Максимами, с одной стороны, и риторическими *virtutes elocutionis* ['достоинства слога'], с другой, поражает исторически мыслящего исследователя. Каждое из правил-достоинств (*aptum* ['соразмерность, упорядоченность, адекватность'] как наиболее общая норма ситуационной и контекстной адекватности; *latinitas* ['чистая латынь'] как языковая правильность; *perspicuitas* ['прозрачность, очевидность'] как ясность или понятность для слушающего; *ornatus* ['украшательство'] как выражение, приятное для слушающего, способное его развлечь; и другие, более специфические, достоинства) может быть нарушено — по крайней мере на первый взгляд, — но только если вступают в действие *remedia* ['средства'], или цели и нормы более высокого уровня, которые дают на это необходимое «разрешение». Если, например, на вербальном уровне непонятно, употреблено ли некоторое выражение иронически, эту неоднозначность можно скорректировать невербальными средствами. Принцип Кооперации — фундаментальный фактор, регулирующий процессы интерпретации текста слушающим и прогнозирования этой интерпретации говорящим, — обладает статусом априорного, но способного к изменению обоюдного допущения слушающего и говорящего, которое также может быть названо — с интерпретационной точки зрения — Принципом Оптимальной Интерпретации.

С этим вопросом тесно связан следующий аспект пересмотра риторических представлений. Традиционная риторика создавалась в первую очередь как совокупность наставлений говорящему. В

* Таксономический азарт, страсть к таксономии (фр.).

качестве части лингвистики риторика не может быть нормативной в обычном смысле, она должна *обнаруживать* скрытые нормы, которыми пользуется говорящий, и при этом различать те нормы, которым он подчиняется сознательно, и те, действенность которых может быть показана непосредственным анализом эмпирических данных (таких, как магнитофонная запись разговора в естественных ситуациях). Поскольку говорящий всегда вынужден прогнозировать возможную интерпретацию текста, а исследователь вынужден занимать позицию слушающего, эвристика исследования должна начинаться со стороны интерпретации, или анализа. Подлежащая выявлению процедура интерпретации — это очень сложный процесс решения задач, который — по самой природе человеческого общения — никогда не может быть сведен к простому механическому применению правил; по своему характеру этот процесс ближе к конструированию правдоподобных гипотез (best guess), чем к логической дедукции. Это не исключает принципа логической строгости и необходимости при моделировании процесса интерпретации, поскольку предполагается, что некоторая конкретная интерпретация — это именно та (возможно, единственная), которую был намерен построить данный адресат; однако, это необходимость ретроспективная, основанная, например, на предположениях о целях или убеждениях говорящего, которые никогда нельзя полностью верифицировать. Одно из преимуществ диалога, которое здесь выявляется, состоит в том, что при продолжении разговора партнер (партнеры) говорящего обнаруживает (обнаруживают), имплицитно или эксплицитно, свою интерпретацию, а первый участник может снова на это отреагировать и т. д. Лингвист должен использовать и эту разновидность языковых данных, если только он хочет не просто сконструировать свою личную интерпретацию, а воссоздать интерпретацию участников диалога.

Я вкратце упомяну некоторые другие аспекты пересмотра и/или расширения риторики, которые становятся актуальными, если мы хотим приложить ее к спонтанному использованию языка в целях взаимодействия. Прежде всего при устном личном общении ничто не может быть «стёрто»; всё, что говорится, воспринимается в тот же момент. Это ограничивает возможности аннулирования того, что было сделано с помощью слов, и возможные пути такого аннулирования. Во-вторых, не может осуществляться наперед никакое детальное планирование, поскольку каждая новая реплика может планироваться лишь после предыдущей. Сцепление между частями диалога и его внутренняя структура должны быть организованы с учетом места каждого фрагмента в диалоге и согласования между фрагментами. К настоящему времени очень мало известно о том, как соотносятся функционирование синтаксических и лексических средств с организационными за-

дачами диалога. В-третьих, фигуры речи должны быть освобождены из прокрустова ложа таксономической софистики и объяснены с помощью аппарата общих принципов использования языка. Семантические фигуры должны рассматриваться как элементы компетенции носителей языка, служащие для разнообразных сдвигов, расширений и сужений буквального значения. Синтаксические модели должны быть проверены на предмет их влияния на механизм чередования реплик и на связность диалога; может быть показано, как синтаксические фигуры в более узком смысле (повторение, зеркальное отображение, порядок служебных слов и синтаксических составляющих и т. д.) оказывают действие как на уровне «содержания», так и на уровне организации.

В настоящее время для специалистов по анализу речевого общения характерен скептицизм в отношении возможности учета и лингвистического толкования семантического и прагматического «значения» (особенно это касается «направления Сакса») (см., например, Schegloff 1978). Если риторика и грамматика смогут развиваться в соответствии с требованиями эмпирической теории использования языка, этот скептицизм, вероятно, будет преодолен. Можно надеяться, что в ответ на то влияние, которое оказал на лингвистическую теорию этнометодологический анализ речевого общения, в дальнейшем появятся средства, созданные лингвистикой и пригодные для использования в целях анализа речевого общения.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Поскольку я не хотела существенно отступать от текста, представленного на конференции в Урбино, данная работа практически представляет собой расширенное резюме. Более эксплицитное изложение некоторых проблем содержится в работах Franck 1980 и Franck — Houtkoop 1979.

¹ Для простоты я опираюсь главным образом на теорию речевых актов в той форме, в какой она изложена в Searle 1969 или на несколько упрощенную «вульгаризованную» версию, имплицитно представленную во многих исследованиях по лингвистической прагматике.

² Здесь я имею в виду главным образом исследование Сакса и Щеглова.

³ Пример из Heutiges Deutsch 1975, с. 63.

ЛИТЕРАТУРА

Franck 1980 — Franck D. Grammatik und Konversation. Stylistische Pragmatik des Dialogs und die Bedeutung deutschen Modalpartikeln. Kronberg. Amsterdam, 1980.

Franck — Houtkoop 1979 — Frank D., Houtkoop H. Beurten als praktische en analytische eenheden in spontane gesprekken. Ms., 1979.

Heutiges Deutsch 1975 — Heutiges Deutsch: Texte gesprochener deutscher Standardsprache III. Hueber, München, 1975.

Searle 1969 — Searle J.R. Speech acts: an essay in the philosophy of language. University Press, Cambridge, 1969.

Schegloff 1978 — Schegloff E.A. On some questions and ambiguities in conversation. — In: «Current Trends in Textlinguistics». De Gruyter, Berlin, 1978, 81—102.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От издательства	2
Лингвистические направления	5
Ч. Фриз. «Школа» Блумфилда. Перевод с английского В.П. Мурат.	6
Г. Хойер. Антропологическая лингвистика. Перевод с английского В.П. Мурат.	44
Х. Спанг-Ханссен. Глоссематика. Перевод с английского В.В. Шеворошкина.	67
Языковые универсалии	117
Дж. Гринберг, Ч. Осгуд, Дж. Дженкинс. Меморандум о языковых универсалиях. Перевод с английского Р.М. Фрумкиной. . .	118
Г. Хёнигсвальд. Существуют ли универсалии языковых изменений? Перевод с английского Р.М. Фрумкиной.	132
Дж. Гринберг. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов. Перевод с английского Е.М. Сморгуновой.	160
Теория речевых актов и ее приложения	209
Дж.Р. Серль. Что такое речевой акт? Перевод с английского И.М. Кобозевой.	210
Дж.Р. Серль. Классификация иллокутивных актов. Перевод с английского В.З. Демьянкова.	229
Д. Франк. Семь грехов прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализе речевого общения, лингвистике и риторике. Перевод с английского А.А. Кибрика.	254

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИНГВИСТИКА. II

Редакторы *М.А. Оборина, Н.Н. Попов*

Редактор-составитель *В.Д. Мазо*

Художник *А.Ю. Никулин*

Художественные редакторы *Л.Ф. Шканов, Ю.В. Булдаков,*

А.Ю. Никулин

Технические редакторы *М. Сафронович, В. Павлова, Л.Ф. Шпилевич*

Корректор *В.В. Евтюхина*

ИБ № 20301

ЛР № 060775 от 07.03.97

Подписано в печать 14.02.02. Формат 84×108/32.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,07.

Уч.-изд. л. 15,23. Тираж 500 экз.

Заказ № 86. Изд. № 49945

ОАО Издательская группа «Прогресс»

119992, Москва, Зубовский бульвар, 17

ОАО Издательская группа «Прогресс»

Отпечатано в цехе оперативной полиграфии

119992, Москва, Зубовский бульвар, 17

Издательская группа «Прогресс»

выпустила из печати

А. Мейе. Общеславянский язык. 2-е издание

Книга «Общеславянский язык» написана крупным французским лингвистом А. Мейе и посвящена описанию древнейшего состояния славянских языков. При установлении общеславянского языка автор использует сравнительно-исторический метод, привлекая показания других индоевропейских языков, данные славянской письменности и современных славянских языков. Работа отличается богатством привлекаемого материала, глубиной трактовки многих языковых явлений, рядом интересных этимологий, а также стройностью изложения. Книга будет полезна для широкого круга специалистов, занимающихся изучением славянских языков, историков языка и учащихся – аспирантов и студентов филологических факультетов.

Обращаться в магазин **«Человек читающий»**

по адресу: Москва, Зубовский бульвар, д. 17, тел. 246-23-63

Новый книжный магазин

*Издательской группы
«ПРОГРЕСС»*

«ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ»

**предлагает
оптом и в розницу**

*книги по философии, истории,
географии, экономике, языкознанию, словари,
энциклопедии,
художественную литературу*

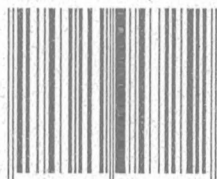
**без посредников
по минимальным ценам**

Мы ждем Вас каждый день,
кроме субботы и воскресенья, по адресу:

*Зубовский бульвар, д. 17,
проезд: метро «Парк культуры»
магазин «Человек читающий»
(в здании Издательской группы «Прогресс»)*

тел. 246-23-63

ISBN 5-01-004725-x



9 785010 047252